
гурии
камель дауд

Гурии
Камель Дауд

Аннотация
Камель Дауд. Гурии
Часть первая. Голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Часть вторая. Лабиринт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Третья часть. Нож
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
Выходные данные

Аннотация

ГОНКУРОВСКАЯ ПРЕМИЯ 2024 ГОДА

«Я — подлинная отметина, самая весомая улика, свидетельствующая обо всем, что пережито за десять лет в Алжире. История войны запечатлена на моей коже с самого детства».

Об — молодая алжирка, которой не дано забыть гражданскую войну 1990-х годов. Она — живая память тех страшных лет. Немая, она мечтает вновь обрести голос.

Камель Дауд
Гурии

NoAge

polyandria

2026

Houris
Kamel Daoud

Перевела с французского *Надежда Бунтман*
Научный редактор и консультант издания кандидат исторических наук *Рашид Кауар*
Дизайн обложки *Марии Кошелевой*





Издано при поддержке Программы содействия издательскому делу Французского института
Cet ouvrage a bénéficié du soutien du Programme d’aide à la publication de l’institut français

© Éditions Gallimard, Paris, 2024
© Бунтман Н. В., перевод на русский язык, 2026
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Поляндрия Ноу Эйдж», 2026

* * *

Камель Дауд написал горький, причиняющий боль и вместе с тем завораживающий роман, от которого трудно оправиться. Сплавляя воедино женскую исповедь, политическое обвинение и траурную песнь, он возвращает голос тем, кого история обрекла на немоту.

Наталья Ломыкина, литературный критик, обозреватель Forbes

Судьбы, вплетенные в историю, рассказанные разными голосами, молчанием, хрипами, криками…

Надежда Бунтман, переводчик

* * *

Моей матери Ямине, моему потаенному языку

Забытым жертвам гражданской войны в Алжире

Щедрой Амине Мекали

Сотрудникам Sciences Po в Париже, приютившим этот текст

Нети, главный страж царства,
Светлой Инанне отвечает:
«Кто же ты, кто?»
«Я — звезда солнечного восхода!»
«Если ты — звезда солнечного восхода,
Зачем пришла к „Стране без возврата“?
Как твое сердце тебя послало на путь,
откуда нет возврата?»

Нисхождение Инанны в подземный мир[1]

Статья 46. Любое лицо, кто посредством заявлений, письменных материалов или иных действий воспользуется тяжелыми последствиями национальной трагедии или будет манипулировать ими с целью подорвать государственные основания Алжирской Народной Демократической Республики, ослабить государство, опорочить репутацию его представителей, кто достойно ему служил, а также с целью нанести ущерб образу Алжира на международной арене, наказывается лишением свободы на срок

---

[1] Примечания: 1

Пер. В. К. Афанасьевой (От начала начал. Антология шумерской поэзии. СПб., 1997. С. 142).

от 3 (трех) до 5 (пяти) лет и штрафом в размере от 250 000 до 500 000 алжирских динаров.

Уголовное дело возбуждается по инициативе прокуратуры.

В случае повторного правонарушения наказание, предусмотренное настоящей статьей, ужесточается вдвое.

Хартия мира и национального примирения

Часть первая. Голос

1

16 июня 2018. Ночь. Оран

Видишь это?

Я широко улыбаюсь и молчу. Точно немая. Чтобы понять мои слова, надо наклониться совсем близко, будто я делюсь каким-то секретом или открываю тайну прошедшей ночи. Следует свыкнуться с моим дыханием, ведь поначалу каждый мой вздох кажется последним и я смущаю своим присутствием. Не отрываться от моих золотисто-зеленых глаз редкого цвета, как в раю. Может почудиться, что некий невидимый человек душит меня шарфом, но не стоит паниковать. При свете я выгляжу стройной, чуть ли не изможденной, едва живой, и огромная замершая улыбка пугает проходящих мимо. Эта широкая улыбка почти семнадцать сантиметров длиной неизменна более двадцати лет. Она застыла чуть ниже подбородка, и из-за нее мои слова и фразы такие тягучие. Иногда я прикрываю ее пестрым платком, всегда из дорогой и редкой ткани. И непременно поднимаю воротники.

Что ж, поговорим, раз уж представился столь

неожиданный повод. Ты событие, которое и не представить. Спустилась с неба прямо на меня, как метеорит, упавший на скорбящего пророка. Вот и поболтаем. Если просто молчать, то мне придется лишить тебя жизни не церемонясь, со всей грубостью и небрежностью, подобно мяснику, зевающему над тушей барана. Иными словами, разрезать мешок, мешающий тебе шевелиться, где ты корчишься, и выпустить наружу обретенную тобой малую жизнь. Хотя ты и не живая с медицинской точки зрения, но и не мертвая с точки зрения Бога. Что же касается меня, то, возможно, ты не первая невинная душа, кого я убила. Не руками, так ве́ками, закрыв глаза. Этого не ведает даже Хадиджа, моя мать; мне уже двадцать шесть лет, но она по-прежнему смотрит на меня как на новорожденную, будто сама тоже рождается заново, а я так и осталась навсегда ласковой и послушной.

Мы в моей комнате. Ночь. Квартал Мирамар в Оране, красивом большом городе на Средиземном море, который мерцает в темноте как рассыпавшееся ожерелье. Уже два часа ночи, раздаются крики какого-то мужчины, проезжает полицейская машина, собаки воровато ищут добычу. Пытаясь отвлечься, воображаю, что паль-

мы передвигаются, а море ищет возможность разлиться по улицам. Немота подчас очень выручает, почти спасает во внешнем мире. Никто не ждет от меня развернутых фраз, рассуждений со лживыми заявлениями, преувеличениями, обещаний. Даже случалось так, что в мгновения любви мои огромные серо-зеленые глаза приводили в замешательство моих визави. Меняющие цвет на золотисто-карий, они насмешливо следили, как мужчины теряют дар речи, изучая меня, погружаясь в мой зыбучий взгляд, и всякое произнесенное слово оказывалось лишним.

Прислушайся: это ночью ревут по утраченному морю торговые суда; не смогу тебе объяснить, что оно собой представляет и откуда взялся корабль, приникший к морю гигантским металлическим ухом. Есть вещи, детали внешнего мира, о которых мне не рассказать тебе даже моими словами. Потребовалась бы долгая жизнь, чтобы поведать происходящее в тысяче подробностей, но у тебя этого времени нет. Чего же еще ты хочешь услышать, чтобы нам лучше познакомиться? Я разговариваю с тобой, но звук моего голоса, который ты слышишь, — это еле различимый шелест перелистываемых бумажных страниц. Да и зачем мне давать определения морю, собакам, кораблю,

пальмам и даже чертам моего лица в тенях ночи? Они нужны живым, так те чувствуют себя увереннее. А для тебя это лишь некие звуки за стеной, в которую ты скребешься. Ты существуешь там, в темноте, заботливо скрытая мною. Тебе ведь тепло? Думаю, ты плаваешь или сворачиваешься калачиком, как я; видимо, пуповина тебе слегка мешает. Опутывает. Я обращаюсь к тебе на моем прекрасном звучном немом языке, на котором уже много лет рассказываю истории и разговариваю мысленно со своими врагами, соседями, имамами, Богом, укравшим у меня столько ценного. Он сродни языку потрясших меня фильмов, над которыми я проливала слезы. Язык сновидений, тайн, того, что не выразить речью.

Этой летней ночью я лежу в темноте, как и ты; ночное небо теплое и глубокое, словно подушка, заснуть невозможно. Если бы ты отслеживала время, сообщила бы тебе, что сейчас два или три часа ночи. Летом в нашем городе она короткая: не успеют высыпать звезды, как, прогоняя ночь, приходит на заре имам и призывает к молитве. Ты не можешь этого видеть оттуда, где находишься, ведь у тебя глаза только едва-едва появились. Я же различаю комнату, улицу, море и приплывший корабль. У тебя пока еще нет

пола, но мне известно, что ты девочка, моя Гурия. Такой предстаешь мне, когда я закрываю глаза. Верю, ты снизошла из рая. Оттуда, где время не течет и не исчисляется. Часы кондиционера на стене напротив показывают еще и температуру, и от их подсветки у всех предметов образуются тень и своя аура. У кровати стоит тумбочка, а еще здесь есть письменный стол, который мне теперь без надобности, поскольку учебу в коллеже я бросила, не сдав экзамен по истории государства Алжир. Тут же обувь, которую я никогда не убираю; на окнах широкие шторы с черными фламинго, запертыми в складках ткани. И жалюзи. Я не опустила их как следует: на столбе, что рядом с кафе через дорогу от нашего дома, светит фонарь и, подобно бродяге, пытается рассмотреть мою комнату. Столб поставлен посреди террасы, снизу он ржавый, а из электрической коробки вылезают провода. Какое кафе, спрашиваешь? «Мархаба» («Привет», перевожу я на свой внутренний язык). По всей стране такие заведения обычно называются одинаково, как и места, носящие имена мучеников войны за независимость Алжира, и главные улицы городов. А это мой туалетный столик и зеркало, которое я вчера разбила. Бедное зеркало! Разлетевшееся на тыся-

чи осколков, оно напоминает тех, кто пытается выпалить все слова разом, заикается, путается и в конце концов оказывается в раздрае, заливается слезами и режет руки. Зеркало распалось из-за моей невозможности нормально извлекать слова. Да, я разбила его вчера, помнишь звук, будто песок посыпался, он донесся до тебя через мои уши в живот. Знаешь, я представляю, какая ты там, где сейчас находишься. Ничего тебя со мной не связывает, ни имя, ни фамилия, только пуповина и кровь. А ты угадываешь мои очертания, заглядываешь в мой мир, в мою комнату, город, до которого тебе нет дела, но тебе неведомо, чего мне по-настоящему хочется. Мы похожи на чужеродные почвы, сдвинувшиеся в результате землетрясения. Ты плывешь против течения в напряженном, словно мускул, молчании, первый день твоей жизни путается с последним, его захлестывает поток моей речи. Как немая двадцатишестилетняя женщина умудряется так долго говорить не переводя дыхания? Откуда у нее это неуемное желание выпалить все сразу, каку пойманного с поличным воришки?

И причина вот в чем: я владею двумя языками. Один как ночь, другой как полумесяц. Один подпитывается другим.

И рыбий рот, чтобы говорить на обоих.

А чтобы ты могла получше представить меня чудовищем, улыбка от уха до уха. Вот тут, на шее. Шея к туловищу привязана леской, она не дает мне погрузиться в забытье и остаться подвешенной, как товар на рынке «Бастилия» (в Оране туда все ходят за покупками). Трое или четверо мужчин уже трогали ее указательным пальцем, пытаясь понять, откуда она взялась. Моя мать Хадиджа почти каждую ночь год за годом тщательно ее ощупывала, лечила, наблюдала, обезболивала тысячами снадобий, смотрела, не уменьшилась ли та. Как знать, а вдруг она увеличится и убьет меня, спрашивала мама, или же станет меньше и вернет к нормальной жизни? Потому что никто никогда не видел ничего столь широкого и грубого, несовместимого со счастьем и противоположного радости. Но по крайней мере, я могу назвать тебе мое имя. Оно как светящаяся вывеска в черной ночи. Меня зовут Заря. Фаджр на внешнем языке, Об — на внутреннем.

(Вздыхает.)

Два моих языка, словно руки, сжимают мне горло. Первый кружит в голове как плат, вьется как река из Корана, точно еще одна кожа под кожей. На нем я говорю, когда отсылаю тебя к

райским девам, убеждая, что не стоит являться в этом мире. Не спускайся с небес овечкой, останься там, не давайся в руки людям. Внутренний язык составляют все слова, которые не могут сорваться с уст из-за… из-за… того, о чем собираюсь тебе рассказать. Я ничего не скрываю. И не стыжусь своей ноши. Мама Хадиджа меня понимает, она давно мне объяснила, что стереть можно все из написанного, кроме начертанного на собственной коже. «А ты — книга», — убеждала она. «Настоящая книга, повесть, которую не забыть, алфавит, неведомый только невеждам», — твердила она, пока я лежала на больничных койках и еще пытались восстановить мои голосовые связки. «Когда они поверят, что замели следы своих преступлений, останешься ты и твои чудесные глаза». Я — подлинная отметина, самая весомая улика, свидетельствующая обо всем, что пережито за десять лет в Алжире. История войны запечатлена на моей коже с самого детства. Тот, кто умеет читать, все поймет, заглянув в мои непристойные глаза и увидев мою чудовищную улыбку. А тот, кто намеренно хочет забыть, испугается и отведет взгляд.

В окружающем меня мире я почти немая. Мне достаточно всего нескольких произнесенных

слов. Но в моей голове у нас с тобой есть слова почти для всего, что хранит моя память. По сравнению с внешним мой внутренний язык невероятно точен, и он хранит древние истории, ожидающие своего нового повторения. И так все или почти все освещено, даже без солнца, кроме того места, где ты находишься. Воистину! Этот внутренний язык загорается в моменты любви, ярости или смеха. Он набухает от бессонницы, как полноводная река летом. А еще в нем таятся голоса тех, кого я любила, их тембр, интонации, например голос Суад, моей воспитательницы; когда мне было пять, она превращала мою жуткую «улыбку» на горле в нестрашную игрушку. Помню, эта женщина любила меня и восторженно описывала мои глаза, заставляя забыть об «улыбке». Копна черных блестящих волос обрамляла ее лицо и напоминала, не знаю почему, луну, зеркало или счастливую семейную жизнь. Ее красота оказалась первой буквой алфавита моего тайного языка. Представь себе, сколь прекрасна была воспитательница Суад, хотя в ту пору этого слова я не знала, только чувствовала, как сильно начинает биться мое сердце. Мне хотелось стать ее отражением! Всякий раз, когда она смотрела на меня с такой любовью, иначе, чем на других

детей, я готова была плакать. Мне хотелось попросить прощения за свою ужасную «улыбку». Мой внутренний язык начался с нее, могу поклясться всеми книгами.

Это еще и тот язык, на котором я пишу; он ползет как змея, извивается, белым животом скользит по бумаге, вот и в школе у меня ладилось с ответами, потому что мне нравилось писать. Нередко я быстрее всех находила решение проблемы, поскольку была совсем или почти немой. С пяти лет не трачу время на пустые разговоры, храню молчание, а когда принимаюсь писать, стремительно бегу и первой, раньше всех, оказываюсь в неведомых краях. Раньше тех школьников, которых не выбросить из моей головы, они осуждают, окружают и тыкают в меня ручками, пытаясь дотронуться до моей «улыбки» и не запачкаться.

Ночь рассеивается; язык мой, моя раковина, моя потеря; мне хочется удалиться, умолкнуть, уклониться от оправданий, но все же попробую объяснить. Все оттягиваю момент поговорить с тобой на другом языке, внешнем, на котором обращаюсь к другим: маме, моей второй маме, сестре, умершей двадцать лет назад, первому врачу, лечившему меня, когда мне было пять,

местному имаму, охраннику с гноящимися глазами на парковке, двум моим работницам, скупым на слова, клиенткам моего салона, собаке, трусящей под дождем, тебе, Абду, судмедэксперту, приятелю мамы, ножу, Всевышнему и Его барану. Это иностранный язык, и когда я что-то на нем говорю, остальные стыдятся произносить слова, с трудом подыскивают подходящие, ищут убежище в моих невероятных глазах или в «улыбке». Это язык жалости к другим, о моя незнакомка, скрученная в кромешной тьме.

Тсс!

Трудно объяснять тебе такое, ведь твои уши еще не сформировались. Я выписываю круги по комнате, ты мучишь меня своим молчанием. Иногда ночью меня пронзает страх за твое будущее. Собственно, чего я боюсь? Мне стыдно продолжать жизнь после тебя, стыдно тебя пережить. Если я это сделаю, мне придется вновь смотреть невидящими сухими глазами на белую штукатурку стены, чтобы заснуть. Начать все снова, опять оправдываться, объяснять, договариваться… Тогда я уже во второй раз украду у кого-то жизнь и юркну в чей-то труп, чтобы погреться на солнышке. Понимаешь? Если ты умрешь из-за меня, я лишусь всего и почувствую себя изгнанной

отовсюду. И даже не смогу выкрикнуть это, ведь у меня нет голоса. Уж такова моя судьба: мне надо ощупать себя, чтобы понять, кто во мне жив, а кто мертв, какая часть меня больше не дышит. Например, я уже давно не чувствую ароматов, обоняние утрачено. Запах чьей-то кожи мной не ощутим. Я словно разрезана на два тела, на два языка. Рассечена своей улыбкой.

Душно.

В этом году лето будто украло весь воздух с неба. Даже в такой час мне жарко, очень жарко, но я не решаюсь снизить температуру кондиционера, потому что, когда я простужаюсь, мама в панике. Мне хочется покурить, пожевать табак, задохнуться. В моей крови бушует бешеный зверь, он умоляет и топает ногами. Ну да, иногда я курю, даже в моем положении! Это едва ли не единственный запах, который я ощущаю, едкий, сильный. Все иные растворились много лет назад, пока отмирали обонятельные рецепторы. У меня в комнате с трудом можно найти флаконы духов, как и детские фотографии, на которых моя шея даже летом обмотана шарфом. Маму бесит запах табака, убивающего меня, но она молчит, опустив взгляд в пол, и в своем горе прячет материнскую заботу. Когда я курю, то кашляю, а для женщины

в моей ситуации хуже не придумать. Понимаешь, для меня все теперь сложно: кашлять, чихать, смеяться и кричать. А еще ощущать вкусы, вдыхать запахи, втягивать их носом и вспоминать что-то из прошлой жизни. И говорить.

Учась в школе, что по другую сторону площади, я говорила мало, но смотрела вокруг настойчиво, яростно, жестко, нежно, резко, едко; цвет глаз менялся, они окрашивались сотнями оттенков… Огромные глаза гурии, разрисованные подобно тем золотистым ночам, когда искрился мой внутренний голос. Хватало лишь взгляда, чтобы смутить взрослого или довести до слез одноклассника. Точно буквы алфавита, словно коллекция ножей. Я так плохо, так редко произносила слова ртом или вообще не говорила, что меня за глаза прозвали рыбой. В двухтысячном году мне исполнилось два года, и мамины друзья пришли поздравить ее, они с любопытством разглядывали меня: как одно и то же лицо может быть одновременно красивым и ужасным? И что сказать такому ребенку? У меня есть дар вызывать в других головокружение, будто они стоят на верху минарета или на краю утеса. В школе я тренировалась и очень быстро навострилась пристально смотреть на нашего учителя Сафи

(лысого, с глазами навыкате, тоже как у рыбы, носившего одни и те же брюки в течение пяти лет, не терпевшего ошибок, словно они были вшами в копне арабского языка, которому он нас учил и который считал единственным на свете, хотя тот не равен и толике моего тайного внутреннего языка); я не сводила с него взгляда, и, несмотря на свое упорство, он сдавался, ретировался, быстро перелистывал страницу классного журнала с фамилиями, лишь бы скрыться от меня, нацеливался на девочку, сидевшую за мной, и вызывал ее. Я очень рано поняла, что его язык уступал моему. Мой — сокрушительный, как оскорбление, ранит или ярко освещает все, что творится в голове или в ночи.

Что же до другого моего языка, внешнего, ото рта до ушей… Как объяснить то, чего не существует? Туда, где ты живешь, доходят только звуки. Послушай, раз уж ты не умеешь ни читать, ни писать.

Я родилась заново в пять лет. Мне нравилось смотреть по телевизору приключения селезня Дональда Дака; забавного, празднично веселого и ужасно нескладного. Он смешно злился, мог вываляться в грязи посреди поля, шлепнуться, вскочить, свернуться клубком и всему удивлялся.

Что меня с ним роднило? Его было трудно понять, да и то, если он помогал себе жестами, кривлялся и галдел. Пытаясь что-то сказать, он суетился, переворачивал в своем прелестном ярком домике все вверх дном, задыхался, захлебывался и повторялся. Глупо, конечно, но тогда я верила, что он правда существует и говорит на том же языке, что и я, рваном, на котором ничего не выразишь без помощи глаз и рук. Вот так. Это мой второй язык, внешний. Зато, когда я обращаюсь к тебе на своем внутреннем языке, все оказывается ясным, точно в зеркале.

Вчера ты услышала, как я злюсь. Даже оттуда, где ты лежишь, в укромном местечке, ты наверняка все слышала. Меня всю трясло, а мама невозмутимо молчала. Она ждала очередного слова, не желавшего слететь с моих уст. Я кричала, но вырывавшийся крик был таким нелепым, что, вероятно, это напоминало Дональда Дака в его разноцветном домике. Ничего не выплескивалось наружу, все возвращалось обратно, и ты крутилась и вертелась как умалишенная в сумасшедшем доме. Мне не хватало воздуха, ты могла задохнуться. А потом я заплакала. Когда злишься, теряешься меж двух языков, и во рту только камни. Понимаешь ли ты мое убожество?

Я ведь даже не могу выругаться на внешнем языке. Только теперь нас двое в этой ловушке. Ты там лежишь, и неважно, что мне тебя не видно, и порой дергаешь в темноте за пуповину. А я — книга и постепенно становлюсь тебе понятнее. Мой внутренний язык наконец-то находит выход вне меня: он обнаружил твои уши, прокладывает путь, нащупывает твой мир нежной слепоты. Раньше он был только зажатым источником подземных вод, а тут открыл в тебе трещину, повернувшую поток, ставший дельтой. Ты хранишь мою тайну и останешься здесь, пока я не разверну тебя в другую сторону мира, не верну туда, где достаточно рассмеяться и сады зацветут.

Муэдзин! Его голос. 4:34 утра. Зычно зовет на молитву, громко кричит, будит спящих. Это язык проповеди и угроз, он напоминает о конце света с утра до вечера. Услышав его призыв, люди просыпаются, рыгают, встают, пошатываясь, омываются холодной водой, сначала в интимных местах, потом омывают руки и голову. Сонные, они отправятся к недремлющему Всевышнему. Заклинаю: тебе надо уйти, мне нужно молчать, ты уйдешь туда, откуда попала мне в живот, или вместе с мочой в сточные воды, в черные каналы города. Тысячу раз повторяю: не хочу, чтобы ты

оставалась. Но потерплю, если выслушаешь мою историю, разглядишь письмена на моей коже, шрамы, до которых ты не можешь дотронуться. Но когда я закончу, отсеку тебе голову, не ножом, а тысячами ласк, советов, чтобы ты вернулась туда, откуда явилась. Ведь тебе здесь не место; для женщины жить в этой стране как идти тернистым путем. Я убью тебя, потому что люблю, и ты исчезнешь и отправишься в рай, где растут гигантские деревья. Не я к тебе привязалась, это мой сиротливый второй язык. Из-за него я здесь, потому и тараторю в темноте, пока остальные спят или собираются молиться своему Богу, только мне не заснуть. Не могу смотреть, как мама укладывает чемодан в соседней комнате, и закрыть глаза не могу, так и вижу тебя свернувшейся калачиком в мутном пространстве. Мой внутренний язык хитрит со мной, пока я говорю. Он велит, чтобы я сохранила тебе жизнь и объяснила, как ты умрешь, изгнанная тремя таблетками-убийцами. На внешнем языке этого не сказать, мне не с кем делиться, если я убью тебя. Взойдет солнце, начнется шум и гам, но без меня. Вот почему, моя Звездочка, ты пока будешь жить, ни жива, ни мертва, пока я не решу завершить наш разговор. Я сама виновата. Надо было

вести себя осторожнее, но залетела как идиотка, и теперь уже не сделать аборт, точно загнанный зверь.

2

17 июня, раннее утро

Открываю окно, потому что духота как в могиле. Ты слышишь их? Я увидела это позавчера, возвращаясь из парикмахерской. Через три дня их всех убьют. Первые жертвы уже лежат попарно на рынках Орана. Они привязаны друг к другу рогами, словно участники заранее проигранной битвы. Ночью они кричат хором, блеют без передышки. Будто умоляют, ждут ответа. Если прогуляться по скотным рынкам новых восточных районов, увидишь их везде. Пока люди договариваются о цене и весе, все они, кажется, смотрят на юг. Возможно, пытаются разглядеть высокогорные селения, где родились, и найти во всеобщей суете путь туда. До празднования еще несколько дней. И скоро их число увеличится. Если ты еще задержишься, то увидишь их здесь, под окном нашего дома, в самом центре Орана. Они заполнят наш квартал Мирамар, начнут тесниться на балконах, в подвалах, у разрушенных французских домов в стиле ар-де-ко. Они будут, уж поверь, повсюду, в каждом переулке, везде,

честное слово, точно настал день Страшного суда. А за ними шлейфом тянется запах страха, будто вонь грязного платья, сочащийся у них промеж ног.

Мама Хадиджа никогда не отмечала этот день. Он не для моей семьи. Не с моим шрамом на шее, историей, запечатленной на коже, и «улыбкой». Мы ограничиваемся тем, что покупаем рыбу, несколько килограммов мяса, кладем их в холодильник и ждем, пока стихнет безумие и ветер разгонит последние вопли. Наконец эти ниспавшие с небес животные, о которых тысячелетиями слагали легенды и которые требовались для пророчеств и жертвоприношений, замолкают. Меня не трогает зрелище, повторяющееся из года в год. Просто по городу разлетаются пыль и жуткий страх. А прекрасный Оран, с его морским ожерельем и дивными пальмами, превращается в громадный шатер скотоводов с баранами, хлюпающий на ветру; знаешь, ветер преследует меня с детства, раздувая во мне пустоту. Иногда мне кажется, я переживаю то же, что и эти животные, напуганные приближением рокового дня. Само мгновение, когда смотришь в небеса, а нож тянется к яремной вене на обнаженной шее.

Откуда тебе это знать? В такой миг сильнее все-

го не ненависть к убийце, а безудержная надежда: тебе пустили кровь, но пощадили. И ты покорно застываешь в руках убийцы. И говоришь себе: если не сопротивляться, тебя не зарежут. Послушай меня, моя незваная малышка. Такое сложно понять, если не ведаешь, что это за священный день, религия, город. Зачем сгонять столько скотины, чтобы съесть ее за пару дней? Зачем залезать в долги, тратиться и гнать грузовики в южные города? Трудно пересказывать эту историю той, кто едва ли рассмотрит страну, сидя в животе. Я пытаюсь тебе объяснить, но получается невнятно, словно бы на иностранном языке. За те несколько часов, что ты там ерзаешь, тебе стало известно, что я немая, что мое лицо со вчерашнего дня отражается в зеркале тысячью осколков, что я не хочу, чтобы ты оставалась внутри меня. Я категорически против того, чтобы ты устроила во мне свое укрытие, но все-таки мечтаю, чтобы ты там осела и выслушала меня, а я как будто возлежу на ковре-самолете. Потому что и я тоже, считай, взаперти. Меня вскрыли, за жизнь я цепляюсь через неглубокий разрез на коже, дышу через канюлю и сражаюсь с волной на поверхности мира живых. Если бы зеркало не разбилось, ты бы увидела разрез на горле, едва скрываемый

моей чудовищной «улыбкой». Вскрытую гортань, обнажившийся пищевод, некое подобие рта с зарубцевавшимися поджатыми губами. Там все темное, красное, пульсирующее, как вспоротый живот. Пальцем дотрагиваться нельзя, а если дотронулся — сразу дезинфицировать. «Улыбка» тянется от уха до уха, это след ножа, его зарубка на моей плоти. Зашитая рана в двадцать семь сантиметров. Заглядывать в нее не стоит, да и долго оставлять открытой тоже не рекомендуется. Как описать тебе мои чувства, когда я смотрю на себя в зеркало без канюли и платка, скрывающих рану? Даже мои сказочные глаза при виде ее тускнеют. «Твою историю не стереть, она начертана прямо на тебе», — твердила мама. В детстве я гордилась этим сравнением. Я как книга? Мое тело подобно толстой тетради, хранящей тайны? И в ней записано то, что происходило в Алжире в течение десяти лет, чтобы никто не забыл?

Стараясь отвлечь меня от этих мыслей, Хадиджа часто водила меня к морю на пляж Лез-Андалуз. На запад, к заброшенному туристическому комплексу. В конце пути нас поджидали белые бунгало, выстроенные вдоль берега. Помнится, в ранние часы там было холодно. Хадиджа водила нас, меня и своих друзей, туда исключительно

зимой и осенью, в будни и на рассвете. «Море будет принадлежать только нам и больше никому!» — объясняла она. По правде говоря, летом и по выходным она не ходила потому, что не выносила шумные толпы, грубую, наглую молодежь, грязных купальщиков, девиц, обмотанных в черные тряпки, а также пластиковые бутылки, которые перекатывает ветер. Знаешь, Хадиджа любила море точно потерянную драгоценность. Надо было видеть, как она приходила, снимала обувь, молча опускалась на полотенце и вода омывала ей ноги. Деловая женщина, успешный адвокат, она замирала, словно пыталась найти окончательное объяснение. Море заполняло пустоты в воспоминаниях сироты, брошенной 5 июля 1962 года. Мы долго сидели, не произнося ни слова, на мокром песке с выброшенными водорослями, чтобы расставить все по местам внутри нас. Голос моря заглушал мамин и мой внутренний язык. Мы часами могли сидеть неподвижно и слушать его хрипоту, его исповедь нам. Потом постепенно приходили в себя, и бунгало на берегу снова обретали очертания. Снова виднелись песчаные выемки и холмики, усталые лодки всплывали перед нашим взором, и вдали мы различали фигуры рыбаков. Как же

прекрасно и весомо море, когда носишь его в себе, дорогое мое зернышко! Стоило мне коснуться его пальцами ног, как тысячи чаек принимались орать. Они хохотали надо мной, кружась в небе, хлопая крыльями, бранились, их насмешливые вопли заменяли крики, спрятанные во мне.

Множество галдящих страниц в праздничном небе. И во мне. Возвращались мы как можно позднее, и море бушевало внутри.

Летом в начале долгих каникул по всей улице Мирамар в центре Орана летали страницы из разорванных тетрадей и растерзанных книг: так школьники отмечали последний день учебы. Тысячи дат, выведенных от руки вверху листов, тысячи уроков истории поднимались к небу, превращаясь в насмешливых чаек. Тех самых птиц из моих пляжных воспоминаний. Крылья чаек шелестели, словно тысячи тетрадей, и возвращались ко мне редкой книгой, сочиненной в ожидании близкой смерти и темноты. Книгой, защищающей от забвения подлинную историю настоящей войны в Алжире. Разумеется, ты ничего об этом не знаешь. Тебе неведомо, на сколько камней натыкаешься в жизни. С чего же начать нашу с тобой историю? С чего же? Может, с самого простого: с моего имени, Об, я тебе уже его

называла.

Мама выбрала это имя 1 января 2000 года в машине скорой помощи, мчавшейся с сиреной по дороге между городком Релизаном на востоке и Ораном. Она дала мне его, пока я истекала кровью, подобно барану, принесенному в жертву; видимо, это был первый порыв, отгоняющий смерть.

Читай.

Читай мои мысли.

Прислушайся, постарайся понять. В летнюю жару по всему Орану бараны горюют по своей судьбе. Вслушайся в их долгие жалобные стоны, что раздаются повсюду. Это неведомая тебе история, свершающаяся в стране тебе безразличной. Поверь, девочка моя, я не хочу, чтобы тебя втянули в нее, чтобы ты стала женщиной, чье положение не намного лучше, чем у одной из овец. Понимаешь? Через несколько дней наступит праздник жертвоприношения, на внешнем языке — Ид аль-Адха. Давным-давно древний пророк, по имени Ибрахим, задумал перерезать горло собственному сыну во славу их Бога, который то и дело подтрунивает. В последнее мгновенье на вершине горы, когда на жертвенном камне пульсировала яремная вена и дитя закрыло глаза,

чтобы спрятаться от смерти, Всевышний спустил с неба барана. Сын был спасен. Хотя бы на время, поскольку в Коране сказано, что потом его оставили в пустыне. И с той поры, мой головастик, горло режут баранам, а не людям. Хотя отнюдь не всегда! Например, в конце гражданской войны, в тот год, когда появилась моя «улыбка», зарезали гораздо больше людей, чем баранов. Как же поведать тебе о войне так, чтобы не измазать тебя, явить чудовищ, скормить одного за другим, чтобы ты их прожевала и проглотила? Вероятно, пророк Ибрахим никак не мог проснуться тогда в Алжире. Солнце уже встало, а он все спал, и мы застряли в его залитом кровью сне, где он гоняется с ножом в руках за всеми сыновьями. А вдруг ты явилась бы женщиной в то темное десятилетие? Оказалось бы еще ужаснее. Видишь ли, неожиданная малышка-незнакомка, в этой стране рискованно появляться на свет. Некоторое время ты сможешь есть досыта, но будет и так, когда съедят тебя, и то, когда тебя зарежут. Ты заплатишь за спутанный сон древнего пророка, и кто-нибудь тебя изнасилует. Кстати, небесные бараны спасают исключительно мальчиков, а не девочек. Если речь заходит не о сыне Ибрахима, а о дочке, история всегда кончается кровью. На-

вострi уши и послушай баранов. Слышишь? Они блеют. Тоже хотят вернуться на небо, спастись от этой войны между сном и сыном, пророком и скотиной, кошмаром и улыбающимся ножом. Все, чего они хотят, это чтобы люди остались без посредников, без жертвенных животных, чтобы они сами убивали друг друга. Такое бывало в этой стране, моя сардинка, и не раз.

Ну что, понятно?

Мама спит или делает вид, как тогда, 5 июля 1962 года, когда ее нашли в колыбельке на пороге мечети в Алжире и верующие перешагивали через нее. Завтра она уезжает в далекую страну Бельгию уговаривать врача помочь мне, и мы с тобой останемся одни, вот тогда и сможем договориться по-хорошему. Я верну Всевышнему его барашка, убью тебя, вычеркну из жизни, отправлю в рай, где щебечут гурии, и ты избежишь беды. Кошмар останется со мной, а тебе я дам древний свет несостоявшейся жизни, уберегу от рук и ножей. На какое-то время, хотя бы на несколько дней, я твоя мать и желаю тебе только блага, а благо — это умереть.

3

Тук-тук! Ты здесь?

Спишь? Кажется, мама проснулась. Распахивает окна, хлопает одной дверью, другой. Это наш язык во время ссор. Когда такое случается, мы обе плохо спим. Полночи прислушиваемся, что там за стенкой. Я и она потерянные приемные дети, поэтому все непременно завершается разговором, чтобы не возвращаться к одиночеству. С годами расклад сил в наших ссорах изменился, мама словно бы уменьшилась и теперь не одерживает верх. А я, наоборот, переняла от нее власть возраста, суровость, жесты (говорить с помощью указательного пальца и бровей, не артикулируя). Мы поменялись ролями. Причудливый танец: мне двадцать шесть, ей — пятьдесят восемь. Но кажется, будто она возвращается в детство, которого у нее не было. Мама Хадиджа — загадка. Большая овечка. Невысокая, с короткими черными волосами; когда встречаются наши взгляды, ее глаза застилает застарелая паника. Баран Ибрахима. В какой-то миг моей истории она упала с небес, чтобы отвести нож и спасти ребенка с большим шрамом на шее.

Но в такой версии пророк убежал, а покорный черноглазый барашек остался, это моя мама. Она защитила меня, окружила надежными стенами, не пренебрегла осмотрительностью, запретила мне уходить далеко, путешествовать, гулять по ночам, курить и встречаться с мужчинами.

Ты слушаешь? Она вымещает свой гнев на вещах, чашках, домашней утвари. Она слышала, как вчера я разбила зеркало на тысячу истин, и склеить их невозможно. Что же теперь? В бедном зеркале отражаются тысячи лиц. В одном осколке — разрез на белой шее. В другом — спутанные волосы. Если я наклоняюсь, у меня подрагивает губа. Дрожит, словно готовится сделать признание, видишь это? А вот широко распахнутые глаза с радужкой редкого цвета вопрошают, не надеясь, что будет ответ. Смотри, это моя канюля: толстая пластиковая пробка, похожая на часть водопроводного крана, торчащего из моей шеи, она прячет дыру в моем горле. Вроде тюбика с зубной пастой, флейты с единственным отверстием. Через нее я и дышу, через дырку на поверхности кожи.

Вчера, сидя в гостиной, мама заявила, что на следующий день улетает. Она заламывала руки и не отрывала взгляда от них. Планировала

полететь в Брюссель и поговорить обо мне со знаменитым хирургом. Все надеялась, что операция восстановит мне голос; старая история с неизменно плохим концом. Пробовали это неоднократно. Но на сей раз внутри меня ты, не воспринявшая всерьез столь тщетную надежду, и маму окутало облако отчаяния. Она сама себя обманывала. Выдавало ее молчание, взгляд, никогда не отпускающий страх ребенка, найденного в колыбельке. Она молчала, и в ней воскресал барашек, чьей шерсти хватало на двоих. Загнанная в угол ее обманчивыми обещаниями и твоим голосом внутри меня, я заорала как умалишенная, но в комнате ничего не изменилось. А потом уже в спальне я разбила зеркало.

Знаешь, когда Хадиджа лукавит, она не смотрит на меня, сосредоточена на себе, будто объята пламенем жертвоприношения. В глубине души она не хочет, чтобы я повторила ее судьбу. Но живет вызывающе ярко, точно выставляет вину напоказ, и это ее терзает, заставляет быть чрезмерной в проявлениях любви и в защите своих клиентов. Какова история ее жизни? История барана, оказавшегося между пророком и ножом, небесами и алтарем. Знаешь, Хадиджа на все смотрит суровым, как закон, взглядом и гово-

рит властным голосом. Она известный адвокат в Оране. Всем знакома ее громогласность; она спасает жизни и рубит головы, и кажется, вкладывает в это такую страсть, будто имеет дело с собственными призраками. У нее свое бюро в доме османовской архитектуры рядом с отелем «Рояль» на самом красивом городском бульваре. Хадиджа занимается этой практикой уже почти тридцать лет. В Оране моя мать — настоящая знаменитость. Если бы ты осталась в живых, то смогла бы с ней познакомиться. Она родом из столицы Алжира. Всегда была смелой, уважаемой и одинокой! Есть нечто красивое и чудовищное в ее жертвенной любви ко мне. Сейчас я лучше понимаю такую странную любовь, ее жизнь без мужчины, без мужа, и то, что она обрела радость, воспитывая покалеченную девочку. Помнишь, ее ведь нашли в колыбели в День независимости Алжира. А может, она просто убедила себя, что должна привлечь к себе внимание своими успехами или заново начать жизнь, когда появилась у нее я, заботиться обо мне, ведь о ней с самого рождения никто не заботился.

Некоторые так и живут: приносят себя в жертву в поисках прощения. Она постоянно передо мной унижается, ждет от меня двух-трех слов на

забытом крякающем языке, молчит, выжидая, пока я ее мучаю. А я сбиваюсь, путаюсь, меня душат бесконечные страницы, накопленные во мне за два десятилетия немоты, но мне никогда не удается прочесть их вслух. «Вот Богом клянусь, честное слово! (В Бога она не верит, разве что по большим праздникам, когда родственники приходят в гости.) Он сказал, что вполне можно заняться твоим случаем, попробовать еще раз». Произнеся это, она смолкла и съежилась, вернувшись в колыбельку, найденную в июле 1962 года на рассвете у порога большой мечети Кетшава, что у Касбы в Алжире. Я принялась орать так, что стены сотряслись. Закатила такой скандал, что на мои вопли обиженного ребенка сбежались соседи. Во всяком случае, так мне казалось. На самом же деле белые стены гостиной по-прежнему дремали в молчаливом спокойствии, и в залитой солнцем комнате нашей квартиры на третьем этаже шипение моего горла звучало чуть громче проезжающих по улице машин. Мой гнев сжался в кулаке, точно камень, но, как всегда, это ни к чему не привело. Мир нашего квартала шумел, гудел, продолжалась обычная жизнь.

Хадиджа лукавила, и я злилась на нее за это, но и сама скрывала новую надежду, спрятан-

ную в моем чреве. Воображала, будто пребываю в ярости от пустой затеи: якобы голос вернется, если сделать пересадку голосовых связок, а гортань восстановится после героической восемнадцатичасовой операции («В Америке такую уже успешно сделали!» — измученно шептала Хадиджа). В действительности же упрекала себя за то, что испуганное сердце предательски колотится при одной мысли о том, что я могу снова обрести дар речи, хотя благодаря тебе уже обрела голосовые связки. Нужно лишь сознаться в твоем присутствии, и гортань будет спасена, оба языка воссоединятся. Крякающий и ангельский голоса сольются в единый богатый, мощный язык, и он станет настоящим внешним языком. Но я ни в чем не призналась. Пусть Хадиджа полагается на свое путешествие и думает, что я и ведать не ведаю о ее обмане.

Уже рассвело. Я лежу в кровати с закрытыми глазами, а ты — в моем животе как отражение луны в воде.

Хадиджа улетает утром в десять. Она не торопилась, закрывая за собой дверь, словно хотела изобразить душераздирающее прощание.

До отъезда она сварила мне кофе. Чувствуешь? Я больше двадцати лет почти не ощущаю запахи,

едва-едва. Воздух не проходит через горло, и, по словам врача, обонятельные луковицы истощаются и сморщиваются, как цветы без воды. Перед отъездом мама плакала, но меня это не тронуло. Думаю, причина всех ее рыданий — один и тот же образ, хотя она старается его всячески спрятать. Когда ее нашли на рассвете 5 июля 1962 года, верующие собирались на молитву и вряд ли заметили бы колыбельку с незаконнорожденным ребенком. Она есть свидетельство вины женщины (почему никогда не мужчины?) и не терпит несправедливости. Такова история мамы, ее невидимая дыра в горле. Наверное, стоило ей сознаться, не допустить этой иллюзорной поездки и впустить тебя в мою жизнь как единственно допустимую пересадку, единственный реальный голос. Ее показная печаль и отъезд предвосхищают твой уход. Обе ваши истории проходят через меня как притоки. Они сольются, но ты остановишься до колыбели, мечети и безразличных взглядов спешащих на утреннюю молитву.

Мама Хадиджа не знает, что я ношу в своем чреве. Она редко уезжает накануне праздника, хотя мы всегда остаемся в стороне от Дня жертвоприношения. «Но теперь мне надо уехать ради важного дела», — повторяла она вчера. «Кля-

нусь, он сказал, что это вполне возможно. У них получилось в Америке, в Калифорнии. Если понадобится, продам дом и все оплачу!» Потом она замолчала и наблюдала, как слова проникают в мое сознание, околдовывают меня, перемалываются в голове. А знаешь? У меня есть неделя все обдумать, а у тебя неделя на то, чтобы найти причины для помилования. Несколько дней отсрочки. Вот и посмотрим, чья возьмет, моя любовь-убийца или твоя жизнь, ниспосланная с небес. На столе Хадиджа оставила записку: «Буду звонить каждый день, вернусь, самое крайнее, через неделю». Она полетела в Брюссель через Париж, прямых рейсов из Орана нет. Поехала договариваться с бельгийским отоларингологом. Неделями его умоляла, уламывала, уговаривала, чтобы он зашил мои голосовые связки и заделал дырку в гортани. Мама сражалась за то, чтобы я обрела голос в этом мире.

У истории с колыбелькой тысячи вариантов, тысячи версий. Иногда Хадиджа утверждает, что ее нашли на рассвете 5 июля 1962 года, а в другой раз уверяет, что под конец Рамадана, в сумерках. Времена года меняются в зависимости от ее настроения. По другим версиям, ее оставили на пороге какого-то дома в районе Касбы, старом

квартале Алжира, а местные жители поспешно передавали находку друг другу, пока колыбелька не оказалась на ступеньках той мечети. Эта давнишняя история еще не завершилась. Понимаешь, в тот день вся страна праздновала независимость Алжира. Радостные возгласы, разноцветье, стрельба, смех, слезы. Пока все выкрикивали «Да здравствует Алжир!», кто-то этим воспользовался. Мужчина (или женщина, одетая в хайк) подошел в сгущавшейся темноте то ли к двери самой известной мечети, то ли к порогу старого дома и оставил там колыбель. Что случилось потом? Мамины версии различаются. Иногда она уверяет, что имам читал проповедь, обличая плотские грехи, а она плакала на улице от голода: «Женщина нечистая или неверная не может воскреснуть в день Страшного суда в земном обличье, а лишь в образе свиньи». Не успев родиться, Хадиджа возразила ему воплем, но крики имама усилились, и колыбель стали передавать из рук в руки, унося на другую улицу, пока солнечные лучи не осветили соседям ту, что скандально вопила. По другой версии, корзину принесли в жилище имама, поспешившего оповестить полицию и социальные службы. Согласно третьему варианту, верующие простерлись ниц,

а один человек не молился, он переходил улицу, увидел колыбель и принес к себе. По этому сценарию, маму тихо, в тени Дня независимости удочерила пара врачей, работавших в больнице Мустафа-паши и возвращавшихся из командировки в Эль-Баяд, что на юго-западе от столицы. Мамины родители? Мне не довелось их увидеть. Они умерли молодыми, держась за руки, как запечатлены на увеличенной фотографии, стоящей у нас в гостиной. Хадиджа закончила учебу, освободилась, стала адвокатом. Из всех разных версий запомнилась одна подробность: когда ее подкинули, она могла во всю силу орать у главной двери мечети Кетшава; вопить от голода, выплеснуть дикие крики на праздничные алжирские улочки. А я не могу.

После последней неудачной операции надежда почти исчезла. Долго разговаривая по телефону с мамой, доктор снова терпеливо объяснил ей это, но слово «почти» превратилось для нее в искру, а потом и в пожар. Привыкшая защищать, Хадиджа отказывалась думать о неудаче. Она не соглашалась, что это конец и я буду жить дальше с единственной гласной во рту и знаменитой на всю округу «улыбкой». Хадиджа надеется, как и ты. Мы пытались, но всякий раз, когда я просы-

палась на больничной койке, мой внешний язык оставался самим по себе. Париж моей памяти — это кровать с пятнами крови, невозможность кричать. И когда я приходила в сознание после тщетной операции, Хадиджа падала в обморок, словно в мгновенье из нее выпали все кости, и сразу же прибегали медсестры. После каждой попытки моя история начиналась заново.

Продавец рыбы два часа кряду орет: «Сардины по пятьсот!», «Сардины прямиком из Газауэта!». И вместе с ним занимается новый день. Ты слышишь? Оживают городские кварталы, доносятся голоса с террасы кафе «Мархаба», что прямо напротив дома.

Так вот, вчера, когда она заверяла меня, что хирург замечательный, вместо того чтобы издавать невозможные крики, я хлопнула дверью своей комнаты. У Хадиджи осталась обманчивая надежда, а у меня — мой секрет. Когда мы ссорились в прошлый раз (из-за моей парикмахерской и, по мнению мамы, провокационного названия «Шахерезада»), нас своим нелепым воплем прервал тот же продавец сардин, сам не ведая того. Она плакала, словно вновь попав в свою первородную колыбель, я же кричала на мертвом языке искалеченной глоткой, а продавец перекрывал

нас обеих. Его противный голос звучал все громче под нашими окнами, он кричал за меня, у него имелось то, чем я не обладала: «Сардины, вкусные сардины!» Мои губы шевелились, словно я попала в фильм с плохим дубляжом.

В этот час Хадиджа наверняка в самолете. Судя по всему, хнычет, заламывает руки, выжимая из них жизнь. Да, она обожает жертвоприношения, как другие любят молиться. У каждого есть свои слабости. У меня какая? Разговаривать с тобой, хотя мне надлежит тебя убить. Распахиваю окно; по-моему, ты имеешь право на крупицы света в своей пещере. Моря толком не видно, его заслоняет кафе «Мархаба» и крытая автобусная остановка «Лицей полковника Лотфи». В этом лицее я проучилась все годы; меня тошнило от цифр, и прежде всего от дат национально-освободительной войны. Это совсем иная война, нежели та, о которой говорят каллиграфические шрамы на моей коже. Орану свойственно забывать, а не вспоминать. Здесь ничего не осталось от войны, что несколько лет назад вели убийцы во имя Всевышнего. Кроме меня и моей длинной истории, она закручивается и раскручивается вокруг тебя как питательная пуповина. Вот почему, когда люди встречаются со мной в вестибюле дома, они

так нервничают. Может, подозревают, что через дыру в моем горле на них глядят сотни тысяч погибших во время алжирской гражданской войны.

Эй! Отсюда ты можешь услышать шум зернохранилища в порту. А если прислушаешься, то и блеяние скота, прибывшего на Страшный суд. Его можно различить даже утром сквозь тарахтение двигателей автобусов и крики. Атам, на горизонте, море. Если вглядеться в него хорошенько, море вольется в тебя, уж поверь! Молодые люди Орана, влекомые жаждой уехать в Европу, сравнивают линию горизонта с женщиной, не желающей раздвинуть ноги. Они следят за ней, выжидая подходящей погоды, чтобы раздеть ее догола. Но и она их убивает. Много утопленников прибивает к восточному берегу. С серой кожей и глазами, что рыбы съели, они снова превращаются в зародышей, исторгнутых из чрева.

Возвращайся в рай. Ты же оттуда явилась? Из места, о котором мечтают мужчины и ради которого они убивают друг друга. По словам имама соседней мечети, его аромат ощутим через семьдесят лет пути. Послушай, Гурия моя, что советует матерь-убийца! Возвращайся в шатер из полой жемчужины, как имам повторяет всем верным.

4

Позднее утро. Мне надо показать тебе, как поменять канюлю.

Если осторожно к ней прикоснуться, ты почувствуешь ее, но оттуда, где ты лежишь, вряд ли удастся различить мой аппарат для «ныряния». Может, на верху твоей вселенной тебе виден какой-то просвет. Есть окошечко? Это разрез после трахеотомии, за двадцать лет он зарубцевался. Зубов в «улыбке» нет, только швы, примерно пятнадцать, длинная гримаса, ужасающий шрам. Через эту полость я вдыхаю воздух для нас обеих и призываю на помощь, когда снится кошмар. Я кричу, но слова получаются такими нелепыми, поскольку выдох отчасти идет через гортань, а отчасти как свист через разрез, странный рот без губ. И единственным предполагаемым языком будешь владеть ты, если останешься жить. Нет, неправда. Эту дыру мне проделали, чтобы я дышала, когда меня спасли 1 января 2000 года. Потом предпринималось немало попыток закрыть эту впадину, заделать ее, расширить, вложить в нее связки и голос, восстановить, но она так и осталась молчащей, ну или почти безмолвной.

Мало-помалу «улыбка» превратила мое лицо в подобие иллюминатора, а тело — в скафандр для погружения в воздух и солнце. Я дышу через эту канюлю, глотаю же ртом, он чуть выше. Канюля — белый холодный, вставленный плотно фрагмент моей жизни. Не из плоти, из пластика. У меня она с пяти лет, сразу после моего чудесного рождения, возвращения в мир живых, она — часть меня. В первый же год, когда «улыбка» зарубцевалась, обезвоженный пищевод медленно стал увлажняться. Тогда в меня ввели трубку, и по ней я смогла подняться на поверхность жизни и вдохнуть, словно спасенная утопающая.

Выпей со мной кофе. Потом я покурю, а ты приоткроешь окно в свой рай и впустишь мускус. Курить вредно, но какая разница, если тебе все равно не жить? Да я и не просила тебя появляться. Ты проникла в меня без предупреждения, пробралась в живот, голову и язык.

В моем детстве мама Хадиджа, объясняя мне, почему я так выгляжу, рассказывала, что я русалка. Перевернутая русалка: человеческая половина внизу: ступни, ноги, бедра, женские половые органы, небольшая грудь. А сверху все как у рыбы: чешуя, большие глаза навыкате, как у бедняка, увидевшего золото, и никчемный

рот, открытый в пустом аквариуме этой страны. Каждый раз, когда мне приходится вынимать канюлю, чтобы ее почистить или заменить, нужно сначала продезинфицировать руки, а потом на время процедуры задержать дыхание. Не кашлять и не задыхаться. После неудачных операций к предыдущей канюле прилагалась большая шарообразная манжета, которую надо было сдувать после очистки. Чувствуешь запах? Надо быть осторожной. Что дальше? Повязка и перчатки выкидываются. Как часто ее нужно менять? Раз в неделю. Я это делаю во время пятничной молитвы, когда имам завывает во славу Всевышнего. Думаю, я специально выбрала этот священный момент, чтобы посмеяться над судьбой и чем-то заняться в свободное время. Надо все промыть в мыльной воде и вставить обратно, надев снова перчатки. И рыбка начинает дышать с головою в воде, я окунаюсь в свой прекрасный и мощный внутренний язык, в котором тысячи страниц.

Понимаешь, сначала было тяжело: ощущать в горле камень и показывать эту идиотскую «улыбку». Люди, когда видят меня впервые, сразу проваливаются в дыру моего горла. Немногие вылезли из моего горла живыми. Среди них мама, Суад, учительница начальной школы, твой

отец, а еще продавец из табачной лавки там, на светофоре улицы Ларби Бен Мхиди (это мученик первой алжирской войны), и Абду, судмедэксперт, мамин друг. А еще несколько подружек, бывших одноклассниц, десять, максимум двенадцать. Они оступились и упали в мой разрез, их поглотила яма посреди гортани, они все оттуда выбрались: одни выкарабкались, сотрясаясь от рыданий, другие клялись в верности, третьи целовали меня, стараясь не задушить. Знаешь, как целоваться, если у тебя канюля и ты дышишь через дыру в горле? Как и все остальные. Даже можно целоваться много часов подряд, не переводя дыхание, пока твой партнер не начнет задыхаться. Целоваться с русалкой опасно. Мне пришлось всему научиться, моя Гурия: не целоваться, а дышать через канюлю, одновременно дышать и произносить первые слова после моего спасения, справляться с дыханием, чтобы оно меня не убило, плавать. Нельзя есть без разбору. Только супы (я их терпеть не могу), питательные смеси, измельченное, порубленное, натертое, мелко нарезанное… Мама все перемешивала, а я глотала. Это как воробья покормить. Из-за этой массы еды без вкуса и аромата для меня все едино: мясо, зелень, хлеб, галька, шторные ткани

и пирожные, духи, облака, ковры и десерты, африканские маски на стене в гостиной. Я пожираю все, кроме камня, безмолвного прежнего мира, Всевышнего, молящих взоров и баранов. Они не растворяются, как мучные комочки в холодном супе. Пойдем, я покажу тебе эту красную мокрую щель в другом зеркале, том, что в гостиной, его я не разбила. Дабы белая канюля не упала с шеи, ее удерживает пластиковое кольцо, и кажется, будто меня только что прооперировали и заново прикрепили к туловищу. Таков единственный выход, в противном случае мне крышка. Врачи установили это приспособление, но белое неизбежно становится красным от крови, а слова застревают в гортани. Когда мне его вставили первый раз, я кричала и задыхалась от паники, а они лишь улыбались, довольные. Крик означал, что я жива, но с дыханием были проблемы. В этот момент языки — внешний, хриплый и неразборчивый, и внутренний, бархатистый, богатый, — разделились, подобно реке, на два потока. Там, где ты свернулась клубочком, — поток. В другой стороне — это болото, где барахтается Дональд Дак. Почему, горошинка, это случилось со мной? Прислушайся, как блеют бараны по всему городу: они уже по местам. Их связывают

на балконах многоэтажек или прямо на кухне. Их пожирают, чтобы не поглотить своих же детей, их приносят в жертву, и тогда Всевышний закрывает глаза на все остальное, а остальные не замечают Его. У баранов нет канюлей, приемной матери тоже нет, как и второго шанса.

Маленькая моя Гурия, и что ты будешь делать с такой матерью в стране, которой мы, женщины, не нужны, только для ночей? Я расскажу тебе все, что смогу, но в какой-то миг придется остановиться. Я — книга, конец которой совпадает с твоим.

5

Здравствуйте, со мной произошло то же самое, помогите, пжлст… я тоже в Алжире, в *** мне 43 года… я в отчаянии, не знаю, что делать… я только хотела бы знать, где можно сделать безопасный аборт, в какой частной клинике… пжлст помогите мне

Здравствуйте!

Ну вот, я залетела, хочу прервать беременность таблетками, где можно их достать, я из Алжира, это незаконно спасиибо

Здравствуйте!

Я на 4–5 неделе беременности, сдала кровь, подтвердилось. Пжлст мне надо как можно скорее сделать аборт.

Подскажите адреса врачей и как это сделать скорее. Спасибо

Здравствуйте!

Моя кузина живет в Алжире, она на

третьем месяце и в отчаянии!!! Не подскажете координаты гинеколога, который, в принципе, мог бы устроить аборт? С уважением

Здравствуйте!
Мне срочно нужен аборт мой отец экстримист если узнает мне конец помогите пжлст проверилась на кровь и мочу я точно беременая пжлст пжлст пжлст помогите

Пока ты спала, обхватив ручкой свой канат жизни, я читала всю ночь. Таблетка дорого стоит, но ее можно найти, да.

Неспособность принять решение меня расстраивает. Мне хочется воплотиться в тебе, чтобы меня убили. А еще хочется выпить и покурить. В доме нет ни души. Слышишь, какой беспорядок в моей голове? Не люблю опустевшие дома. Вот список того, что я не люблю, мама знает его наизусть: ненавижу большие чемоданы под кроватью; когда передвигают мебель с места на место; мамино выражение лица, когда она умоляет меня поесть; заскорузлые угрызения совести; ее потерянный взгляд, отказ принимать

чудовище, живущее во мне, какое оно есть, ясно видеть его. Детей ненавижу. Их всезнающие глаза различают самое сокровенное в нас, они смеются искренне, подобно первобытным существам, к тому же глупы и, что самое мерзкое, рассматривают меня как героя из фильма ужасов. Они не подыскивают слова, чтобы скрыть леденящий страх при виде моей «улыбки». Что еще? Не люблю прощаться, не выношу, когда до меня дотрагиваются, обнимают или ласкают. Ненавижу слова любовного лексикона, хотя именно их и не хватает во внешнем языке, это дыра, отверстие в горле, языковая утрата. Полагаю, любовь то, чего нам всегда недостает, мы никогда не встретим ее в жизни, моя маленькая Гурия. Ты чувствуешь, мое сердце сжимается и я повторяюсь? Так мне продолжать? Не люблю клятвы верности и праздники, где положено петь, а я там молчу. А что мне остается? Немного. Люблю надо всем потешаться, опережая других, пока не вспоминаю, как выгляжу в реальности. А также сидеть у окна и следить за настроением моря на севере Орана, смотреть фильмы, пропитываясь воспоминаниями других людей и их придуманными жизнями, долго спать, путать день с ночью, бесконечно считать про себя с открытыми глазами, работать

в своей парикмахерской, но без фанатизма, ни от кого не зависеть, носить мужские брюки, ухаживать за своими волосами и за волосами других женщин, за их телом, кожей, веками, следить за цветом лица.

Выгляни в окно: на улице припаркована маленькая «божья коровка», это моя видавшая виды машина. Она пропахла табаком и присутствием одинокой свободной женщины. Охранник на стоянке со мной заговаривает редко; из-за песен, которые я слушаю, пачек сигарет под лобовым стеклом, моей заносчивости незамужней женщины, которая не боится мужчин. У меня есть деньги, я вложила их в квартиру на востоке Орана, ключи я получу через год, да, и войду в рай Аллаха. А пока она строится, бессонными ночами я мысленно ее обустраиваю.

Бессонница. Три таблетки. Вот они.

Я их купила несколько дней назад.

Пришлось проделать долгий путь, искать аптеку на западе города, почти на выезде из него. Я протянула рецепт, что-то прошептала, аптекарь на меня даже не взглянул.

Я спрятала их в ящик, три волшебных зернышка, пересчитала. Смотрю на них как на толстых синих жуков, жужжащих в моей голове.

Три таблетки для аборта. Твержу себе это снова и снова, но смысл остается туманным и отдаленным.

Что мы чувствуем, когда делаем аборт?

Три таблетки, и я спасу целую жизнь от целой жизни.

Стакан воды — и ты освободишься, сможешь вернуться и сядешь на берегу любой из рек, где течет мед, вино или молоко, о которых Коран говорит. Для тебя откроется Фирдаус, ал-Джанна, Эр-Рияд, Эдем (названия рая на внешнем языке), а я останусь, где и была, стану на месте кружить одна-одинешенька, и некому более мне поведать свою историю. С тобой я сопротивляюсь тому, чтобы меня стерли, как происходит с такими, как я, в этой стране. Немногие помнят о гражданской войне девяностых годов, а я живой свидетель того, что та война произошла и оказалась кровавой. Говорю же, последний свидетель.

Теперь ты понимаешь, почему я застряла между стремлением убить тебя и желанием с тобой говорить бесконечно?

Видишь ли ты, как я мечусь между тем, чтобы уйти в тень, и намерением восстановить стертое? Каждый день моей истории жертвы террора, каждый ее миг; все факты, один за другим; отпечатки;

имена убийц и их прозвища, взятые из эпохи Пророка; их звания и операции; их речи и оправдания, когда они покаялись и сложили оружие несколько лет назад. Обо всем можно поведать за несколько дней, если я вновь обрету голос. Возможно, саму эту войну, от которой ничего не осталось, начнут изучать, признают, а также проявят уважение к погибшим и скорби по ним, по примеру с другой войной, против Франции.

Ты видишь, что я пытаюсь тебе показать в темноте живота при свете от канюли? Все готово, чтобы тебя убить: три таблетки, обезболивающее, выбрана дата и придумана причина. Я подготовила Хадиджу к мысли, что на праздник жертвоприношения никуда не пойду; она, конечно, понимает, почему я избегаю вида бараньей крови, хохота сытых людей и долгих проповедей имамов. Хадидже это понятно с тех пор, как она вернула меня в этот мир, с моих пяти лет. Мы никогда не режем барана, и даже соседи по лестничной клетке стесняются делать такое под нашими окнами; они отворачиваются, отводят глаза либо машут мне и возобновляют беседу как бы украдкой. Все стараются забыть день Ид аль-Адха.

Я все говорю с тобой и говорю, нет бы мне умолкнуть, сесть в свою маленькую машину и поехать проверить, как дела в парикмахерской, с мыслями собраться. Да, у меня парикмахерская, модная, помогающая мне жить. Она закрылась на три дня, потому что обе сотрудницы уехали к себе домой. Всю неделю, пока длится Ид аль-Адха, женщины не делают прически и уходом за собой не занимаются. Им надлежит возиться на кухне, заниматься мясом, жиром и внутренностями зарезанных животных. Так что клиентов не будет. А раз уж никто не придет, то отпускаю и девушек; меня они недолюбливают, но все же я им нравлюсь, они вторят мне, молчат в моем присутствии. Это вызывает у меня искреннюю улыбку, вовсе не ту, что на шее, сковывающую, как колючая проволока, тех, кто меня видит. Она вроде длинной каллиграфической подписи негодяя, не успевшего меня прикончить. Безумный смех пророка, который хотел зарезать сына. Я говорю с тобой под прекрасным небом Орана и продлеваю твое время, хотя надо было бы заткнуться и наконец отрезать тебе голову. Тремя таблетками, холодными щипцами, запретными микстурами, ударами в живот, прыжками на негнущихся ногах, употреблением какой-нибудь

кислоты, намеренным падением с лестницы, разжевыванием ядовитых трав. Не приходи сюда, в эту страну, пожалуйста!

Уходи.

Есть только одно: если я заставлю тебя замолчать, сделаю так, что все смолкнет у меня в голове, как и этот красивый голос, которого никогда не было или который звучал лишь до моего второго рождения. В моей памяти почти не запечатлелись те годы на нашей ферме в Хад-Шекале, когда я могла кричать, вслух считать, дуться, нюхать дождик, надкусывать лимон с кожурой, находить сестру на ощупь по запаху ее смуглой кожи. Помню смутно, как она прикрывает глаза, считает, дает мне время отыскать укромное место, чтобы спрятаться за баранами или в высокой траве, колеблемой от ветра. Знаешь, это воспоминания о далеком прошлом. Надо нырнуть поглубже, зажав зубами мою канюлю, и тогда всплывут обрывки минувшего.

Чего ты хочешь? Явиться и стать мертвой плотью? Слышишь мужчин на улице, которые сидят в кафе? Их Господь советует им омыться после того, как они обнимали наши запретные тела при свете дня. Это называется полным омовением, поскольку мы сплошная мерзость. Чего ты хочешь?

Все женщины такие же, как я, даже если у них нет дырки в горле, дурацкой улыбки на лице и языка, сдавленного в агонии. Вот что значит быть здесь женщиной. Ты действительно этого хочешь?

Мы выходим.

Сейчас посмотрим на мой салон, покажу тебе мир, непохожий на рай, откуда ты пришла, а потом я приму три таблетки. Хочу тебе показать, что от моей истории ничего не осталось. Они уничтожили все законами, нахмуренными бровями, угрозами посадить в тюрьму. В Алжире никто не помнит или не осмеливается вспоминать тот день, когда меня попытались зарезать.

6

Тебе не видно, но слева от меня набережная, где вдоль неприглядных домов прогуливаются люди. Поодаль высятся деревья, привезенные из других мест, — пальмы, ты наверняка их видела в своем раю. Они стоят с незапамятных времен и непонятно кого ждут. Здесь, особенно по утрам, до первой молитвы молча сидят бездомные и одинокие. Они устали говорить на внешнем языке, вот и приходят сюда в ожидании, пока в голове не заговорит море. За мной гора Мурджаджо. Я еду медленно, чтобы ты могла воспроизвести детали с закрытыми глазами. На вершине горы высится испанский форт серого цвета, с заброшенной часовней, а еще выше построена мечеть, чтобы господствовать над церковью, — так однажды сказала Хадиджа с презрительной улыбкой. Два-три раза я ездила туда с ней, но мне не нравится горный серпантин, от которого выворачивает желудок. Там одиноко застыла Дева Мария, христиане поставили ее на вершине примерно два столетия назад во время эпидемии холеры. Кто такая Дева? Не зависай над чужими теориями. Здесь у каждого спрятана частичка Бога в кармане. У подножия горы рас-

кинулся Зеленый сад. Он носит имя певца рай, убитого во время войны девяностых годов, моей войны. Это единственный, кто удостоился такой чести, и непонятно, за что именно. Еду на восток, ускоряюсь. Дорога ведет к красивым виллам квартала Канастель, по направлению к другой возвышенности, к Львиной горе. Обожаю эту дорогу, даже если придурок впереди еле тащится и показывает непристойные жесты. Море следует за нами слева, прячется, показывается; не верти головой, увидишь. Если ты появишься на свет, с тобой захочет поиграть много кто: луна, солнце, море, которое виднеется, собаки и, возможно, лошадки. Тебе наверняка они понравятся. Я часто ими любуюсь на ипподроме Эс-Сения, к западу от города. Куда мы едем? Сначала проверим, не сломал ли кто жалюзи в парикмахерской. Соседка, которая продает никабы добродетельным женщинам, меня ненавидит и, если салон ограбят, не станет звать на помощь, чтобы поймали воров. Впрочем, имам с ней заодно, равно как и вся округа, но ко мне они не приближаются из-за моей чудовищной «улыбки» и огромных глаз, в которых им не нравится видеть свое отражение.

Парикмахерская — это моя жизнь, моя редкая монета.

Здесь я зарабатываю деньги, независимость и особое право распускать волосы, не закрывать плечи, курить и пить вино. Доход небольшой, но позволяет держаться на расстоянии ото всех. Ты знаешь, моя жемчужинка, государство платит гроши выжившим жертвам гражданской войны, вроде меня, и куда больше семьям палачей. Мне пришлось отказаться от пенсии, чтобы стать владелицей парикмахерской. Так постановило государство: либо пенсия, либо возможность выкупить коммерческое помещение. Я решила вложиться. Парикмахерская называется «Шахерезада», розовые светящиеся буквы горят над входом. Там же вывешены фотографии женщин с мясистыми губами, роскошным телом и такими же прекрасными и пугающими глазами, как у меня. Клиентки мечтают стать похожими на них, а мужчины верят, что встретят таких в раю. Сначала я думала назвать салон «Римитти», в честь уже умершей певицы рай, под ее песни женщины до сих пор танцуют. «Это уже чересчур!» — заорала встревоженная Хадиджа; нельзя, чтобы парикмахерская называлась по имени исполнительницы рай. Когда мама волнуется, ее взгляд напоминает тот, каким она смотрела на мое тельце в машине скорой помощи, и я мысленно возвращаюсь в

ночь 31 декабря 1999 года. В этой стране, если ты женщина, надо вести себя осторожно. Мы по-прежнему рабыни, освободившиеся совсем недавно. Все может вернуться назад, увидят голую ногу — и все пропало; слишком короткое цветастое платье — и твоя жизнь в опасности. Скоро приедем, моя Гурия, еще немного. Воздух раскален, тяжело дышать. Здесь моя сестра запускала воздушного змея, сделанного из тростника и бумажного пакета.

Да, у меня была сестра.

Была и есть, но в памяти остались лишь обрывки. Давняя история. Никогда ее не рассказываю, даже на внутреннем языке. Почему? Во-первых, потому что мама ее знает и держит при себе, не позволяя ей выплыть на поверхность. Как только Хадиджа чувствует, что эти воспоминания приближаются, то опасается худшего. А во-вторых, всякий раз, как я пытаюсь припомнить сестру, мне нужно замереть надолго, чтобы ее следы проступили и образы прояснились — колосья, суровые зимы, нож, спина отца, облако в форме лошадки. И позже, с наступлением ночи, когда пора засыпать, терзаешься незнанием того, что делать с воспоминаниями. Может, в раю ты с ней увидишься. Ты узнаешь ее по манере смеяться,

щурить глаза, когда она представляет не ферму, а совсем другой мир; она разламывает его пополам, словно краюшку хлеба, и делится им со мной. У нее уже давно нет имени. Одно воспоминание ко мне возвращается: мы собираем маки; гоняемся друг за дружкой и кривляемся; колоски цепляются за платье, небо радостно пылает вместе с нами. Какой же красивый этот внутренний язык, освещающий укромные уголки памяти. В ясную погоду мы следили за гигантскими лошадками в облаках, пляшущих над нашей фермой в Хад-Шекале. На земле, у подножия горы эти животные, взбирающиеся по крутому склону, казались меньше. При чем здесь лошадки? Прежде чем мама лишилась рассудка, она их любила и часто рассказывала эту историю. Мама из другой жизни, еще до того, как я родилась заново.

Едем дальше? Смотри, мы в Скалистом саду. По утрам там никого нет. Я часто туда приезжаю, чтобы ощутить, как ветер омывает меня. Это единственное место, где можно зажмуриться и не попасться на глаза моей сестре.

Ты видишь на набережной большое здание рядом с другими постройками? Они принадлежит «Эйр Алжери», там располагаются офисы этой авиакомпании. Его возвели раньше всех, и

считается, что оттуда лучший вид на море. Там и взорвались бомбы в 1996-м. Или в 1995-м. Даже мама уже не знает точную дату. Она уверяет, что все правда было, случилось утром, но никто ничего не помнит. Они (подражатели Ибрахима, пророка, чуть не зарезавшего сына) спрятали первую, не такую мощную бомбу под скамейкой, и она рванула утром в час пик. Люди побежали, а потом, когда словно из любопытства разглядывают труп убитого на почве страсти, начали подходить к воронке на асфальте. Наклонялись, чтобы лучше рассмотреть, толкались, принялись выдвигать разные предположения. Здесь и произошла бойня. Разорвалась вторая бомба, спрятанная под другой скамейкой. Рассказывая об этом, мама шмыгает носом, на минуту замолкает для большей достоверности воспоминаний и завершает: «Это была ловушка, чудовищный способ убить как можно больше народу». И никаких следов.

7

Если бы у тебя были глаза, я показала бы место, где недавно побывала ради тебя. Видишь вон то большое здание? Это «Ле Панорамик». За ним подземная парковка и улочка, ведущая к бульвару Старой Мечети. Это ничего тебе не говорит, но попробуй представить разрушенные постройки, изъеденные камни, дешевую облицовку, улицы, утром воняющие отбросами, а вечером пахнущие морем. Там находится кабинет гинеколога, согласившегося меня осмотреть. Уверяю тебя, я сделала все, чтобы мама ни о чем не догадалась. Кстати, врач не спросил ни имя, ни фамилию. К нему обращаются, когда живот сжимается от стыда и надо, чтобы тебя никто не узнал. Хадиджа рассказывала мне о нем несколько лет назад, сплетники окружили его пеленой тайн. По ее словам, он выдающийся гинеколог, пьяница, музыкант, коммунист с черными вьющимися волосами, с репутацией обольстителя. Никто не понимал резких перемен в нем. Однажды пять лет назад он решил покаяться и обратиться к Богу. Вооруженные исламисты потерпели поражение, те из них, кто остался в живых, вышли из

подполья, и все решили, что они вразумились, но ошиблись.

Повсюду строились мечети, проповедники появлялись тут и там, и их странное дело лишь разрасталось после разгрома. Женщин в никабах стало больше, чаще стали встречаться мужчины с мозолями на лбу от молитв. И гинеколог в брюках клеш и с позолоченной пряжкой на ремне превратился в бородатого мужика с тюрбаном на голове, усердно посещавшего мечети. По словам матери, перед ним очень скоро встала проблема выбора, поскольку он был гинекологом. По роду занятий ему положено было принимать роды, погружать пальцы в женские утробы и выслушивать их тайны. И знаешь что? Он не ушел из профессии, поскольку она приносила большой доход. Неизвестно, как у него появилось такое решение, сначала над ним подтрунивали, но он умудрился сохранить и веру, и деньги.

В кабинете доктор поставил черную ширму, отгородившись от пациенток. Его жена пальпировала, производила инвазивный осмотр, залезала в промежности. А он давал рекомендации и советы. Клянусь! Жена осматривала и описывала ему внутренние органы, плотность тканей, выделения, болевые ощущения пациенток. Он же ставил

диагноз по другую сторону ширмы, подобно тайному божеству. По окончании аускультации выписывал рецепт, и помощница брала деньги за визит.

Мало-помалу врач преобразился в истинного пророка, удалился от праздной суеты и взглядов людских, являлся словно призрак, скупился на слова, стал легендой в нашем городе. Срок уже наступил на прошлой неделе, и я отправилась к нему.

Он прошептал: «Сколько недель?» Жена громко повторила вопрос. Я молчала. Напротив меня сидела жена Великого Гинеколога, которая краснела от усилия и покорности. Она ощупала мой живот, что-то приговаривая, обращаясь к мужу, подтвердила твое присутствие во мне, твое убежище внутри меня. У нее карие глаза, и на ней розовый никаб. Я легла на спину, готовясь раздвинуть ноги, с опаской посматривая на широкие подколенники-стремена. В комнате, наполненной приглушенным светом, разместились стол для осмотра и еще какие-то приборы. Самого доктора не было видно, голос раздавался из-за ширмы, отделяющей кабинет от остального пространства. Жена гинеколога подчеркнуто меня игнорировала и только вздрагивала при звуках

голоса мужа. Она была в белых перчатках и не выказывала ни улыбки, ни каких-либо эмоций. Я слышала, как она шепотом произносит тысячи молитв. Изо всех сил старается не привлекать к себе внимания, превратиться в тень и слиться с перчатками, очередным медицинским прибором. Интересно, чем делилась по вечерам эта безумная парочка? Вот уж странная история: жена, которая занимается тем, что рассказывает мужу о вагинах других женщин. Она пробормотала какой-то особенно бодрый аят, раздвинула мне бедра и засунула внутрь холодный инструмент. Я лежала, уперевшись ягодицами в край стола и приподняв ноги на подколенниках. Ты, наверное, отползла поглубже в свое убежище, чтобы спрятаться от ее прищуренных глаз. Пророк, скрытый за ширмой, как его жена за никабом, посидел в тишине, потом задал пару вопросов. «Отец имеется?» Я не шевельнула ни руками, ни губами. Возможно, покраснела от гнева. Он помолчал, на полном лице жены мелькнула тень; видимо, она укрепилась в своей священной вере, прикоснувшись к моему греху. Не поднимая глаз, прошептала еще один аят. Снова ощупала живот, изучила интимные места, поднялась к груди, прикинула на вес. Она намеренно не смотрела

на мое лицо, глаза, канюлю и отверстие в горле. Знаешь, в такие моменты чувствуешь себя как разделанная баранья туша: голова с ногами в отдельном тазу, грудная клетка распорота для любопытства детей, которые так и сыпят вопросами, шкура сушится во дворе на солнце, пока не задубеет, как заключенный в тюрьме.

«Менструация недавно была?» — спросил голос. Я махнула рукой. «Задержка?» Любая женщина этого боится. «Задержка» — застывшее тело, черные мысли, захватывающие душу, электрический разряд для приговоренной к смерти. «Задержка» — это когда от вас инстинктивно шарахаются другие женщины, словно испуганные звери. «Восемь недель». Она прошептала что-то пророку, и мы обе застыли в ожидании приговора, будто тот ниспустится с небес; одна под присмотром Всевышнего, другая — с проглоченной непереваренной горошинкой в животе. Полагаю, в тебе еще нет жизни. Пишут, что она начинается после третьего месяца. Ты была звездой, приплюснутой морем, камешком, который я пыталась найти под кожей живота глубокой ночью. Мне казалось, что смотровая пахнет плесенью и гнусными таинствами. На стене был растянут черный бархат, на котором золотыми

сверкающими буквами каллиграфически сияло имя Господа.

В этой религии у Бога, моя горошинка, девяносто девять имен. К этому надо прибавить имена всех встреченных мужчин, потому что они тоже Бог. Затем пророк произнес: «Если вы его оставляете, приходите через три недели. Если нет, положитесь на таблетки и милость Всевышнего».

Согласно здешним законам, это убийство, и за него карают, но пророк-гинеколог не признавал закона земного и не боялся его. Репутация человека набожного отпугивала от него доносчиков. Я почувствовала, как мне под кожу проникает кинжал и ищет тебя. Невольно возникла мысль, что мне собираются отрезать часть тела, проковырять еще большую дыру и проделать траншею. Я страшно разозлилась на врача, его жену, их спектакль и религиозные убеждения. Но куда мне с тобой бежать? И что с тобой делать?

Я расплатилась за прием и рецепт с названием трех таблеток. Они у меня в спальне, терпеливо ждут в коробочке, как старые колдуньи. Мне надлежало явиться вновь к пророку, после того как я исторгну твою плоть в туалет, и позволить его жене осмотреть меня. Надо было. Надо. Надо

будет. Чайки мечутся в воздухе и, смеясь, подлетают к прохожим. Море нагревается, теплый ветерок доносит из порта привычный гул. Он похож на шум крови, пульсирующей в ушах, и шум ночи, когда не можешь сомкнуть глаз.

8

Я прочитала это и перечитала. На всякий случай. «Лицо, осуществившее или имевшее намерение осуществить посредством продуктов питания, жидкостей, медикаментов, манипуляций, с применением силы и прочих средств аборт женщины беременной или заявившей о беременности, по ее согласию или без такового, будет подвергнуто наказанию в виде заключения под стражу на срок от года до пяти лет и взыскания штрафа от 500 до 10 000 динаров. В случае, если указанные действия повлекли за собой смерть, срок заключения составляет от 10 до 20 лет».

9

Я хочу уберечь тебя от рождения, чтобы ты избежала смерти, подстерегающей в любой момент. В этой стране нас любят немыми и голыми, когда мы доставляем удовольствие возбужденным мужикам. Я понимаю, что медлю с выводами, говорю с тобой, тяну время, только защищать тебя долго не получится; думаю, если рассказать тебе подлинную историю, может, ты поймешь. Ту, что прячется и является, когда по вечерам я закрываю глаза, и так происходит из года в год. Точная версия случившегося еще ускользает от внутреннего языка и перечеркивает внешний язык раскрашенных утят, говора канюли. Я взываю к языку без голосовых связок и десятка швов на шее, разрезавших мою жизнь от уха до уха. Поверишь ли ты в это? Стоит открыть глаза, как история исчезает, точно горы в тумане.

10

Остаться бы здесь, в заброшенном саду, и не шевелиться. Спрятаться от собственной истории. Но полагаю, покоясь бессловесно, наши истории становятся опасными. Пропасти подобны. Моя история проделала дыру в горле.

Звонок. Хадиджа. Наверное, она приземлилась в Париже, пересаживается и летит в Брюссель, серый город, где спрятаны мои голосовые связки. В ее сознании перезапускается история с колыбелью на рассвете 5 июля 1962 года. Когда она говорит со мной, я снова падаю в ее чрево, а ты — в мое. Почти как в сказках «Тысячи и одной ночи», только это ночи обмана.

«Алло? Мама? Я…»

Она говорит за двоих, за тысячу. А я — за полумесяц, за полудочку, за полмгновенье.

Ты слышишь? Мама говорит наигранно, слова катятся возмущенным потоком. Не смею ее прервать или вставить словечко. Только слушаю.

«Я в Париже, мой ангел. Представляешь, он не берет трубку! Он ведь великий хирург, пусть хотя бы мне объяснит. Секретарша? Не желаю более

выслушивать ее обещания назначить прием на другое время». Она делает паузу, поправляет боевые знамена и продолжает: «Мне твердят, якобы он вернется. Да, срочный вызов, говорит секретарша. Какие-то бесчеловечные, доченька. Я же оставила тебя одну!» — она повторяется, изображает всхлипывание, наверняка заламывает руки. Я свернулась калачиком у нее в утробе, она носит меня двадцать один год, обхаживает, запрещает отпускать пуповину, нас соединяющую, говорит со мной непрестанно. «Как приземлюсь, сразу возьму такси и поеду к нему. Ну вот, покидаю международную зону, перехожу в другой терминал. И если его там не будет, доченька, то… Ну да, я вернусь! Первым же рейсом. Наверное, ты права. А я ошибалась, моя принцесса, но это ради тебя, ради твоего голоса, я же знаю, он ведь прекрасный. А если не получится, будем жить дальше, моя девочка, будем жить дальше». Ее голос полон обещаниями, следом она многозначительно замолкает. А что касается голосовых связок? Я представляла их, моя Гурия, тысячами образов. Связки шнуров для колодца, гитарные струны, лески у рыбаков, канаты, что в цирке, связки жонглеров, трапеции у акробатов, веревки, которыми связывают баранов, тросы,

привязывающие лодки, морские канаты, веревки для повешенных… Если добавить слово «голосовые», они начинают вибрировать, волны бегут по воде, колеблются стены. Та, что нас связывает с Хадиджей, пересекает море и касается моего уха. Мама спрятала меня в свое чрево на другой день после расправы над моей семьей, забрав из больницы, что в Релизане. Я уютно свернулась в ее вселенной и слушаю, как она меня хвалит, сочиняет рассказы («Ты — редкая книга», «Твои глаза из рая, не повреди их!»), я питаюсь тем, что она для меня пережевывает.

Все так, только нас трое, одна в другой, как матрешка. Она непременно узнает. Если бельгийский хирург не назначит прием, она может вернуться быстрее.

Приедет в Оран раньше, чем ожидалось, Гурия-малютка. И ей станет плохо от встречи с тобой. Она, лунная девочка, лелеет свою мечту о моей свадьбе, воображает детали и даже ткань платья, хочет увидеть сказку, дворец, чтобы история завершилась в раю. Но это на внешнем языке. А на внутреннем кричит, что роскошной свадьбой она обязана покончить с проклятием женщин, потерявших отца и мать, как я, или никогда их не имевших, как она. Ей хочется историю со

свадьбой, отцом, матерью и ребенком, которого не подбросят ранним утром на порог мечети. Ей хочется исправить то, что Господь или случай сделал не так. Ты понимаешь, что будет, когда я заявлюсь с пузом. А ты без роду без племени, без имени отца, потому что тот ушел в море словно к любовнице? Нет, она вовсе не консервативна, не узколоба во взгляде на законы мужчин, просто для нее это давний и наболевший вопрос. Я должна расцвести снова, жить и быть счастливой за двоих. Вот такая история.

11

Попав в парикмахерскую, я закричала. Кто-то смеялся; все столпились вокруг меня и, думаю, даже сочувствовали. Не из-за того, во что превратили мой салон, а потому, что я походила на вытащенную из воды рыбу. И потому, что мой истошный рев ворвался в их мир без естественных звуков. Я исторгала еле слышные вопли, не соответствующие вытаращенным глазам и взмахам рук. В их звучащей вселенной я изображала кадры из немого кино. Вызвать полицию? Какая в том польза? Меня бы мурыжили часами, перенаправляя от одного офицера к другому, чтобы выслушать мою жалобу. Подсмеивались бы, спрашивали про разрезанное горло, про рану. Пришлось бы повторять слова и фразы, глотать их, словно камни. Я стояла под постерами с женщинами ослепительной красоты. Предпочла не реагировать. Жительницы дома напротив, высунувшись из окон, с любопытством меня рассматривали, насмехаясь или сочувствуя. Некоторые женщины мгновенно выбирают определенную сторону. Как они полагают, единственный способ выжить в тюрьме — стать охранницей. Чтоб уж

наверняка! Бога, то есть мужчин, в этой стране не победить, лунная моя девочка, у меня росло чувство, что они отомстят. Я осматривалась вокруг, вглядывалась в лица, отыскивая доказательства, следы, — безрезультатно. Попробовала поднять входные жалюзи. Их разбили, смяли, они не поддавались, совершенно бесполезные. Приподняв их наполовину, пролезла в разоренный салон. Грабители вспороли все три кресла, как коров в Хад-Шекале; на полу — разбитые раковины, открытые флаконы духов; зеркала залиты пеной шампуней. Сильный запах этой смеси раздавался по всей округе. Приборы для эпиляции, выпрямления волос и фены исчезли. А потом я увидела большой пакет, и, непонятно почему, на меня нахлынули воспоминания о былой моей войне. Вывешивая тогда на дверях мечетей списки тех, кого надо прикончить, им посылали чистый саван и душистое мыло. Для последнего предсмертного омовения. Этот мучительный алый кошмар ворвался снова в мою повседневную жизнь, и я вспомнила. В пакете лежал просторный черный хиджаб из дешевой ткани. А еще зеленый безучастный Коран с золотыми буквами. Часть моего сознания подсказывала мне, что Хадиджа не должна узнать о случившемся. Я

достала сигарету и закурила прямо на улице у парикмахерской напротив мечети, перед зеваками. Средь бела дня, а они на меня пялились. Запах табака медленно вплывал в их возмущенные ноздри. На мгновение у меня появилось желание разбить окна в мечети и громко выругаться, но как такое возможно без голоса, моя Гурия?

Подозревала ли я, что случится подобное? В глубине души — да. Я знала, нам грозит нож. Начавшаяся не так давно война между моей парикмахерской и мечетью напротив рано или поздно должна была так разрешиться. Напряжение между моей канюлей и громкоговорителем проповедника нарастало, и в округе стали об этом судачить.

Я прикинула ущерб от фальшивого ограбления. То, что не разбили, — украли: немного мелочи из кассы, самое дорогое оборудование и косметику. На полу валялся парик, который покрывал голову лысого манекена. Унесли кучу моих духов, оставили только один большой флакон с мускусом, любимым запахом бородачей Аллаха. На улице раздавался смех зевак, перекатывающийся от одного человека к другому, а потом он сменился высокопарными речами о Всевышнем и его знаменьях. Женщины из Сите, клиентки моего

салона, наблюдали за происходящим за закрытыми ставнями. Это злило, но, честно говоря, что они могли сделать? Они найдут другое место, чтобы подготовить себя к встрече с мужчинами. А я ведь ни мужчина и ни женщина, аномалия, от которой рано или поздно следовало избавиться. Дети то и дело пролезали под смятыми жалюзи и интересовались у меня, что произошло. В небе раздался громкий голос, время остановилось. Это был крик, молящий и надменный, обиженный и требовательный, словно кого-то бросили. Ни одна женщина не обладала такой силой голоса и правом повторить этот возглас в минарете. Прозвучал призыв к молитве в час дня. Все побежали, и улица опустела.

12

13:30

Клиенток не будет ни сегодня, ни завтра, ни на неделе. За несколько дней невозможно все отремонтировать. Перед днем Ид аль-Адха женщины не выходят из кухни, потрошат баранов, готовят их, сдабривают специями в ожидании довольного бурчания самцов. Раньше я украшала свой салон, развешивала на стенах фотографии островов и женщин с золотистыми глазами, мне нравилось слушать разговоры, свободные от присутствия мужчин. Сегодня не нужно расчесывать волосы, удлинять ресницы, выщипывать брови, делать лобок шелковистым в угоду мужчинам, чтобы они воображали нас девственницами, не надо разглаживать кожу, убирать черные точки, закрашивать седые корни специально выписанными из Парижа оттеночными средствами. Ничего не надо делать. Скоро праздник, обе мои помощницы уехали домой, и так называемые грабители зашли сюда, чтобы оставить недвусмысленное послание.

Ты могла бы увидеться с моей помощницей

Хананой, если бы мы пришли неделю назад. Она почти не разговаривает, но ее внутренний язык проявляется в оттенках ее волос. Криком кричит ее вытравленная шевелюра. Каждую неделю она подкрашивает ее ярко-желтым яростным блондом, чтобы отомстить за прежнюю жизнь. Понимаешь, она одновременно несчастная и сильная, я взяла ее на работу прошлым летом, потому что у нее есть машина и она может выезжать по срочным заявкам. Когда Ханана за рулем, она тоже неразговорчива. Здесь собираются ее постоянные клиентки. Те, кто болтает без умолку, предпочитают ходить к ней, а не к другой сотруднице. Не думаю, что ей интересны эти бесконечные истории, но она никогда не перебивает. Машина досталась ей в наследство от мужа, умершего пять лет назад: у нее старый автомобиль и тишина, свившая гнездо в ее душе. Как только она стала вдовой, живя в городе Шлефе, пятеро братьев закутали ее с ног до головы, велели закрыть лицо и строго следили за ее жестами, движениями, взглядами. Ей не позволялось подойти к окну, повысить голос дома, иметь телефон или подруг. Только воображаемую птичку. И Коран. «Разведенная? Вдова? Все равно что бомба замедленного действия», — говорили

мужчины о матери, сестрах или вернувшихся домой девушках, которых мужья выкидывали, как грязную салфетку после еды. За бедной Хананой следили, как за фитилем от динамитной шашки или за трещиной в стене. На кону стояла их честь, а не ее жизнь. Они стерегли сестру по очереди и, возможно, все впятером мечтали о ее внезапной смерти. Наконец братство выдало ее замуж за мужчину из квартала Бельгаид в Оране, за триста сорок пять километров от дома. Оно надеялось, что ее историю забудут и та постепенно сотрется из разговоров. Отправив сестру подальше, они в известном смысле ее похоронили, чтобы она забыла собственное имя и дорогу назад. После смерти мужа Ханана родила сына, но братья заставили отдать его бабушке. Постепенно она теряла дар речи, как будто мысленно расставалась с ней. Первого ребенка она отдала, но от нового мужа, отбиравшего у нее зарплату и тоже следившего за ней, родила второго, а потом и третьего. Я часто видела ее мужа здесь в Сите. Он стоял на углу улицы, где располагался мой салон. Крысиными глазками шпионил за входом, с ненавистью что-то бормоча себе под нос.

Ханану жалко. Она разбивает мое сердце, но его просто так не остановить, в какой-то момент оно

становится камнем и перестает сочувствовать. Когда однажды летом она пришла наниматься на работу, я согласилась по двум причинам: как я уже тебе сказала, она водит машину, и у нее очень ухоженные волосы, ими явно занимается знающая женщина. Она у меня работает, я ей плачу, но не расспрашиваю. Похоже, она развивает свой внутренний язык, и он изящнее и богаче, чем у тех, кто болтает, пока она их причесывает. Муж следит за ней, как сутенер. Торчит на углу днями напролет, если не занят сбором пластиковых бутылок для перепродажи; но Ханана уже много лет пребывает где-то в своем мире. В конце дня он появляется из-за угла, приближается. Подходит, топчется неподалеку, бочком, как ворона. А первого числа каждого месяца я обнаруживаю его на пороге парикмахерской под вывеской, как ни в чем не бывало он ждет жену, вернее ее зарплату.

Кто вторая из сотрудниц? Ее зовут Мериам. Расскажу тебе и о ней. А может, море сделает это лучше. Дважды она пыталась покинуть страну на лодке и доплыть до Испании как нелегалка. И оба раза ее задерживала береговая охрана. Ее бросили в исправительную тюрьму в Джиджеле, но через некоторое время отпустили на волю. В третий раз ее нашли в трюме торгового судна, перево-

зившего муку, в порту Орана. Она пробралась на корабль ночью, затерялась в его коридорах и жила три дня в темноте. Когда ее обнаружили, она была белая, как привидение, и умирала от жажды, словно увядший цветок. Три дня питалась мукой и в поисках воды облизывала холодные металлические трубы. Она рассказывает это раз за разом, клиентки хохочут, они обожают историю с обсыпанным мукой призраком, напугавшим матросов. Мериам забавная, но хитрая; думаю, в глубине души ей грезится только одна перспектива — добраться до моря, выждать затишья и уплыть. Она тоже уже несколько лет считает себя мертвой, после последнего неудачного побега.

Я вытянулась в одном из уцелевших кресел; чувствуешь, как мой живот расслабился? Мои руки нащупывают твой бугорок жизни, твою дюну из плоти. Пытаюсь успокоиться. Меня колотит от гнева. Каждый раз, когда подстерегает опасность или что-то случается, я будто снова переживаю день убийства моей семьи. Точно тот миг, когда меня зарезал террорист, должен повториться. Все связано с этим роковым днем, а он связан с пустотой. Он плохо запечатлелся в моей памяти, и я набила о нем татуировки, чтобы он не потерялся в тумане.

Посмотри на рисунки на моем стройном теле. Под ключицей — причудливая звезда. Ханана делает татуировки некоторым клиенткам, и мне сделала. Думаю, когда образы нечеткие, и решаешься нанести тату. Если я сплю на правом боку, звезду видно лучше. Она первое из воспоминаний о моей прошлой жизни. Сестра протягивает мне стакан с водой, где отражается звездочка, и уверяет, будто поймала ее. Мне пять лет. Родители спят, в дальнем загоне на ферме шебуршатся бараны. Сестра смеется, я громко хохочу, подражая ей во всем. Глупо, но поэтому я и повесила звезду на шею.

А вот нарисованный ручей. Три волнистых линии между грудей. Ниже, на животе, перекрещиваются два пшеничных колоска. Ты лежишь посередине, считая отмеренные тебе часы. Мужчин часто удивляют мои татуировки, они задают вопросы, и мне приходится сочинять: колосья — это чрево и щедрость. Колосья — урожай. Что такое колосья? Всего-навсего колосья. Когда любовники доходят до этого пшеничного поля, они стонут и уже не способны выслушивать мои разъяснения. С закрытыми глазами они желают дотронуться до нарисованной лошадки. Такой небольшой, над волосами лобка. Лошадка, девоч-

ка моя, это второе воспоминание о моей жизни с сестрой. Где-то в Уарсенисе, поблизости от нашей умершей деревни Хад-Шекала (на внешнем языке Эль-Джиха-эль-Мейта), она скачет по полям Мертвого края. Мама рассказывала, что в детстве у нее была лошадь. Она лишилась ее, когда братья разделили отцовское наследство. Лошадь у нее забрали, но взамен выделили участок по соседству с нашей фермой, каменистый, бесплодный. В безумии мать мерила его шагами, проклиная братьев в непонятном заунывном напеве. В нашем краю, согласно законам Всевышнего, женщина имеет право на половину наследства мужчины. По неведомой причине мне нравится воображать эту лошадь. Твой отец любил часто гладить эту татуировку, уткнувшись лицом в мой живот, и мечтал, как он переплывет море и высадится в Испании. После моего рассказа он смеялся как ребенок, обнажая желтые зубы. Если бы ты родилась, тебе мог бы понадобиться отец, но не волнуйся, это не твой случай.

Продолжим двигаться вниз по моему телу. В паху проступает изображение двух рыб, то ли сардин, то ли дельфинов, татуировщица нарисовала приблизительно. По одной рыбке на верху каждого бедра, там, где нежная кожа. Третье вос-

поминание о ферме в Мертвом крае: в тот день отец принес нам сардин из нижней деревни. В горах Уарсениса рыбы нет. Мы с сестрой страшно обрадовались, решили, что они еще живы, потому что солнце играло на голубой чешуе. Десяток сардин, завернутых в газету. Они сверкали, их рты были открыты. Сейчас воспоминание о родных местах расколото во мне на тысячу фрагментов. Я подбираю их в голосе мамы, а он звучит все громче и громче, и наш последний час приближается. Рано утром она взывала к предкам, потом затягивала долгую жалобную песню, похожую на плач.

Прости за сигарету. Беременным не стоит курить, но я не понимаю, что делать с тобой и с парикмахерской. Они разбили ее, как зеркало.

Спи.

Спи!

Дай мне подумать.

Наверное, мне даже стало легче после налета. Потому что безмолвная война между моими гуриями и гуриями имама из мечети напротив стала явной. Некоторые догадываются о моей истинной сущности, об убийце во мне, о мертвой женщине. Например, имам из мечети. Я почти уверена, это он сделал. Когда мы впервые столк-

нулись на улице и он увидел мою «улыбку» и дыру в гортани, то отпрянул, прежде чем взять себя в руки. Всякий раз, когда мы пересекаемся, я смущаю его своим смеющимся взглядом золотисто-зеленых глаз, срываю с него одежды на виду у всех прихожан, перед его собственным Богом. Мое дело — делать женщин красивыми, продавать духи, разглаживать волосы, чтобы они были длиннее райских рек. Его дело — говорить о джихаде, войне, добыче, Франции, законах, грехе во всех проявлениях, о рае и пророках. Это с его словами на устах, не с моими, в 1990-е годы, вплоть до моей смерти 31 декабря 1999-го убили, моя Гурия, сотни тысяч людей, и он это знает. Потому что отводит глаза. Кое-кому известно, что я восстала из мертвых. Что меня зарезали, но я выжила, чтобы сосчитать всех жертв. И палачей.

13

В пятницу два месяца тому назад началась война между моей парикмахерской «Шахерезада» и мечетью Гроба (это я так ее назвала, потом объясню почему). Имам заголосил, а я, выкуривая сигарету у окна моего салона, воображала, как он уселся в своем михрабе (ниша в молельном зале, где он располагается перед стоящими на коленях мужчинами, уткнувшимися головами в пол). Он начал с перечисления немыслимых богохульств и произнес: «Десять женщин лишены милости Всевышнего». В салоне нас было тогда одиннадцать, включая двух моих сотрудниц. Над городом, где не было ни деревца, кружил песчаный вихрь, очищающий пустующие дома, как надгробные камни. «Во-первых, татуированная женщина», — и голос имама дрогнул, предваряя невиданный скандал. Внезапно в нашем надушенном окопе все смолкли, клиентки и парикмахерши, точно в зале суда в ожидании вердикта. В это мгновенье никто не осмелился на меня взглянуть, но все подумали о рыбках, лошадке и ручье на моей белой коже. Фен в руках Хананы зашумел, возражая проповеднику.

«Во-вторых, та, что выщипывает брови», — голос имама затих, позволяя каждому правоверному вспомнить лицо той знакомой, супруги, дочери или соседки, которую надлежало проклясть. Затем шепотом раздраженного ученого он огласил третий приговор: «Эль-Вассила и эль-Муставассила». Кто эта проклятая женщина с диковинным двойным именем? Присутствовавшие в салоне переглянулись, пытаясь понять, но тут имам уточнил: «Она удлиняет ресницы и наращивает ногти»; и все мы, женщины, кто не покорился и укрылся по другую сторону мечети, прыснули от смеха, осознав наше невежество. Внезапно парикмахерскую сотряс хохот. Это звучали бунтарская радость и смех, вырвавшийся из раннего детства каждой из нас, когда еще не начались менструации. «И та, что не покрыта!» — продолжил имам, и все мы почувствовали, даже через улицу, дрожь мужчин, возбужденных желанием проучить наглых женщин, чьи распущенные волосы не дают собрать хороший урожай. Из-за кепки, спортивной обуви и брюк я попала в пятую категорию, «женщин, желающих походить на мужчин». «А кто это, эль-Мутфалиджа?» — спросила у меня недавно вышедшая замуж клиентка, ожидавшая, пока прокрасятся корни ее волос. И мы все замер-

ли, вслушиваясь в слова, слетавшие с гигантских уст громкоговорителя на мечети. «Да хранит нас Всевышний!» — воскликнул имам, изображая волнение. «Это женщины, исправляющие зубы, данные им при рождении Божьей щедростью». Тебе-то, моя незваная гостья, я могу сказать: вряд ли божеству, воплощающему все человечество разом, настолько ненавистны наши тела, что он против лечения искривленных зубов! Откуда такая зависть даже к нашим изъянам?

К порочным имам присовокупил «женщин, посещающих могилы, рыдающих во время траура и тех, кто гневит супруга». А еще это те, кто, выходя на улицу, пользуется духами, носит шиньоны; кто ходит с голыми щиколотками; имам все говорил и говорил, пока не осталось ни одной женщины, ни следа от нее, ни единого волоска, только кровь на волчьей пасти. Только косматые тени, безмолвные силуэты, покойницы, слабыми голосами поддакивающие мужьям. И клянусь тебе, после неистового хохота в парикмахерской воцарилась гробовая тишина. Мы не встревожились, мы недоумевали: за что Всевышний нас так ненавидит? Чем мы его разгневали за три тысячелетия? Разве мы лишили его права материнства, возможности рожать и вскармливать молоком?

Разве мы отняли у него сердца мужчин? Моя парикмахерская стала логовом испуганных волчиц, оберегающих свое тайное лоно.

Молитва закончилась, и раздался пронзительный вопль; я наблюдала за потоком правоверных, спешащих домой, и голова их горела от мечтаний и гнева. Иногда мне хочется исторгнуть из горла этот восторженный бесконечный возглас и крикнуть в дни праздника. Это протяжный вопль, вырывающийся из груди наших женщин, моя крошечка, голос женщин, которым с рождения запрещено громко говорить, он означает и траур, и потерю девственности, и смерть, и замужество, успех или похороны; мужчины не могут ни воспроизвести его, ни запретить. И тут Ханана, моя прекрасная сотрудница, годами молчавшая, никогда не повышавшая голоса, зашлась в крике, летевшем к мужчинам. Я увидела, как толпа замерла в раздумье, повернулась к моим рекламным плакатам и витрине, закрытой жалюзи. Правоверные пожали плечами и разошлись. За их спинами ледяной, неподвижный, как надгробный камень, взгляд имама упал в витрину моего салона. Он понял значение дерзкого послания. В ту пятницу началась война.

14

Оставить тебя? Ты с ума сошла? Да они умудрились похоронить в памяти целую войну, двести тысяч убитых и целых десять лет, когда полагали себя баранами и пророками, но они никогда не забудут, что у тебя нет ни отца, ни имени. И что на твоем рождении настояла мать-чудовище, напоминающая им, сколько детей, женщин, мужчин и животных они принесли в жертву во славу Всевышнего. Они будут напоминать тебе об этом в официальных учреждениях, на улице, ночью, в школе. Куда бы ты ни пошла. Тебе придется жить в ущелье, более глубоком, чем то, откуда ты сейчас смотришь на меня своими прекрасными загадочными большими глазами, которые ты унаследуешь от меня. Ты не представляешь, через какой ад тебе придется пройти, если ты рождаешься женщиной в этой стране и нет отца, чтобы он оградил тебя от мужчин, а ты — брошенный ребенок. Моя мама? Да она этого не переживет. «Ну вот, Хадиджа, я беременная, отец исчез, из-за меня испарился, он был рыбаком, небольшого росточка, немного с приветом, но заразительно смеялся». Хорошо, если бы разговор

состоялся утром за крепким кофе. Или вечером, когда она, как обычно, следит за мной краешком глаза, делая вид, будто переключает телепрограммы. Стены тут же обрушатся, или ее сердце перестанет биться. Или вся кровь отхлынет от лица из-за переживания. А потом глубокой ночью она застонет. И зарыдает над своей судьбой, выпавшим жребием, над своей жизнью, днем, когда родила меня, даже не раздвинув ноги, без кровотечения, криков, и к ней не приблизился никакой мужчина, подобно матери Иисуса в Коране. Она будет оплакивать давнишние дела, о которых я никогда не узнаю, самые сокровенные секреты. Возможно, и правда умрет, откажется принимать пищу и погибнет от голода. И что с тобой тогда делать? А с парикмахерской? Потому что в таком случае правоверные возрадуются, завопят и, вооружившись законом, разгромят ее как гнездо проституции и разврата. В этом квартале, помимо моего безбожия, не хватало только раздутого живота, отвернувшегося от Господа. Это немыслимо.

Я рассказывала тебе историю о том, как с неба обрушился поток платьев, ярких тканей, духов и роскошных туфель? Нет? Это случилось спустя две недели после бунтарских криков Хананы.

Имам Гроба потихоньку опутывал меня своей паутиной, готовясь к заключительному жертвоприношению, натачивая улыбающийся нож.

Это случилось тоже в пятницу, в проклятый для женщин день. Мужчины ждали дождя, которого не было с января, животы сжимались от страха за неурожай. Мужчины, старики, дети только об этом и говорили, испуганно и болезненно вздыхая. Нам-то, женщинам, точно известно: если в наших краях не пройдет ливень и, словно проклятие, начнется засуха, так это потому, что мирные времена завершились, а мы слишком грешили. Уже несколько недель имам мечети Гроба беспрестанно вопит об этом в своей проповеди. Правоверные съеживаются на своих вонючих ковриках, поддакивают, а женщины в пыльных домах по всей округе отшатываются от окон. В воздухе квартала Эль-Ясмин (большом пригороде, где находится моя парикмахерская и где стоят в очереди за райскими кущами и крупой для кускуса) ощущалось приближение волны побоев, беспричинных пощечин, плевков в лицо тем, кто слегка переборщил с косметикой. Время от времени, будто высекают искры у канистры с горючим, какой-нибудь мужик орал на женщину, толкнувшую его в булочной, или подросток

дергал за волосы девочку, которая слишком громко говорит. Так продолжалось несколько дней, и однажды утром пошел дождь. Как из ведра, проливной, будто Господь, уставший от молитв, уступил людям. С неба падало нечто, но не вода.

Пока я поднимала жалюзи в «Шахерезаде», Ханана ждала меня у выхода. Мужчины столпились в конце улицы около жилого комплекса Вафи, у подъезда дома С. Они переговаривались, указывая пальцем на пятый этаж. Имам Гроба, окруженный правоверными, вздыхал, выказывая тревогу, как актер в плохом кино, и, словно шершень, перелетал от одной кучки собравшихся к другой. Затем раздались женские крики. Они отличались от рыданий у гроба, по поводу несчастного случая или стонов от боли, в них звучал древний ужас, стенания, вечно в нас живущие, которыми, будто щитом, нашим последним оружием, мы обороняемся от мужчин. Я знала, кто живет на том этаже, куда они показывали. Плач сменился оскорблениями, послышался звук разбившегося зеркала, стаканов, тарелок или стекла. Небо, расчищенное молитвами, отказывалось покончить с засухой; отрывистые всхлипывания сверху переродились в уханье, от них моя кожа позеленела, как выдубленная на

солнце и натертая солью овечья шкура. Непонятно, с кем сражались женщины, и от этого мы все окаменели.

Когда трех девушек выволокли за волосы в домашней одежде на булыжную мостовую, все женщины, высунувшиеся из окон других этажей, я уверена, вспомнили древнюю историю нашего женского рода. Одна из девушек держала в руке кожаную черную сумочку, цеплялась за землю, кричала, а ее красные ногти сверкали на солнце. Каждый раз, когда мне плохо, моя память разбивается вдребезги, как зеркало, предметы беспорядочно рассыпаются, и потом мне удается собрать лишь мелкие части, но никогда не получается их заново склеить. Ее светлые волосы метались, словно священное пламя, и я вспомнила, что, когда неделю назад она пришла ко мне на укладку, Ханана поморщилась от запаха ее потного тела. Другая девушка, с упрямым видом и закрытыми глазами, будто отказывалась смотреть на происходящее. Она молча опустилась на колени, одна туфля в руке, другая свисала с ноги. Третья, худая брюнетка, вопила не переставая. Она пыталась вырваться от окруживших ее мужчин, расширяя вокруг себя круги страха и ненависти. Люди не шевелились, окутанные

паутиной ужаса, а стены нависли над толпой, чтобы ничего не упустить.

Полиция примчалась с визгливо голосящей сиреной. Мужчины загалдели, принялись тыкать пальцами в грешниц. В этих трех женщин, выгнанных из квартиры на пятом этаже. «Это скандал!» — произнес один. «Думают, что им все позволено по воле Господа!» — пояснил другой. «Не хотим, чтобы наши дочери были такими», — поспешил пуститься в объяснения местный житель, обращаясь к полицейскому, размахивающему портативной рацией. Окна быстро захлопывались, чтобы мужчины не разглядели слишком испуганные или странно довольные лица женщин; даже меня пробрала дрожь. Если хотя бы один мужчина посмотрел на мой салон, всеобщий гнев, не найдя иного выхода, обрушился бы волной на стены парикмахерской. Девушки были моими клиентками, они приходили подготовиться к «ночной жизни», свободные, чудесные, будоражащие. Я подкрашивала, наращивала ресницы, делала эпиляцию ног и интимных зон, прихорашивала тела, в которые впивались мужчины. В сером призрачном свете полицейский направился в середину внутреннего двора, туда, где его ждали три строптивые

юные женщины, еле стоящие на ногах, видимо, им было не впервой. Их погрузили в машину. А потом пошел дождь.

Но оказалось, это не сильный дождь, не крупные капли, способные напитать корни.

Нет.

С неба падало совсем другое. Сначала шелковые платья медленно кружили, словно воспоминания, потом косметические наборы громко шлепнулись на тротуар, а за ними последовало и остальное: духи, сумочки, зеркальца, помады, чулки, юбки, бусы, туфли на каблуках, парики… Все летело с пятого этажа, и этот ливень, казалось, понемногу успокаивает толпу мужчин и, согласно их законам, очищает воздух и квартиру. Некая рука решила скинуть это вниз, выбросить все, что принадлежало трем девушкам, их гардероб и то, чем они создавали красоту и шарм. Из этого скопилась куча, мужчины тыкали в нее пальцами и вели долгие возмущенные разговоры. Следы этого дождя оставались еще два-три дня, дети забавлялись с ними, используя их как тряпки, делая мячики или пытаясь их продать. Квартира еще долго стояла пустой, открытой настежь, с расколоченной дверью, будто зияющей дырой в гортани.

Видишь ли, моя сардинка, меня трясло от страха. Здесь все хрупкое, над нами все еле держится. Меня, мою парикмахерскую и моих двух коллег спасает лишь эта пустота в моем теле. Чудовищная улыбка до ушей, обозначающая немой хохот.

15

Она опять мне позвонила. Ничего толком не сказала. Описала серое брюссельское небо и напомнила, чтобы я не забыла оплатить электричество, чтобы крепко закрывала на ночь двери, держалась подальше от людей, ставила машину прямо под балконом, лучше самой за ней наблюдать, а то ведь охранник Тайеб — разгильдяй. Велела мыть руки гелем перед тем, как менять канюлю, протирать ее, убедила сходить в магазин, «потому что на этой неделе все закрыто», потом пообещала поскорее вернуться, как только подвернется билет. Может, сразу после праздника Ид аль-Адха, и уточнила: «это в худшем случае». Но ни слова об операции! Ни одного. Ни слова о хирурге. Значит, она его не видела или поняла, что надеяться не имеет смысла. На своем внешнем языке я начала ворчать, ржать, блеять, пищать, мычать, реветь, мяукать, верещать (у меня в горле весь Ноев ковчег), и она сделала вывод, что я обнаружила тайное убежище ее извинений. Когда она мне объяснила, что вернется, как только найдется билет, мой живот сжался и меня осенило, что надо поторапливаться. Перерезать

тебе горло с помощью трех таблеток. Сделаем это, девочка моя, не позднее Дня жертвоприношения, ни часом дольше. Хотелось бы закончить историю, время поджимает.

16

Нужно найти кого-то, кто починит жалюзи. Не факт, что получится, накануне праздника никто не работает. К тому же людям не нравится вмешиваться в подобные дела. Я теперь вся в желтой краске бесчестия. Соберем осколки стекла и подождем, пока улица немного опустеет по такой жаре.

Распахиваю окно парикмахерской. Чувствуешь запах? Вот уже неделю город воняет кишками испуганных животных. В центре города ничего не заметно, но пригороды, кварталы, названные в честь мучеников войны с Францией (сложившие голову в моей войне этого права не удостоились), похожи на скотные дворы, откуда доносится невыносимое блеяние. Осталось три дня. Убить или быть убитой? Я должна решиться. Подними свой носик и вдохни: отовсюду запах мокрого сена, навоза, лепешек, раздавленных ботинками или шинами. Ты унесешь с собой лишь этот запах нашего мира. А еще к тебе прилипнет едкий страх и галдеж животных рядом с толпящимися покупателями, которые хотят их сожрать. Бараны не могут спастись, у них нет больше крыльев,

чтобы улететь живыми на небеса. Прислушайся еще. Сквозь уличный шум можно различить еле слышное блеяние. Он стонет на своем древнем языке, стоя на балконе слева от парикмахерской. Эти несчастные создания тоже жалуются на судьбу, уготованную им Всевышним. Скоро их положат на землю и быстро зарежут под крики детей.

Никак не могу отделаться от этой картины, словно кто-то пытается этим видением обратиться ко мне. Оно возвращается во мне каждый год образом, который, видимо, нечто большее, чем просто воспоминание.

17

В раю гигантские деревья, реки, зеленые светлые луга, но людей нет. Может, так даже лучше? Я проглочу три таблетки, и ты вернешься к жизни среди листвы и меда. Тебя окружат счастливые томные женщины, ты попадешь в великое царство гурий, где нет менструаций, перхоти, волос на ногах. Почти все имамы говорят об этом по пятницам, расписывая тысячу и одну прелесть обители, предназначенной для правоверных. О, гурии, для вас будут бескрайние дали золота и драгоценных камней, там вам не надо готовить, драить заплеванные полы, рожать в муках, вас не станут бить и насиловать и вы сможете гулять обнаженными и, смеясь, плескаться в реках вина.

По пятницам мы молча сидим в моей парикмахерской и слушаем пламенные проповеди! С двенадцати до двух нам запрещено включать музыку, говорить громко, а также смеяться. Слышно, как имам говорит об этом месте, о котором и мы мечтаем. Он клянется, что «сад Эдема, длиной в половину тетивы лука, бесспорно, лучше, чем целый горизонт, где встает и заходит солнце». «Жители рая едят там и пьют, но у них

нет ни экскрементов, ни соплей, ни мочи». Он обещает, что «после принятия пищи их отрыжка благоухает мускусом». А гурии вроде тебя? «Аллах покрыл лицо их светом, а тело — шелком. Кожа их белая, одежды — зеленые, на шее — драгоценные ожерелья. Кадильницы их украшены жемчугом, а гребни — золотые. И молвят они: „Мы вечны, никогда не умрем, мы счастливы, не знаем страданий, мы пребываем и не отбываем, мы удовлетворены и не ведаем гнева“», — вопит он, воздевая к соучастному небу указательный палец. У гурий своя страна, а мы застряли в самом низу лестницы, в этой жизни, в Алжире. Видимо, Эдем — наша, женщин, потерянная родина! По этой причине мужчины на нас в обиде. Вот чем можно объяснить мужскую злобу, убийства, паранджу, плевки. Все это лишь мужская зависть. Ты слышишь меня?

18

Из парикмахерской мы уйдем в час сиесты, если только не нагрянет полиция. Любопытно, имам из мечети напротив носу не кажет. Он крупный молодой человек, волевой, уверенный, страстный, если идет с толпой правоверных, и молчаливый, если не проповедует, безупречно одетый. Его уважительно называют шейхом Качаком. Мне всегда казалось, что он следит за внешностью больше, чем мои клиентки, желающие скрыть свой возраст. В квартале Айэль-Ясмин он прославился своим голосом. С его помощью пророк в безмолвной стране зарабатывает на жизнь, оберегая полученный дар, и использует его лишь по особым случаям. Обычно, сталкиваясь с правоверными, он напускает на себя важный вид и ограничивается бормотанием. Мечеть расположена на первом этаже в торговом здании напротив, и со временем имаму удалось увеличить ее площадь. Он отвоевал часть тротуара и расширил молельную. Мой сосед даже умудрился выбить себе место под незаконную парковку. Еще там стоит длинный зеленый короб с выведенным аятом из Корана, тебе его видно

отсюда. Это деревянный гроб, окрашенный в райский зеленый цвет. Он тут как напоминание о клятвенных обещаниях имама. Думаю, тот намеренно выставил оссуарий на улицу: таково наглядное подтверждение его пламенным проповедям.

Прежде чем завернуть мертвеца, преставившегося в нашей округе, в саван, пожертвованный щедрым дарителем, и успеть закопать, его кладут в зеленый короб во время последней молитвы. Потом этот короб возвращают на место, где он поджидает следующего путешественника. В городе к нему никто не притрагивается, все обходят его стороной, даже дети.

В полдень из мечети Гроба, так я ее назвала, доносятся вопли: там читают аяты Корана. Никто не смеет попросить их голосить потише. Я вынуждена слушать это, они вызывают желание умереть поскорее. Поведать тебе забавную подробность? Во время большой пятничной молитвы все магазины обязаны опустить жалюзи, ибо сказано: когда раздается призыв на молитву, любая коммерция запрещена. Два-три часа, пока отмываются грехи, что накопились за неделю, нельзя купить бутылку воды или таблетку от головной боли. Все должно остано-

виться. И представляешь, моя маленькая Гурия, есть одно освобождение от этого божественного комендантского часа — заведения для женщин, парикмахерские, косметические салоны. Нечто вроде нашего часа пик. В такое время наша клиентура — женщины, которым дозволено выйти на улицу в эти пару часов. Видимо, мужчины желают, вернувшись после проповеди, где им обещали девственниц в белых одеждах, обнаружить гурий-красавиц. А может, это всего лишь промежуток между работой по дому и заботой о детях, когда женщины могут позволить себе вспомнить о собственном теле. Накинув платки и опустив головы, они спешат в парикмахерские, проклинаемые имамами. Только тогда им удается прогуляться под солнцем, и никто их не оскорбит, не потревожит, мысленно не расчленит и не зарежет. Они приходят ко мне в поту, между стиркой и приготовлением супа, в надежде снова вернуть молодость или хотя бы оживить память о ней. И пока имам орет, что все беды страны от женских раздвинутых ног и необходимо запретить продажу духов и макияжа женщинам «без сопровождения мужчин-опекунов», мои смешливые непокорные сотрудницы занимаются эпиляцией ног и бровей и подкрашивают шевелюры.

Уже давно по пятницам, моя Гурия, в час пополудни разворачивается безмолвная война! Между моей парикмахерской и мечетью, разделенными узкой улочкой, нарастает напряжение. Посетительницы салона ценят сопротивление, которое мы оказываем. Пока обе мои работницы причесывают, красят, выпрямляют, имам напротив вопит, что должно страшиться закона небесного и беречь честь, репутацию и добродетель. С одной стороны имам орет и клянется, что в раю армия безбородых «юношей с невинными глазами терпеливо ожидает девственниц, уединенно живущих в шатрах, и жен непорочных, не тронутых ни мужьями, ни джиннами, сравнимых с рубинами, кораллами, жемчужинами в раковинах». С другой стороны за стенами салона мы еле сдерживаемся, чтобы не засмеяться, болтаем о том о сем непочтительно, с непокрытыми головами и ногами, задранными для эпиляции. В такие мгновения я, полумужчина, полуженщина, полуживая, полумертвая, полунемая, полуговорящая, полузарезанная, веселюсь с полуулыбкой и наслаждаюсь тысячелетием чистой иронии, поместившим меня между Богом и разными полами.

Противостояние моей парикмахерской и ме-

чети Гроба длится уже несколько месяцев, и, когда мужчины выходят из мечети, мы иногда за это расплачиваемся. После особо яростных проповедей мрачные возбужденные правоверные считают, что вступили на путь истинный, ведущий в рай. Последние клиентки торопятся по домам. Я настежь распахиваю дверь, так что табачный запах может добраться даже до шейха Качака; не отрываясь смотрю на него огромными глазами, осознавая, как действует на мужчин такой взгляд, медленно снимаю шейный платок, показываю ему мою канюлю и чудовищную «улыбку». Это наша лучшая дуэль. Потому что он знает. Знает и молчит, ничего не говорит обо мне. Хранит молчание, хотя я уверена, он оставляет за собой право напасть на меня из-за угла в проповедях через неделю. Со своим неповторимым голосом он терпеливо ждет, когда крыша парикмахерской свалится мне на непокрытую голову или мужчины выкинут мои вещи на улицу. До сих пор меня спасала только широкая «улыбка» чудовища. Она насмехалась над ним и над его правоверными. Полагаю, он опознал меня в сонме своих воспоминаний и всегда точно знал, откуда у меня эта рана. Он догадался, что я жертва войны девяностых, проповедей,

наточенных на древних брусках, жертва речей о будоражащем рае, обещанных гуриях, мечетях, кинжалах, лезвия их затачивались елейными голосами. Уже некоторое время каждую пятницу после большой молитвы мы смотрим друг на друга, и он терпеливо склоняет голову. Мои подновленные девственницы против его, тех, каких никто никогда не видел. Несколько месяцев этот поединок повторяется каждую пятницу. Но он должен завершиться чьим-то поражением.

Теперь понимаешь, зачем они разорили сегодня мою парикмахерскую?

19

У моего салона тысяча и одна клиентка.

Одна собирается замуж, другая ловит удачу, используя разные ухищрения, мази, стрижки, краски, духи, но в глубине души отчаялась и хочет сбежать от самой себя. Кто-то приходит в мой салон позлословить, обругать, посплетничать и сохранить свою добродетель. Что тут поделаешь, моя маленькая. Таков уж стародавний закон: бывшие заключенные становятся тюремщицами, я тебе говорила. Не выношу, когда эти женщины костерят других женщин квартала, отказываюсь их слушать. Их бесконечные разговоры о словах Пророка, Божьих запретах досаждают мне больше всего.

В скромном раю моей парикмахерской собираемся мы, девственницы, настоящие чистые девы из Эдема, обещанные убийцам или правоверным, воинам или праведникам. Мы ждем их, но в Оране реки вина и меда пересохли, от дворцов остались одни развалины, а долины, упомянутые в сурах, завалены мусором. Почему мужчины обожают искать несуществующих женщин и губить нас, давших им жизнь? Непостижимо.

В конце каждого месяца Ханана приходит с синяками на лице и шее, дыра в языке ее жизни расширяется, поглощая все оставшиеся слова ее внешнего языка. Мы, женщины, — невестки райских гурий, их золовки, их конкурентки, их жалкие родственницы, их грубо обтесанные копии. В салоне мы делимся историями, но прежде всего платим сполна, чтобы хоть немного походить на них, соперничать с ними, чтобы наши мужья лежали в постели, а не шли в мечеть. И все же можно было закупить самые дорогие товары, поставить больше сушилок для волос и кресел, массажных столов, заказать еще ультрафиолетовых ламп, щеток, самых роскошных кремов, чтобы увеличить число клиенток, мне не победить и одну суру или вопли одной проповеди. Как сделать настоящих гурий из моих толстых клиенток, жертв готовки и уборки, изуродованных вскармливаниями и побоями, чья жизнь размечена менструациями и родами? Господь описал гурий в своей Книге, а нас, женщин, лишь упомянул! «Верующий получает либо две гурии, либо семьдесят две, либо пятьсот, либо восемь тысяч», — обещает имам Качак, и голос его так хорош, что возникает желание все бросить и умереть. Я сопротивляюсь. Мой салон «Шахере-

зада» открыт для всех женщин, вовлеченных в эту неизвестную битву, настоящую священную войну, джихад чувств. По пятницам в час мужской молитвы у нас праздник, щетки-расчески, духи-женихи. Ты могла бы к нам присоединиться, если бы тебе пришлось жить. Жаль, могли бы вместе раскладывать инструменты нашей борьбы с райскими гуриями.

20

Недели две назад земные гурии, моя девочка, всего на день-другой одержали победу над гуриями небесными и их сутенерами. Недолгую, но в парикмахерской мы хохотали, как гигантские чайки. Не то чтобы мои клиентки осознавали масштаб сражения, они, сами того не подозревая, поучаствовали в победе над имамом. Ты думаешь, нам удалось выбить божественное одобрение или мы все отправились просить его не так яростно нападать на земных гурий? Нет. Полагаешь, я набила его гроб волосами, шампунями и косметикой, потому что эта идея не выходила у меня из безумной головы? Или я оскорбила его, дернув за бороду при всем честном народе, либо врубила музыку на полную мощность во время проповеди? Нет, моя маленькая фея! Я тысячью обходных путей отправила сообщение его супруге, предварительно узнав ее имя. Она почти не появлялась здесь, поскольку имам живет во втором квартале Вафи, прямо за нашим, там, где продают овощи и рыбу. На улице ее не узнать, ведь все женщины, закрытые с ног до головы, похожи друг на друга, заперты в ночи.

Но у меня получилось, моя красавица! Через несколько дней она все-таки пришла в салон; я рассказала о том, что мы можем предложить, и о скидках для супруги уважаемого шейха Качака. То ли ей было несладко, то ли знаменитый супруг предложил ей это между двумя молитвами и двумя «обработками» (Всевышний уточняет, что жен нужно обрабатывать, как твердую землю), то ли она проявила слабость женщины, вынужденной соперничать с полигамными проповедями правоверных, но все же она пришла. Вместе с посвященной в тайну соседкой, которая рассчитывала на духи и бесплатную стрижку.

Клянусь тебе, это было в пятницу. Я открыла дверь, радушно и любезно предложила супруге имама лучшее: кресло, кофе, парикмахершу. Она не устояла перед моим гостеприимством, сняла платок, показав непримечательное лицо со стертыми чертами, тревожные глаза; выпростала волосы, а затем руки и бедра — все, что скрывалось, словно в суре. Возрождение шло медленно, но в итоге все получилось. И после двух часов косметических процедур возникла совсем другая женщина; она долго смотрелась в зеркало, удивленная покрашенными распрямленными волосами, красивой кожей и глазами,

оттененными тушью для ресниц. Жена имама молча поднялась, и я заметила, как в ее взгляде забрезжило воспоминание или промелькнул гнев на ту, которая вошла сюда, на несчастную молодую женщину. Возможно, позже имаму даже понравилась его супруга, воскресшая еще до Страшного суда, он успокоился, лежа на своей добыче, ощутил в ночи благоухающее тело, более соответствующее тому, о чем он проповедовал из своего михраба мужчинам. Думаю, каждый боролся по-своему: он — Кораном, сурами, одеждой, толкованиями, яростью; я — кератином, выпрямителями, кремами, мазями, восковыми эпиляторами. Сейчас мне кажется, а вдруг я убила ту женщину, ведь вынудила ее отречься, а может, ее выгнали из дома или живьем закопали — во всяком случае, она ко мне больше не возвращалась.

Жить значит воевать, моя Гурия. Я не выдала эту несчастную молодую женщину, не послала на смерть вместо себя, просто подождала имама Качака после молитвы Аср (третья молитва на исходе дня, за два часа до сумерек) и протянула ему внушительный счет за «услуги», оказанные его супруге. Там перечислялись все то, что он называл преступлениями против Всевышнего:

духи, помады, пудра, краска, кремы, средства для эпиляции. Сначала он посмотрел в мои глаза, в хорошую погоду они цвета редкого мрамора; скользнул взглядом по канюле, потом принялся изучать счет. Мне ужасно жаль, но в тот момент посреди улицы, разделяющей парикмахерскую и мечеть, я увидела поражение на лице имама. С перерезанным горлом, я смаковала его растерянность, гнев, ненависть, предстоящую месть. Потом прохрипела через канюлю, приглушившую звук: «Все за счет заведения. Кроме духов». Его елейный голос задрожал, он что-то проблеял, отказавшись платить, и замолчал. На этом странном месте, где столкнулись противоположности, имам понял, что проиграл, повернулся ко мне спиной и скрылся в мечети Гроба.

Война достигла апогея, когда спустя пару дней, поскольку он не заплатил, я прикрепила скотчем счет к его машине, стоявшей прямо перед молельным залом. А еще через несколько недель после яростной проповеди в ход пошла петиция с требованием закрыть салон «Шахерезада» как прибежище разврата. Долгое время меня спасал тот, кто зарезал меня двадцать лет назад. Во время резни в Хад-Шекале мой убийца халтурно совершил жертвоприношение, не смог соблюсти

все правила, не заточил нож и не очистился долгим омовением. Он промазал и наградил меня шрамом. До сих пор это меня уберегало: люди не гнушались ничем, но меня ограждал статус жертвы терроризма. Шейх Качак выждал, пока осядет пыль гнева, однако отомстил. Инсценированное ограбление было его посланием.

21

16:30

Полицейским не хотелось связываться ни с женщиной, ни с моим делом во время сиесты. Разобрались по-быстрому: вдарили кулаком по жалюзи, потом бегло осмотрели место фиктивного ограбления и задали парочку вопросов. Знаете нападавших? Нет. Их начальника явно раздражала необходимость что-то предпринимать, он осмотрел салон, затем выбежал на улицу и погрузился в нескончаемый разговор по телефону. Двое подчиненных, не понимая, что им делать дальше, развлекались, охотно нюхая духи, выспрашивали мой номер. Приехала раздолбанная, дребезжащая служебная машина, дети всполошились с ее появлением, взрослые же стояли поодаль, любопытствуя, чью сторону займет полиция. По медлительности трех раздраженных полицейских, вынужденных оторваться от семейной жизни, казалось, что мое дело представляется ничтожным и мелочным. Никто не расспросил меня о канюле, моей «улыбке», из чего я заключила, что они осведомлены

обо мне. В Алжире не знают, что делать с жертвами гражданской войны, на них не обращают внимания, ждут, пока те умрут. Мне задали еще вопросы о часах работы и о тех, кого мы обслуживаем. Постепенно допрос сместился на мою жизнь, моих знакомых, мои занятия; они хотели знать, замужем ли я. Один из полицейских указал коллеге на пепельницу, набитую окурками. Возникла пауза. Я уже представила, как они спрашивают: «Ты проститутка? Ты понимаешь, что негоже на глазах у Всевышнего заниматься таким ремеслом? Сколько на самом деле ты зарабатываешь, какие услуги ты оказываешь?» Вдруг на меня навалилась страшная усталость. «Будьте осторожны, есть другие способы зарабатывать на жизнь», — предупредил начальник, вернувшись на место преступления, моего преступления. Он подал некий знак подчиненным и исчез. Слегка смущенные полицейские предложили проводить меня до моей машины и выезда из квартала. Меня вели как преступницу, немногочисленная толпа расступилась. Неожиданно кто-то очень громко крикнул: «Аллах акбар!» («Бог велик!» на моем внутреннем языке). Ровно с того места, откуда обычно раздается клич, прозвучал медовый голос имама, шейха Качака. Он никогда не

выполнял функцию муэдзина, а тут на тебе. Я заметила восторг на лицах некоторых соседей. И пока голос имама празднично взмывал вверх, двое полицейских объяснили: никто не тронет мой салон и жалюзи, и неважно, что они сломаны. Собравшиеся проводили меня взглядами, и я тоже, словно со стороны, увидела, как ухожу. «Бежим!» — прошептала ты мне на ухо.

22

Молитва в сумерках

Я часто забираюсь на крышу нашего дома и прислушиваюсь. Сегодня время вечерней молитвы. Сосед надрывается, ставя себя на место Господа или его посланника. «Пророк Мухаммед сказал, что в первый день праздника Жертвоприношения нет более любимого дела, чем пролитие крови жертвенного животного. В Судный день жертва явится со своими рогами, копытами и шкурой. Кровь жертвенного животного, еще не пролившаяся на землю, уже обретет благоволение Аллаха и будет принята Им[2]. Такова традиция отца вашего Ибрахима». Минарет ближайшей мечети отсюда в двух шагах, и он обращается ко мне точно циклоп. Слова летят в воздухе, заполоняют город, выискивают неверных и ленивых. Священные слова хватают их за горло и велят наказать. Имам бушует, его голосовые связки опутывают руки и ноги, опрашивают

[2] Примечания: 2

Текст хадиса в переводе Г. Ахметьяновой (250 хадисов с комментариями о нормах жизни мусульманина. М., 2010. С. 188).

одного за другим о рае, сексе, какую одежду можно носить, а какую нет, о еде, жертвоприношениях. Я достаю пачку сигарет, аккуратно ставлю чашку кофе на парапет и слушаю, посмеиваясь. Я не воспринимаю всерьез пафосные сентенции и завораживающие интонации имама. У меня невероятное преимущество: я немая, и в моем молчании никто не способен разгадать мой истинный язык и то, что я произношу на нем рядом с минаретом. Порой в нем слышатся ветер, шум двигателя или иные голоса, но я единственная, кто, опьянев от этих звуков, остается на месте, пока все остальные бегут, падают ниц, усердно бьются лбом о землю. «Самым светлым будет Судный день», — бубнит молитвы мой сосед третью праздничную ночь напролет. Слышится тяжелый одобрительный гул правоверных. Мы со шрамом интересуемся: а с какой стороны окажусь я в день Страшного суда? С жертвенными животными или с людьми, приносящими их в жертву? А где окажется мой убийца? Может, я наконец увижу его лицо, скрытое бородой и ночной темнотой 31 декабря 1999 года. Во что он сыграет? Замолит ли свой просчет, что не дорезал животное во время гражданской войны? Или вымолит прощение и заметет следы той

деревни, той войны, окончательно выброшенной в колодец забвения? «В День жертвоприношения животные должны поститься», — заканчивает низкий хриплый голос с минарета и призывает правоверных собраться на молитву. Уже два дня мои волосы сухие, неухоженные, всклокоченные. Если я долго не причесываюсь, Хадиджа называет их лесами Амазонки.

Хадиджа пока не вернулась, приедет, наверное, завтра или послезавтра. Ни с чем. После приступа я всегда выхожу на эту террасу подышать. Тут моя канюля забирает больше воздуха, словно я профессиональная пловчиха. На той высоте я воскресаю. Взгляни моими глазами на море за домами, ты не увидишь его в твоем вечном саду. Правда же, оно навязывает свою элегантность? Его голос исходит из глубокого прошлого. Оно вызывает желание прожить иную жизнь или обнажиться, подобно ему, разве нет? Вдохни за меня его запах, пожалуйста. Боже мой! Все бы отдала за то, чтобы побежать сейчас на пляж и забыть эту историю с тремя таблетками!

Однажды, когда я тайком пришла сюда со стаканом вина, сосед имам поведал, что «перо судьбы» не записывает деяния безумца, ребенка и спящего. Может, оно не отметило то, что

случилось ночью 31 декабря 1999-го, потому что я спала? И была ребенком, не так ли? Никто не должен помнить мои деяния и судить о них. Так почему же это бременем лежит на груди? Потому что Всевышнего, как и Его пера и баранов, тут недостаточно.

23

18 июня, ранний вечер

Прошел еще день. Смотрю в окно. Внизу, в кафе «Мархаба», человек разражается хохотом, как он полагает, заразительным; он стоит и изображает нечто смешное, размахивая руками. Затем пожимает плечами и усаживается к телевизору, который приковывает его внимание. В конце дня там полно народу, дымно и шумно. Две девушки через центральную площадь обходят стороной это место, предназначенное для мужчин. Всякий раз, когда я иду по переулку, воцаряется тишина, и взгляды прохожих, сперва утонув в моих золотистых зрачках, падают на землю, чтобы не провалиться в канюлю. Мама повторяет, и страна вслед за ней: забудь. Наверное, не стоит даже мечтать об операции и обретении речи. Почему именно мне повезло заново родиться из всех двухсот тысяч мертвецов? И какие первые слова я бы произнесла, если бы голос вернулся? Неизвестно. Может, произнесу имя кого-то из бывшей семьи? Например, сестры, чтобы его дали новорожденному. И я забываю, но с тру-

дом. Стараюсь это делать каждую ночь, а те, что внизу, забывают легко, как дышат. Я сражаюсь в тысяче битв, чтобы не моргать, чтобы обрести спокойный сон и не стонать, зато им похоронить ушедших как пальцем шевельнуть, словно слегка голову склонить.

Для них забвение — это закон. Он принят почти единогласно в 2005 году, в тот день Хадиджа привела меня на пляж Бусфер, на востоке от Орана. Мне было одиннадцать, и тогда в конце сентября мы обнаружили пустынный берег. Мы там расположились, и на целый день я поверила вместе с чайками, что можно улететь, если бежать по мокрому песку. Холодный воздух резал мне горло. Внутри меня постоянно перекатывается история, но, чтобы завершиться, ей не хватает трех вещей: голоса, живого человека во мне и языка. И это замкнутый круг. Хадиджа уехала в Брюссель за голосовыми связками, и я все время представляю, как она на коленях умоляет очередного хирурга попробовать меня прооперировать. Вот же безумная моя мать! Верит в чудесное, поскольку сама чудом выжила. Посмотри вдаль, на центральную улицу, рядом с лицеем: все устраивается так, что нельзя ничего упустить из моей истории. Народ делает вид, будто занят чем-то важным. Небо

совсем не помнит о событиях прошлой ночи, Всевышний запечатывает пальцем небесные уста. Можешь поклясться, что в Оране была война? Поверишь ли, что годами подсчитывали тысячи убитых, число бомб, зарезанных и раненых? Июнь выдался таким прекрасным, что смерть кажется оскорблением. Все устраивается так, чтобы все забыли, и я в том числе.

24

Ночь, молитва Иша

Оран зажигает прибрежные огни. Понимаю, что делать: я осознала, кто жертва, во сне мне послышался Божий глас. То есть голоса мужчин, раздающихся в крови испуганных женщин, когда они рассуждают все вместе, перебивают друг друга; мне нужно подчиниться и спасти тебя, убив. Пока не выбрано место, гора, подходящее время, не хватает красно-синего рассвета. У меня уже есть нож, адрес невидимого гинеколога в переулке, идущем наверх от набережной, три таблетки и тысяча причин. Признаюсь, мне не впервой убивать, мой труп удостоверяет это холодностью и отвращением к любым прикосновениям. Но на сей раз не будет ни Бога, ни барана. Я не сдамся, и моя рука не дрогнет. Убью тебя, чтобы спасти. Ты, конечно, возразишь: он ведь тоже так думал, когда зарезал тебя и сестру? Замолчи! Что тебе известно о той ночи? Тебя там не было, ни глаз твоих, ни веревки для скакалок. С наступлением темноты после призыва на молитву и перед самой молитвой возникла пауза. Слышатся только

кряхтенья, покашливания и шепот. Мужчины шумно поднимаются, передвигаются, выстраиваются в очередь. «Не оставляйте зазора между мизинцем на своей ноге и пальцем соседа, чтобы шайтан не проскочил», — твердит имам, и меня смешит это идиотское предупреждение о дьяволе. На вечернюю молитву в мечеть собирается туча правоверных, они словно бы вырастают из-под земли. Ты их увидишь, если я перегнусь через ограждение террасы. Приближается праздник жертвоприношения. Они чувствуют, как становятся пророками, заранее облачаются в белое, с важностью рассуждают о Страшном суде, их распирают мечты и голод; скоро они возьмут ножи и повторят жест Ибрахима. А что насчет нас? Женщинам запрещено перерезать горло жертве, понимаешь? От нас требуется омыть мертвое животное, натереть специями, подкоптить, опалить, приготовить еду и помыть посуду. Пока имам вопит «Аллах акбар!», меня осеняет мысль: разве разговаривать с дочерью, находящейся в утробе, более безумно, чем говорить с собой на улицах Орана? Ну, моя маленькая Гурия, давай теперь поспим.

25

19 июня, канун Ид аль-Адха

Сегодня последний день. Вечером мы расстанемся. Может, пройтись? Очень полезно беременным. Шум, который ты слышишь, это люди, гуляющие по бульвару вдоль пальм — обожаю бродить там. Они фотографируют друг друга или сидят на скамейках и ничего не делают. Мимо едут машины, слышатся детские крики, вой сирен и крики торговцев. Для меня это утро как праздник или освобождение. Я знаю, что делать. Меня успокаивает свежий воздух или утренний час, а может, мамино послание: «Здравствуй, мой ангел, я не вернусь ни сегодня, ни завтра. На праздники нет ни одного билета на самолет. Места есть только после Ид аль-Адха, моя жемчужинка! Очень жаль, что ты остаешься там одна, без меня». Затем последовало другое, в семь двадцать три утра, наполненное тревогой: «Ты справишься сама? Закупи продуктов на неделю. Никуда не выходи». И потом еще одно, через десять минут, поскольку ее волнение в номере брюссельского отеля лишь нарастало:

«Как в притче о слепом и безногом: ты будешь моими глазами, а я — твоим голосом. Ха-ха!» О хирурге, запускающем пальцы в мое горло, теперь больше речи нет. Моя ложь оказалась правдой, а ее правда — ложью. После каждой истории об имплантации голосовых связок она считает себя обязанной говорить за двоих, как я сейчас с тобой.

Посмотри, ветер гуляет по поверхности моря, в этот час ощутима прохлада, солнце еще не обнажило свои длинные полуденные ножи. Вечером я сделаю аборт. Возможно, даже рискую умереть вместе с тобой, истечь кровью. Меня мучили неопределенность, страх жить, но теперь я приняла решение и после всего вернусь к прежней судьбе. Твое движение в моей утробе перевернуло мое существование, время опасно накренилось, словно стены над головой. До тебя все в моем мозгу и в мире вокруг было упорядочено. Мама Хадиджа чинила с моей помощью свое детство; я ждала — без особой надежды, — что голос вернется и однажды можно будет рассказать мою историю, а потаенный язык потихоньку исчезнет. Я твердо верила, что похожа на книгу, и нет надобности мне ее писать, а деньги зарабатывала благодаря «Шахерезаде», салону для гурий,

переживающих за свою судьбу. Я жила. Хотя и с трудом, потому что моя история была стерта. В свободные часы мне грезились тысячи версий случившегося с Ибрахимом, я курила сигареты на крыше и потешалась над правоверными, стройными рядами шедшими на пятничную молитву. Все так бы и продолжалось, моя Гурия, я вынашивала праведный лютый гнев, обращенный против мира и его голосов. Правда, медленно умирала, но ведь это тоже проявление жизни, не так ли? Я ни с кем не говорила, мой внутренний язык постепенно тускнел, и даже стала корить себя за свою сокровенную вину. Когда я погружалась в повседневную жизнь, то история о сестре, чьи глаза преследовали меня повсюду, казалась выдуманной. Она становилась невообразимой, ее время и место постоянно менялись. Была ли я ребенком, уже родившимся с врожденным уродством, или этот дефект — историческое свидетельство войны в Алжире? Перерезал ли мне горло террорист в ночь на 31 декабря 1999 года в Хад-Шекале, или это след от автомобильной аварии, о которой я забыла? О чем свидетельствует моя канюля, если посмотреть на нее в зеркало? Что я родилась немой? Или что я потеряла голос из-за раковой опухоли или нарушения работы

щитовидки? Когда после войны выживает лишь один человек, эта война превращается в плод воображения, то единственное место, где идет его битва.

26

Это маленькая площадь возле марокканского консульства. Видишь памятник погибшим в войне против Франции? Позади меня скучающие фотографы выискивают клиентов, желающих увезти с собой память о волнах. Передо мной, под большим балконом расстилается Средиземное море. Монумент представляет собой большую вертикальную плиту, покрытую цветным фаянсом, как внутри хаммама. На ней, словно плющ, вьется стихотворение, прославляющее жертв освободительной войны. Смотри, вокруг вытоптанная трава, по вечерам сюда приходят выпивать. Тут грязновато, но если какая памятная дата или государственный праздник, то становится чисто. Здесь чтят память погибших на единственной признанной войне, которая длилась с 1954-го по 1962-й. Это все, что я запомнила из уроков истории в школе. Я даже думаю, монумент остался от французов, чествовавших собственную войну, а алжирцы его отобрали и выбили имена своих убитых. Он стоит в центре площади, но никто больше его не замечает, все внимание приковано к морю. Если дети и бега-

ют вокруг, то чтобы поиграть или спрятаться за ним.

В Алжире после войны с Францией повсюду поставлены подобные памятники. В придачу к урокам в школе, именам героев в названиях улиц, ветеранам, присматривающимся к взглядам учеников; здесь ты не можешь скрыться от воспоминаний о войне за независимость Алжира. А что, если мы, выжившие в гражданской войне 1990-х годов, потребуем установить нам памятник? Как он будет выглядеть? Возможно, в виде канюли из белого мрамора на бетонном горле, опрокинутой в оранские небеса? Или будет простым, в форме пустой могилы, выдолбленной в мраморном прямоугольнике? Точно! Выдолбленный квадрат в центре маленькой площади у набережной. Неплохая мысль! А почему бы не сделать большую печь из цельного мрамора, а внутри лежат рядами новорожденные? Трупы детей, отправленные в темную пасть. Да, мой ангел, во время той гражданской войны, детали которой сейчас никто не помнит, Эмиры, Принцы преуспели в сожжении детей. Отряды воинов отправляли новорожденных в кухонные печи, вспарывали женщинам животы, отрубали головы, выставляли их на пороге дома и резали

горло девочкам во славу Всевышнего. В конце 1999 года, на исходе года и века, угасающего в шелесте бумаг и шуме ветра на крыше, две девочки завернулись в толстое одеяло с нарисованным тигром. Одна закрыла глаза и очнулась в Оране, другая никогда больше не открыла глаза.

Справа продают мороженое, дальше — полицейский участок и отель, где в прежние десятилетия шныряли проститутки. Двадцать лет назад бородачи заложили туда бомбы. Выше за поворотом французское консульство, дальше величественный отель «Рояль», мне нравится разглядывать его резной фасад, напоминающий древнюю книгу. Посмотри, на бульваре Эмира Абделькадера сидят группы мужчин, они о чем-то договариваются, подобно перекупщикам. Им лет по сто, все в морщинах, размахивают палками, но их глаза выдают, что они ревнуют к жизни других. Это ветераны войны за независимость. Им дано все, чтобы не забыть историю: флаг, тысячи фотографий погибших в тогдашних сражениях, ржавое оружие, выставленное в музее на востоке Орана. Деньги, медали, статуи, улицы, программы телевидения, песни, бесконечные биографии… Такое ощущение, что война с Францией — дама очень богатая и очень заботится о

своих драгоценностях. С тех пор как меня попытались зарезать, я ее терпеть не могу, ненавижу; она словно старшая сестра, меня вытеснившая. Та война ведет себя как единственный ребенок, присвоивший все памятные даты. Она забрала себе белый, красный и зеленый цвет, иллюминации и толпы, военные парады. А что осталось выжившим в гражданскую войну? Ничего. Ни одного государственного праздника, ни одного памятного значка, который можно было бы повесить на грудь. Разве только право на шрамы. Все, что я могу противопоставить истории войны с Францией, это мои семь татуировок, и это уже чересчур. Местные жители никогда ничего не расскажут тебе о войне, в которой убили мою семью 31 декабря 1999 года. Я часто прохожу по этому бульвару, и старики, якобы победившие французов, сидят там и подозрительно смотрят на нас, родившихся позже, словно мы что-то украли. В школе я ненавидела рассказывать об этой национальной легенде; учитель истории не понимал, почему у меня такие плохие оценки по его предмету. Ему было невдомек, что мне нужен голос для моей войны. После десяти лет кровопролития нам не досталось никаких трофеев и даже тел. И даже слов.

Одна-единственная фотография за всю войну, вечером я тебе ее покажу, когда вернемся.

Мама ее увеличила и повесила у входа, напротив масок, привезенных из Сенегала. На ней кричащая женщина с открытым ртом, лицо искажено, от боли вы будто падаете в пропасть. Она вопит, заходится долгим криком, лицо очерствело. Она похожа на иссохший, безжизненный ручей, обнаживший каменистое дно. На голове — платок. Он приоткрывает шелковистые волосы, напоминающие о ее женственности и материнском горе, но она уже больше не мать. Ее называют «Мадонна Бенталья». Бенталья — деревня в Алжире, где в ночь на 22 сентября 1997 года зверски зарезали четыреста человек. Женщину, страдающую от боли, поддерживает другая, она помогает ей прислониться к стене и разродиться чем-то чудовищным. Тот, кто разглядывает эту фотографию, сосредоточен на большом лице женщины. «Это Мадонна из Бентальи», — твердила мама, подыскивая для нее самое подходящее место на стене у входной двери. Фотография кричит, время на ней замерло для меня и для всех, и нет ничего, что вывело бы нас из оцепенения. Резня случилась в пригороде Алжира во время моей войны. Это все, что оста-

лось от нее. От другой войны находятся тысячи снимков с солдатами, женщинами, пулеметами, флагами, демонстрантами, французскими военными, стариками, детьми. Видишь? А вот нас не существует, меня вовсе, а тебя почти, ты существуешь только в течение нескольких часов.

27

Я по-своему ответила на несправедливость. Как десятилетняя девочка, которой задали сочинение, где надо было ответить на несколько вопросов по истории и географии. С аккуратно причесанными волосами, очень серьезная, заботливо одетая мамой, я решительно настроилась на урок. И вывела красивым почерком: «Для меня алжирская война началась и закончилась 31 декабря 1999 года в горах Уарсениса, а не на востоке нашей дорогой страны, в горном массиве Ореса 1 ноября 1954 года. Она свершилась в один день, который длится десять или тысячу лет, как гласит Коран, а не восемь лет, как война с Францией».

Сколько убитых? Я ответила: «Никто не знает». По подсчетам победивших, двести тысяч, по подсчетам проигравших — около полумиллиона. Убитых не считают, а уж тем более выживших, разве только если сердце еще бьется.

Вооружение? Ножи, мечети, бородачи, зимой — игра в прятки, моя сестричка Таймуша, отцовские бараны, его широкая спина, он не понимает, куда пойти и где скрыться от угроз, раздававшихся днем и ночью. В Хад-Шекале убили более

тысячи человек. Или четыреста пятьдесят три. Или несколько десятков, как писали газеты. Или никого, по теперешним подсчетам.

Какова была цель этой войны? Я ответила: «Никто не знает даже двадцать лет спустя». Вероятно, поселиться в раю, поскольку история не дала такой возможности. Или насытить изголодавшегося Бога. Или вернуться обратно в утробы наших матерей, или распределить земли, фермы и утварь после ухода колонизаторов. Двадцать лет спустя никто нам так и не объяснил.

«Как долго продолжалась война?» — спрашивалось в контрольном листе. Десять лет. Или почти десять. С 1990-го по 2000-й. Горе стирает даты и никогда их не устанавливает.

Я написала, что та война была гораздо ужаснее предыдущей, с Францией. Поскольку мы вели ее против себя самих, так же как пророки против баранов, а сновидцы — против сыновей.

Через неделю всем раздали тетради, а мне мою не вернули. На меня внимательно посмотрели, пригласили директора и инспектора. К вечеру вызвали маму. Она кивнула и набросилась на учителя истории, посмевшего ее отчитать, потом на директора, вызвавшего меня в свой кабинет. Он даже не попытался мне показать жестом по-

молчать. Лишь нерешительно и устало покачал головой и, похоже, не рассердился. Пару лет спустя я узнала, что мама воспользовалась своими связями в вилайе (префектуре) и в Ассоциации жертв терроризма, чтобы усмирить историка, желавшего оторвать мне голову, которая и так-то годами не очень крепко держалась на моей шее. Его перевели в другое место, а вокруг меня возникла аура молчания, со временем отгородившая от других детей. Возможно, они полагали, что, просверлив дыру в горле живых, заставят трещину в моей груди затянуться и покажут ее незначительность в истории нашей страны.

И поныне меня радует тот негласный скандал, позволивший напомнить им о настоящей войне. Я горжусь тем происшествием даже больше, чем татуировками и теми гримасами, что корчу ради смеха, или чувством беспокойства, которое вызываю. По правде говоря, тогда я терпеть не могла вспоминать, заучивать и рассказывать наизусть. Памятным датам предпочитала математику и цифры, их формы, их чистые, неродственные связи, ясность, что они добавляют во все, даже в ночное небо, когда требуется взять и объединить их в головокружительные суммы. Настоящие числа. Может, как раз этого нам и не хватает

в стране, где точно неизвестно, кто выжил, а кто умер. Число погибших, новорожденных, раненых, даты, количество реально прожитых дней, сантилитры, сантиметры, расстояния, вес в килограммах, уравнения, цифры, моя кровавая красота. Если бы тебе было суждено родиться, стоило бы посчитать.

28

Видишь ли, это случилось в последний день войны. 31 декабря 1999 года в Хад-Шекале, на северо-западе Алжира, когда менялись месяц, год, век. Конец света наступил между десятью вечера и четырьмя часами утра. В тот день холодный ветер должен был подняться и разбудить землю и двух девочек, меня с сестрой, но день разбился на тысячу кусочков. Раскололось зеркало Мертвого края. Осколки порой склеиваются в моей голове, но полная картина, где я смогла бы увидеть отражение прошлого, так и не появляется. Если слишком часто к этому возвращаться, порежешь руки. В каждом осколке видны деталь-другая, то фрагмент с застывшим внутри солнцем, то струйка мочи в паху зарезанной ночью девочки. Убийцы скрылись до рассвета, а мы с сестрой ни живы, ни мертвы, дрожали от холода с закрытыми от мира глазами.

В другом осколке воспоминаний с одной стороны видна чья-то голова, с другой — перерезанная шея и пищевод, из которого вырываются белесые кровавые пузыри. Глазами матери вижу, как скорая с красно-синей сиреной мчится в ночи,

чтобы я вернулась к жизни. Чьи-то руки ощупывают меня и пережимают бескровные вены. Прикасаются, торопливо раздевают, моют, переносят с одной кровати на другую. В зависимости от освещения больниц, палат и света мигалки я вижу сквозь закрытые веки, как меняется цвет и насыщенность крови. Красный становится охристым, черным, оранжевым, желтым, хотя глаз я пока не открываю. Сейчас мне двадцать шесть лет, и подтверждаю: то был последний день войны 1990-х годов, развязанной между мрачными военными и Господними бородачами.

Когда позже к нам в оранскую квартиру приходили гости, они обсуждали эту тему. И с трудом могли назвать точную дату. И тогда в гостиную приглашали меня. Я входила, а они замолкали, застыв с чашечкой кофе или бокалом вина в руке. Затем после традиционных вздохов, посокрушавшись о моей судьбе, гости мамы Хадиджи возвращались к прерванному разговору. Сначала тихо, потом оживленнее, словно в них разгорался огонь. Жестикулировали, перебивали друг друга, взволнованно продолжали и смотрели на меня, ожидая подтверждения. Они обсуждали мой последний день, действительно последний день войны. Некоторые упорно хотели его обо-

значить как дату отсчета своей второй жизни, другие делали вид, что не верят в это. Но яркое небо за окнами опровергало их слова, а блеск в их глазах отличался от света в моих. Потому что после 31 декабря 1999 года, видимо из-за кошмарной резни (за одну ночь убили тысячу одного человека; есть выражение «тысяча ночей», когда хотят обозначить несметное количество, нечто неисчислимое), алжирская гражданская война резко прекратилась. Она отхлынула после девятого вала. После этого произошли еще несколько покушений, убийств, но все как бы по инерции, их сила затухала, или из-за того, что правда не проникла в глубины сознания некоторых лесных разбойников. Либо же они инстинктивно почувствовали, что зашли слишком далеко, неся гибель, и перестали заниматься этим делом.

Знаешь, моя безымянная Гурия, тебе покажется странным, но меня мало интересует хронология событий, а также история с точными датами. Я родилась 21 апреля, а потом 1 января, то есть два раза и в разные годы. По свидетельству о рождении, где указаны имя отца (Халед Аджама) и матери (Хасния Беларби), выданному в Айн-Тареке, поблизости от Хад-Шекалы, я родилась 21 апреля 1994 года. А потом я снова родилась 1

января 2000 года, когда спасли мою жизнь, или ее половину, после жуткого убийства тысячи одного человека в нашем краю. А затем, моя прекрасная мандаринка, война прекратилась сама собой, устав от людской крови.

Как мне помнится (или воспоминание передалось от мамы? Или навеяно газетами?), в 2005 году в стране состоялось всеобщее голосование, чтобы простить убийц! Мама и ее гости рыдали и возмущались, однако в глубине души им стало легче. В тот день Хадиджа отвела меня к морю, в Оране так поступают, если не желают голосовать. Я подбирала холодную гальку и успокаивалась, словно прихватив оружие. Шла с пригоршней камней, они наполняли меня весом и превращались в настоящее бремя. Серо-голубое море, уставшее от постоянного движения, раскинулось у ног. Оно гладило своими ладонями щиколотки, а мы вглядывались в небо, пытаясь угадать, будет ли дождь, или установится жара либо, как часто бывает, ничего не случится. Огромная синева, похожая на холодящий платок, прикрывала отверстие на моем горле. Такие у меня воспоминания о дне «примирения»: ледяная пустота и мрачное молчание мамы. По дороге нам везде попадались плакаты. Они призывали

проголосовать за «примирение», положить конец «ненависти» и больше не проливать кровь алжирцев. Мама молча вела машину и смотрела только на дорогу.

За неделю до того нам в школе раздали похожие плакаты: веселый ребенок, огромное солнце, рука, сжимающая другую руку, белый голубь на флаге Алжира. На некоторых — портрет улыбающегося президента (ему никогда не перерезали горло) с поднятой рукой, он приветствует нас, далеких счастливых людей. На школьном дворе меня окружили, наблюдая за моей реакцией, а учительница, непонятно почему, испугалась, что я заговорю. Я лишь пожала плечами, убрала ранец, и мы пошли играть. Вот так, моя девочка. Война закончилась, как если бы мы перестали есть или дышать. Она исчезла, точно несносная кузина, которая пропадает вместе со своей невыносимой историей о наследстве, мести, муже-насильнике, ударах ногами в живот, и все мирятся с этим.

Помню, через год «национальное примирение» отпраздновали весьма скромно. Отметили поступок президента, его смелость и благородство, и произнесли несколько речей о мире. На третий год поступили еще скромнее, а на четвертый и во-

все ничего не устраивали. И тогда стало понятно: никто не хочет больше о нас вспоминать. Нужно было усомниться в нашей памяти. Страна не залечивала свои раны, а уничтожала их подчистую, ставила под сомнение, чтобы они улетучивались, как от сквозняка. Именно так! Честно говоря, и у меня постепенно появились сомнения, а было ли что. Я внушала себе, что рассказы, которые вела дыра в моем горле на внутреннем языке, во мне, не столь и ужасны. Видишь ли, воспоминание всегда записано на воде, песке, на том, что меняется и ускользает.

Вновь и вновь я проживала историю героя войны за освобождение, который пришел к нам в школу с рассказом о том, как в семнадцать лет он победил смерть и Францию. «В вашем возрасте я отправился на войну за свободу нашей страны». Он делал паузы, но мы хотели знать, что там происходило, и рассказ продолжался. Наверное, эту историю он озвучивал уже тысячу раз. Хуже всего было то, что в спальне вечером его речь теряла смысл и крутилась в голове как прилипчивый припев. «Да, мне было семнадцать лет, я сопровождал катибу (вооруженных людей, на внутреннем языке — группу солдат) от Орана до марокканской границы. Они продвигались

ночью в джеллабах с охотничьими ружьями на плече или с итальянскими пистолетами, отобранными у мертвых французских жандармов. А я с гордостью размахивал более мощным и надежным оружием. Оно обеспечило нам победу, нас всех спасло, помогло перейти через границу к нашим братьям живыми и здоровыми!» И ветеран замолк. Окна прислушивались к улице и машинам, гул моря доносился воем сирен и криками чаек. «Мое оружие? Ха-ха! Ветка пальмы». Потом он поднимался со стула, стоящего рядом с учительским столом, почти взмывал в воздух, наклонялся, широко разводил руками, будто низко кланялся театральной публике: «Я замыкал цепочку солдат и должен был заметать их следы на дороге пальмовой веткой, стирать знаки их присутствия, отпечатки подошв! Я спас им жизнь пальмовой веткой!» И он поднимался как в невесомости. И тут другие герои, сидевшие рядом с ним, резко встали и быстро захлопали, иначе старый начальник принялся бы опять рассказывать ту же историю.

Никак не могу отделаться, лунная моя девочка, от этой истории с веткой, постоянно о ней думаю. Прежде всего представляю себя на месте этого ветерана войны за независимость, надеясь

оставить хотя бы несколько своих следов, чтобы отомстить. А иногда воображаю, как размахиваю пальмовой веткой, гигантской, закрывающей целое небо, раскидываю все вокруг. Бегу по дороге и сметаю все, что появляется из земли или вырастает из моей памяти. Нет, не так! Я хватаю черный маркер, обвожу несуществующие отпечатки подошв, возвращаюсь, иду дальше, еще дальше, и в какое-то мгновенье где-то вдали появляется моя сестра и улыбается. Она произносит странные слова, смысл которых я не улавливаю.

Вот, моя красная звездочка. Так и с воспоминаниями: смотришь, вглядываешься, а они стираются, присваивают подробности из других, не твоих историй, перебарщивают, словно вылезающая из горшка каша. Или гаснут, и ты пытаешься придумать способ, чтобы они не исчезли совсем. Бежишь по грунтовой дорожке, и все следы путаются. Следы убийц, спасателей, родителей и близких, первой матери и второй. Не понимаю, что делать с веткой пальмы, чего от меня ждут: стушеваться, отойти в сторону, выбросить ее и начать улыбаться, одной рукой прикрывая свое горло, чтобы остановить кровь, а второй — горло сестры? Показать свою ветку с радостным смехом, гордиться, что я героиня

войны? Но какой именно? Старый герой пару раз взглянул на меня в классе, немного сердясь, что ему подсунули под нос такое чудовище. Потом он продолжил историю, хохоча и показывая тысячу и один белый зуб, будто он заново родился.

Понимаешь?

Двадцать девятого сентября 2005 года, в день примирения убийц с убийцами (так говорит моя мать), погода стояла прекрасная. Море играло своим сине-серым платком, чайки ругались в воздухе. Всех призывали проголосовать за или против относительно «примирения». «И никаких нюансов?!» — так крикнула моя мать. Никаких живых мертвецов, ампутированных, покалеченных бомбами, никаких почти зарезанных, изнасилованных в кустах и забеременевших девушек, нет права сомневаться: только да или нет. В кои веки всех заставили говорить, как приходится мне, дырой в горле. Есть будешь, да или нет? Написала текст, да или нет? Ты жива, да или нет? Вот в чем вся трагедия того дня, хотя надо сказать, он выдался счастливым. Мы лежали на песке пляжа Лез-Андалуз. Море, небо, чайки, песок, рыбацкие лодки — у них могло быть свое мнение на этот счет. Мы с двумя мамиными приятелями, университетскими преподавателями,

поели жареных сардинок. И проголосовали не за или против, а за тысячу объяснений. Заскучав, я пошла собирать вдоль пустынного пляжа ракушки, вывалившиеся из морского кармана. Я немного стала все понимать, наблюдая, прислушивалась к разговорам: еще в 2005 году, до «примирения», появились другие законы, в частности Эр-Рахмы («О помиловании»), согласно которому тысячи вооруженных террористов спустились с гор, умыв руки после всех кровавых преступлений. И чтобы не нарушать положение о помиловании, им объяснили, что не надо рассказывать о свершенных злодеяниях, и тогда они смогут воспользоваться «прощением» и амнистией (так мама говорит, она выходит из себя, машет руками; боюсь, как бы не насыпала песка в хлебную корзину). Все законы направлены на спасение убийц, их детей, семей, обеспечение их будущего. А мы все мертвы. И в тот момент я почувствовала, что задыхаюсь и умираю.

Когда я вошла в воду, в живот мне ударила большая черная волна, и стало понятно, меня тоже собираются стереть, чтобы не мешала этой истории. Я уже не героиня с пальмовой веткой, во мне видят оставшийся след. Так что, если я не хочу, чтобы меня заткнули, лучше замолчать

самой. Внезапно море схватило меня за лодыжки. Сверху птицы кричали, и мне действительно (искренне) показалось, что не сносить головы, если я попытаюсь снова заговорить и обрету голос под наложенными швами.

Как же мне забыть свою историю, канюлю, дурацкую улыбку во весь рот, как у чайки над моей головой? Хотя ты еще не родилась, но можешь ли представить, что самый жуткий страх я испытала в тот день голосования, между за и против, где для меня не нашлось места? «Повара?! Они все повара?!» — возмущался приятель мамы. Ну да, резальщики, моя смуглая красавица! Все террористы, выступавшие по телевизору в восьмичасовом выпуске новостей, объясняли, что они работали поварами там, где прятались убийцы. Разве это противоречит правде? Мамин друг смеялся, явно иронизируя, и этим доказывал свое понимание ситуации. «Им велели зазубрить. Если вы шеф-повар из зарослей, вас уже не назовут убийцей, закон вас прикроет и сотрет ваши преступления». Что, лесные Ибрахимы готовили райские яства? Поджаривали на медленном огне баранов, упавших с небес? (Так саркастически говорила мама; после многих лет и бессонных ночей эти слова стали моими.) Страна наполнилась

поварами, все повсеместно овладели искусством улыбаться в насмешку над правдой. Поваров попросили не ходить по улицам, не беседовать с журналистами, вести себя скромно («на кухне»). Это было весьма забавно. Мама смеялась и крутила пальцем у виска как безумная: «В начале 1990-х исламисты выходили на демонстрации, требуя халифата, и, пока не взялись за оружие, вопили: „Женщин на кухню!“, но потом, когда пришлось оружие сложить, объявили себя поварами».

Ну вот, моя канюлечка, теперь ты знаешь о последнем дне войны и произошедшем потом. И о том, как я осознала, что меня собираются убить, чтобы окончательно стереть ту войну с лица земли. Неделями я отказывалась смеяться с моими друзьями в школе. О моей ярости вскоре догадались, меня снова вызвал директор и объяснил, что этот закон необходим для страны. «Ради мира», — произнес он, и мне следовало бы благодарить президента за его улыбку и плакаты. Но я, маленькая никчемная зарезанная девочка, боялась, что меня убьют раз и навсегда. И молчала, чтобы обо мне забыли. Закрывала глаза, как в ту ночь на 31 декабря 1999 года; притворялась по-настоящему мертвой, чтобы наступил рассвет и меня спасли. Понимаешь, моя голубая сардин-

ка, свернувшаяся в моем чреве? Мало-помалу последний день войны растворился. Говорилось о сотнях «раскаявшихся», показывали детей террористов, рожденных в лесах, произносили проповеди в мечетях страны. С минаретов вопили, что им надо все простить, и потихоньку последний день войны стерся из памяти.

«А что с первым днем?» — спросила бы ты.

29

Когда все началось? Никому не известно. «Это случилось в 1982 году, когда группа Буяли (на моем внутреннем языке — Эмира; предводители убийц назывались Эмирами или Принцами) напала на казарму в Буфарике (городок рядом с Алжиром), отрезала голову одному пожилому военному, а потом украла оружие». Гость, актер из оранского театра, замолчал. Затянулся потухшей сигаретой и продолжил: «Это случилось в ночь на 27 августа. Вроде бы!» Видишь, в этой войне, которая в последние годы уже начала стираться из людской памяти, нет ничего неоспоримого. Я обнаружила, что свидетелям все труднее вспоминать точные даты, имена погибших, доказательства, и с годами это усугубилось, будто прошла песчаная буря, но без песка.

Когда доктор Абду, друг мамы, судмедэксперт, устраивался на нашей коричневой софе, он нередко улыбался чему-то невидимому остальным и забавному для него. Ему необязательно было поддерживать оживленный разговор. Он напоминал третью маску в гостиной, привезенную из Дакара, словно упавшую со стены прямо ему на лицо. В

тот день он презрительно рассмеялся и помотал головой. «Нельзя считать началом войны провал небольшой группы. Нет, полагаю, она началась 11 января 1992 года. Это запротоколировано, проверено и проанализировано!» Такая категоричность вызвала возмущение. «Вы говорите об отставке Шадли Бенджедида? Ну уж нет. Это все равно что приписывать слабому президенту смелый поступок», — возразила педиатр, мамина подруга, сухая женщина с желтыми волосами и живыми глазами. Абду на мгновение замолчал, а потом, не услышав других аргументов, продолжил: «Президент сложил полномочия, а ночью мы все услышали с верхушки минарета призывы к священной войне, джихаду. Разве нет?» Он окинул взглядом каждого из слушателей как ненадежных свидетелей. Никто ему не возразил, и живая африканская маска довольно улыбнулась.

Когда у нас собирались гости, чтобы обсудить тот первый день войны, который волновал меня, точно он был тайным днем моего рождения, я их внимательно слушала. Истина так и не обнаруживалась, но меня интересовал сам бесконечный путь потерянного ребенка. Этот неуловимый первый день — великая загадка. Гости собирали

его доказательства: призыв к джихаду в 1988 году, появление на улицах людей в камисах, женщины с открытыми лицами, обезображенными кислотой (их хотели принудить надеть паранджу, наказывали за неповиновение Всевышнему), сожженные бары, убитые в спину на рассвете в проулке журналисты. Гости делились и другими уликами: страшный взрыв рядом с полицейским участком в Алжире в августе 1992 года, бомба, брошенная в столичном аэропорту, отрезанные головы, запрет курить и ездить в транспорте женщинам вместе с мужчинами… Разумеется, моя девочка, трудно сказать, какой день войны первый. С датой начала той войны, о которой нам твердили в школе, все ясно как день: 1 ноября 1954 года. Окончилась она 5 июля 1962 года, теперь это День независимости Алжира. А что же с моей войной? Неизвестно; ее голова отделена от туловища. Туловище выжило и породило детей, ходящих по улицам.

От этой войны остались только гости, сидящие в нашей белой гостиной, и все менее требовательные тени их друзей, убитых в Оране. Гости вспоминали о них, хмуря брови, и вздрагивали от мысли о близости смерти. Уже тогда я поняла, что на войне, когда речь идет о подсчете погибших,

можно сосчитать до десяти, по пальцам рук, поднятых к люстре на потолке. Только десять имен перечисляют не задумываясь, на одном дыхании. А дальше все на ощупь, пересчитывается, мы медлим и замолкаем. Не больше десяти. Впрочем, все разговоры гостей заканчивались спорами о точном числе жертв. Например, газеты сначала написали о пятидесяти тысячах погибших за десять лет гражданской войны между военными и бородачами, потом о ста пятидесяти тысячах, затем о двухстах тысячах. Споры утихли, их сменила дискуссия о верной дате начала Рамадана. Война разразилась между приверженцами смотреть на луну невооруженным глазом и теми, кто вел подсчеты по лунному календарю. Где же спрятана истина? Не знаю. Числа разлагаются, расплываются, моя Гурия, как трупы и волны. Про другую войну, что против Франции, любезную алжирцам и внешнему языку, они кричат в едином порыве: полтора миллиона погибли ради освобождения страны. Окончательная и бесповоротная цифра. Математический итог; а результат моей войны — то ли маска из Дакара, то ли ветка пальмы, то ли птица в небе, зовущая сородичей.

Признаться, некоторые точные цифры все-таки были приведены. Например, число молодых пре-

подавателей, зарезанных неподалеку от дороги, ведущей в Сиди-Бель-Аббес (город на северо-западе Алжира). Мне эта история известна, я храню газетную вырезку с фотографиями жертв. Обычно она лежит в ящике письменного стола, вон там. Погоди. Вот она. Я прочту тебе: «История возвращается. Ровно двадцать пять лет тому назад, день в день, а точнее, 27 сентября 1997 года двенадцать учителей, одиннадцать женщин и один мужчина, проживающие в основном в Сфизефе, Мостефа Бен-Брахиме, Беларби и Сиди-Бель-Аббесе, возвращались домой в микроавтобусе марки „Карсан“, завершив свою педагогическую миссию; засада была устроена группой террористов, возглавляемой кровожадным Бахри Джиллали по прозвищу Голодный волк, около города Айн-Адден, в народе называемого Шамда, в лесистом районе, относящемся к округу Сфизеф; одну за другой женщин вытащили за волосы и жестоко зарезали; учителя застрелили, когда тот попытался сбежать. Их преступление состояло только в том, что они осмелились противостоять мракобесию, как свидетельствовал единственный выживший в этой резне очевидец, шофер, присутствовавший на поминках, которого намеренно пощадили, чтобы он рассказал об этом ужасе».

Ты понимаешь? Я тоже убегаю, как тот свидетель, только я не говорю, и история постоянно вертится в моей голове, не находя выхода, невозможно соединить внутренний язык с внешним. Взгляни на лица несчастных учительниц! Кажется, их ждала жизнь без заметных событий. Разглядываю их как добрая соседка, мы смотрим друг на друга, одна наполовину мертвая и одиннадцать других, которые никогда больше не заговорят, чудовищная смерть настигла их за тысячу лье от места, где сделаны фото на удостоверения личности.

В те ночи, когда спорили об истинном первом дне гражданской войны 1990-х годов, в квартире пахло сигаретами. Запах проникал с балкона, где уединялся и курил доктор Абду, африканская маска; он разглядывал меня со счастливой улыбкой, необъяснимо кроткой, данной от предков. Все возбуждались, яростно спорили, иногда скорбно замолкали, поминая друзей, убитых за это черное десятилетие, а он вставал, шел покурить и, проходя мимо меня, кивал тяжелой головой, словно выточенной из темно-коричневого старого дерева. Казалось, только я догадывалась о сокровенном смысле его профессии. Я одна ела на кухне («Продышись заранее и не пани-

куй», — говорила мама) и ложилась спать, а гости расходились по домам. Маска заглядывал ко мне в комнату попрощаться, махал рукой, а в его глазах читалось смутное обещание. Следующий раз гостей ждали на кускус в следующую пятницу. «Спокойной ночи», — произносил он. Что же он обещал открыть? Точное число погибших за те десять лет; уверена, он наверняка его знал.

30

Доктор Абду много пил; потом засыпал и во сне улыбался, а друзья заботливо за ним присматривали. Мне он тоже нравился, потому что смотрел на меня не как на открытую рану, а как на сподвижницу, участницу истории, о которой никто, кроме нас двоих, не помнит. Вначале я не очень понимала, в чем состоит его работа, но мама неоднократно упоминала, что он судмедэксперт в больнице Орана. «И что он делает?» Подбирая слова, мама объясняла, что он вскрывает трупы, устанавливая причину смерти, и сколь важно остановить убийц и узнать правду. Когда он приходил к нам, я разглядывала его большие руки. Представляла, как он роется во внутреннем языке, голосовых связках, кишках, животах, будто в зарослях, ищет ножи, рыб, камни, следы ручьев в крови, внутренности, а вечером возвращается домой, ужинает с женой и разговаривает о жизни.

Доктор Абду постоянно улыбался, словно просил прощения или потому, что в этой рулетке охоты и пляски смерти он нередко выигрывал. А может даже, склонившись над трупами, каким-то образом распознавал и мою судьбу, судьбу

полузарезанной девочки. Когда он повышал голос, все уважительно прислушивались, его побаивались. За ним всегда оставалось последнее слово. В спорном вопросе о числе жертв моей войны с его мнением считались. Когда в Оране поднимался ветер и шевелил занавески, Маска повторял: «Я не верю цифрам в газетах, они врут. Все врут перед лицом смерти. Правительство скрывает правду из страха, убийцы скрывают правду, чтобы нагнать ужас. Мне прекрасно известны цифры, я веду счет трупам, которые препарирую. Так что знаю. Я считаю то, что вижу, это не окончательная цифра, но она тут, перед моими глазами, а не перед кем-то еще».

Сидя на пуфе перед тихо включенным телевизором, я, девочка по имени Об, представляла его руки с тысячью пальцев, на которых он считает ночью, разгибая те один за другим, заслоняя плафон на потолке. От нежной улыбки доктора Абду у меня сводило живот. Собираясь домой, он надевал пиджак, касался меня своими большими руками, гладил волосы, и я готова была разрыдаться от благодарности. «Твои глаза лучше тысячи языков, маленькая принцесса», — доверительно сообщал он тягучим голосом. Он дотягивался руками до моего внутреннего языка,

моих швов и шрама. «Да, девочка моя, смерть — это долгая жизнь», — шептал он, сочувственно опуская тяжелые веки.

31

Последние часы приговоренной к смерти

Я крепко зажмурилась.

Это все, что мне удалось сделать в ночь 31 декабря 1999 года. И с тех пор не могу ни разомкнуть веки, чтобы жить сполна, ни снова сомкнуть, осознавая собственную трусость. Я словно незаконно владею своим телом, выжить-то выжила, но лишь затем, чтобы в панике судорожно хватать ртом воздух через канюлю. Если коснешься меня, ощутишь холод, несмотря на огненные татуировки и чрезмерную мамину теплоту. Даже любви, переданной мне твоим отцом в рыбацкой хижине, недостаточно, чтобы согреться. Как и прекрасных простодушных улыбок того, кто посеял в меня свое семя. Слышишь, как этой ночью по всему Орану блеют связанные бараны, глядящие в небо, а вот той ночью, когда я зажмурила глаза, на нашей ферме в Хад-Шекале не кричало ни одно животное, слышно было только безумное пение мамы.

О чем тебе поведать? Как только я ухожу по своим внутренним зимним дорогам и пытаюсь

восстановить ту злополучную ночь, снова предстает та самая сцена. Помню, было холодно, меня с сестрой укрыли тяжелым шерстяным одеялом. Сестра дышала рядышком. Каждая прислушивалась, как другая притворяется спящей. Не сомневаюсь в этой первой картинке. Еще храню следы беспокойства, далекий шум ветра над крышей, неведомую тяжкую тишину полей. Звери и птицы обычно переговаривались и галдели у нас над головами, крича и шумя. Точно не знаю, спали мы или притворялись, размышляя о нашей судьбе. Уже несколько дней две девочки тревожились из-за зловещего молчания родителей. Они спорили до хрипоты и замыкались в себе. Зимой по ночам на ферме, сейчас ее называют Мертвым краем, часто раздавался лай собак, скрип металлической крыши сарая, а иногда где-то очень далеко чей-то крик. Но той ночью почти не слышалось звуков; встревоженные необычной пустотой, мы никак не могли заснуть.

Наш дом стоял на вершине первого холма, над деревней Хад-Шекала. Холмы вздымаются там как волны, надуваются и подымаются вновь, а затем достигают горы, первой в массиве Уарсенис. Во время войны за независимость там укрывались солдаты и вели борьбу против Франции. В

1990-е годы туда явились Эмиры и обосновались в тех же укрытиях. Наша ферма располагалась посередине, между дорогой, связывающей деревню с остальным миром, и громадными горами. Мы жили в пяти километрах ходьбы от деревни. Ближайшее селение называлось Сук-эль-Хад, «воскресный рынок» на моем внутреннем языке. Скотоводы, вроде моего отца, спускались туда, чтобы продать свою скотину, пастухи — взять животных на сезон, другой для выпаса на скудных горных склонах, а жители долины — продать урожай и посуду. Зимой этот мир затихал, сжимался, будто в ракушке, прилипшей к земле, в ожидании солнца, чтобы снова начать шевелиться. По ночам жители согревали себе кровь воспоминаниями прошедшего лета. История деревни сводилась к рождениям и смертям, связывающим поколения. В округе раньше жили, как я полагаю, бедуины, державшиеся на расстоянии. Мама однажды рассказала историю своего народа аджам, «чужаков», названных так, потому что они пришли издалека. Мы не знали, откуда она родом, у нее на лице были татуировки, и, когда она вспоминала родителей или братьев, в ее огромных глазах отражались то ли мечты, то ли обиды. Ее манера молчать и презрение к нашему

отцу позволяли думать, что когда-то ее семья владела стадами и землями. А он был бедняком и в отличие от нее не имел предков-землевладельцев, живших в достатке, прославлявших жирной пищей местных святых и отмечавших праздники урожая.

У меня не осталось ни одной маминой фотографии. Вместо лица — набор разрозненных черт: серо-зеленые глаза, тревожная, сухая, подобная вади, улыбка, утраченный запах, как у тяжелых ковров или старинных сундуков. Теперь ее не узнаю. Вспоминаю, как жаркий счастливый день, но когда невозможно поклясться, что ты своими глазами смотрел тогда на солнце. Помню, она любила лошадей. Даже некую лошадь помню, а может, ее пот или ржание (разве это не память памяти?). Мне снова чудится, что летом, запыхавшаяся, мама говорит, как бегала все утро, считая ворон. Или эту историю рассказала сестра? Может, сестра никак не хочет исчезнуть из моей памяти? У нас был скот, мы этим жили. Бараны. Отец был фермером, продавал скотину, как и все в округе. Уверена ли я в этом? Нет. Запахи животных стали образами, смешались с вонью последних дней в Оране: мочой скотины, затоптанным сеном в стойлах.

В тот день, 31 декабря, холод был нестерпимый, а мы с сестрой носились друг за дружкой по полям, меж голых деревьев: цератоний, олив и высокогорных платанов. Пастухи с других холмов издалека смотрели на нас. Я и поныне ощущаю кожей морозное небо. Мама молчит, не поет, как обычно, мы прислушиваемся и следим за скотиной. Отец говорит, что нашел собак мертвыми и разрубленными на части, что видел какие-то следы прямо у нашей колючей изгороди. Потом он замолкает, мама шевелит угли, и в беспокойной ночи распускается другая ночь, более плотная, сгустившаяся. Мы с сестрой прижимаемся друг к другу.

Эти воспоминания, чтобы доказать, объяснить, дать тебе понять, что если я и убью тебя, то только потому, что ты не можешь расти в мертвой утробе. Все, о чем я рассказываю, у меня внутри: та зима, ночь, голые деревья, сомнение, трупы собак, пропавшая мамина лошадь. Закрываю глаза, и воспоминания поднимаются, наступают шеренгой. Хотя не нужно заходить далеко. С ними я ненадолго, иначе в них пропаду, они меня поглотят, взор затуманится, и все замутится, словно я тону.

В тот год нас с сестрой что-то постоянно беспо-

коило. Сердце начинало биться, мы настораживались и слышали, как за фермой кто-то ходит, но это еще не воплотилось в реальность, еще не наступило 31 декабря. Помню только мамин голос, в последнее время она, раненная какой-то неведомой обидой, все чаще вопила, рыдала. Иногда повреждала наш скудный скарб, отец застывал на пороге, а с ним замирало и время. «Они забрали себе лучшие наделы, а мне оставили неродящую землю», — кричала она, и все меркло вокруг нас и у нее в голове. Братья и дядья присвоили себе земли ее отца около Айн-Тарека, самой большой деревни к западу. Отец постарел, вижу его согбенную спину, как он сидит у входа на ферму и курит. Он не ведал, куда нам податься. Ночь же от ужаса всякий раз голосила: поспешите спастись. Думаю, мы оказались в ловушке.

У Хадиджи даже под пытками не выведать никаких подробностей, чтобы дополнить мои воспоминания. Судя по рассказам местных, кто выжил, в тот год днем на ферму являлись военные из казармы Айн-Тарека (деревни на склоне вдоль дороги) и доставали отца. Они подозревали, что он работает проводником и снабженцем у

террористов, исламистов «Катиба»[3] из Уарсениса. А по вечерам нам наносили визит бородачи, желавшие, чтобы отец сознался в предательстве.

Внизу зимой тек ручей. Когда родители умолкали, мы с сестрой на него смотрели. У нас не имелось ни настенных часов, ни наручных. Время было неуправляемым, бежало вперед, отходило назад или попросту застывало. Ручей бежал через головы крестьян, через деревню, выстроенную по берегу, через дома. По средам в Хад-Шекале устраивали рынок, помню, навоз на земле приглушал его гул и шум. Представляю игроков в карты, склонившихся над опрокинутым ведром, и сласти, розовые и оранжевые. Мы чувствовали, что отцу некуда деваться, только в собственные мысли. По ночам он долго бродил вокруг фермы, что-то разглядывал, возвращался, останавливался и так без конца. В ту зиму мы не могли уснуть, и я не продвинулась ни насколько в моей памяти. Снова приходили те люди днем, а ночные визитеры не давали уснуть, мы голодали, все больше напоминая деревья, скованные холодом и обнаженные. В своей голове мама гналась за лошадьми и все громче пела. Замерев, мы

[3] Примечания: 3

Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

сидели на кухне вокруг очага. Животных рядом не стало, и ночь без них казалась безмолвной. И вот однажды ночью это случилось, поскольку все к тому шло: мы вынуждены были голодать, походили на виноватых баранов, упавших с небес. Почему мы не убежали? А куда? Отец уверял, что от судьбы не уйдешь. И на что жить? Куда деваться с сумасшедшей женой и двумя дочерями? Может, он надеялся, что его самоотверженность, ответственность оправдают его в глазах обеих сторон, как военных, так и Эмиров. Или же он считал, что, если стоять на месте, убийцы не подойдут.

Помню, в последний день отец стоял в поле и бросал камни подальше. Мать кричала: «Вор! Это мои камни!» Я поняла сразу, родителей более нет средь живых, слов не понадобилось.

Это случилось ночью. Я не знала, в какой день, год или век. Позже мама Хадиджа назвала мне точную дату.

Когда это произошло, я зажмурилась. Смерть предстала в виде тысячи людей, они шепчутся, прикладывают палец к губам — тсс! — проходят дальше, бормоча что-то невнятное, вглядываются в темноту комнаты, где две девочки завернулись

в нарисованного на теплом одеяле тигра. Одной восемь лет, она высокая, худенькая, смех защищает ее от кусачих собак, жалящих ос, холода, материнских побоев и колючек. Второй — пять, старшая сестра ей за мать, за отца и сестру. Они молчат и слушают, как землю колеблет топот вошедших. Послушай и ты. Для этой истории нет ни внешнего языка, ни флага, ни установленной даты, в любой момент ее можно опять пережить. В ней нет рядов напыщенных ветеранов и фотографий. Видны только дыра и шрам на шее — «улыбка». Шаги, потом обрывки разговора, опять шаги, теперь ближе. Когда они подошли к нашему матрасу, я ощутила тяжесть башмака на одеяле и противную вонь, хуже, чем от бараньих шкур, что выветривают на солнце. Я еще крепче зажмурилась, иногда это помогает: опустишь веки — и опасность исчезнет. Утром просыпаешься и ничего не помнишь. Одна не убитая ими собака залаяла и не смолкала всю ночь, будто ее выгнали из дома. Почему мне кажется до сих пор, что те люди — лошади? Лошади взмывают, мне видится странное солнце в руке, лампе, женском платье, юбке с поясом, гильзах от ружей. Меня резко потянули за ноги, прежде чем придумала объяснение. Потом одной рукой схватили за во-

лосы, и моя голова, мое убежище, рухнула на пол рядом с постелью. Кто-то наклонился, я ощутила его дыхание на своем лбу и запах падали.

Он шепчет на ухо подельнику: давай побыстрее; но это продлилось двадцать один год. Когда тебе режут горло, даже не верится и не больно, словно дверь распахнули, впустили зиму, отчего холодно в животе. Открываю рот широко. Различаю треск то ли сломанной косточки или карандаша, то ли ветки. Кажется, это моя гортань. Хочу крикнуть, но в горло льется струя чего-то горячего (моей собственной крови?). Внезапно меня осеняет: у меня пропал голос. Паника. Сучу ногами, как утопленница, стараясь вцепиться в руку, схватившую меня за волосы, но захлебываюсь. Вижу мелкий ручей в Хад-Шекале, мертвую курицу, руку сестренки, раздавленную башмаком.

Из горла в живот катится ледяная волна. Открываю глаза. В растоптанной темноте сестра произносит какое-то слово, которое напоминает всхлип, наверное, умоляет или стонет. Нависший надо мною мужчина уперся коленом мне в живот, он ворчит из-за ножа и отсутствия времени. С удивлением поворачивается к сестре, вижу его гнилые зубы, блестящую пену слюны

на бороде и отблески лампы его сообщника. Он не закончил работу; говоря: «Во имя Всевышнего!», поворачивает мою голову на восток, где еще прячется солнце. Он в ярости, а я пытаюсь молчать, чтобы не разозлить ни его, ни его нож еще больше; он тащит меня за волосы. Сестра, видимо, уже несколько часов смотрит на него широко открытыми глазами, как завороженная, что-то внушая ему, безмолвно с ним переговариваясь. Удивительно, он ослабляет хватку. В груди ужасная боль, я захлебываюсь горячей кровью, что льется внутрь тела. Нам кажется, затишье значит, что ничего не происходит, а если получше зажмуриться, то и утро настанет — его вытащат за золотые волосы. Отчетливо слышу, как сестра зовет того мужчину, он отпускает меня, повернувшись к ней; слышу борьбу, словно они перетягивают на себя одеяло с тигром. И некуда податься.

Пока двое мужчин переругиваются, сестра что-то произносит, но слова теряются в шуме водопада из ее горла. Зажмуриваюсь, и в голову приходит самая безумная, дурацкая мысль. Принимаюсь считать, хотя все булькает. Ловлю пристальный взгляд сестры, опять закрываю глаза, словно внутри мне надо проделать дыру,

канаву, тайную дверь. Я описалась, чувствую, как ледяная струя течет по ногам и обжигает. Мне неловко, наверное, я провинилась, думаю о маме и ее причитаниях. С улицы слышится пение, но теперь мама требует что-то другое, а не надел земли. Она поет, умолкает, снова поет, вновь замолкает, продолжает опять. Ее голос настолько прекрасен, что мне хочется петь вместе с ней разрезанным горлом. Может, если открыть глаза, отец объявится и они всего лишь заберут наше добро. Один из них сдавленным шепотом произносит чье-то имя, я притворяюсь, что мертва. Еще немного, и я буду мертва. Убийца виден мне в свете фонарика. Он поворачивается к сестре и перерезает ей горло одним отточенным жестом. Она будто заливается смехом, не может больше рукой его прикрывать, повторяет мне что-то, но я не понимаю. Раздаются громкие крики, в хаосе моих чувств до меня доносятся пение, прекрасное, как давние встречи, и запах дыма. Душегуб старается правильно принести жертву Богу, ему трудно, сестра старше и сильнее сопротивляется, я понимаю это по одеялу, ползущему к ней.

Я замерзла как речка, скованная зимой где-то между двумя деревнями; знаю, если открою глаза, головорез увидит, что я еще жива и что

лезвие не прошло насквозь. Думаю о прошедших праздниках. Вдалеке мама поет, прерывается, снова заводит в ночи старинный печальный напев. Одеяло с тигром пропахнет мочой, все закончится. В нижнем поселке молчат, ни слова, жители поднимаются наверх, как мурашки у меня по ногам. Если тебя зарезали, надо ждать. Потом вроде как засыпаешь. Всех ощущений не помню, но в какое-то мгновенье лишаешься рук, а ноги шагают по несуществующим ступеням. Я спотыкаюсь и падаю на лестницу, хотя видела ее только в деревне. «Тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять…» Если открыть глаза, он вернется ко мне. А если не открывать? Сестра что-то ему повторяет. Ее голос тонет в непостижимой воде. Мама перестает петь.

32

Вот что случилось, но никогда не случалось. Нигде. Записано только шрамами и тату. Такие истории не для истории. Ни книг, ни ветеранов, ни памятников в отличие от алжирской войны за независимость. Полагаю, в газетах писали об итоге резни в Хад-Шекале: больше тысячи погибших за одну ночь. А затем, ведь жизнь длинная, невозможно глотать бесконечные цифры, чтоб не тошнило, число сократилось. Однажды Хадиджа показала мне заголовок в газете «Десятки погибших», курам на смех, тоже мне журналисты. Дотронься вот тут, около левого уха. Это моя знаменитая «улыбка», которая заставляет людей замолчать. Мои прекрасные золотистые глаза их не выручают.

В ту ночь 31 декабря 1999 года нас решили наказать бородачи из вооруженных исламистских группировок; а заодно и «дневные» люди, по-своему. Месяцем ранее нам отключили электричество, обвинив в поставке его террористам для производства бомб и сварки деталей. Мы оказались между тьмой и холодом солнца. Тяжкое испытание на пике зимы, оставалось лишь

камням уподобиться и завернуться в молчание. Сестры. Отцы. Матери. Волосы развеваются по ветру в красных отблесках костра. Мы уклонялись от тех и других, кто из них тогда наставлял на нас оружие. Долгая война подходила к концу, времена были смутные, чувства в стране притупились. Кто кого убивал? Даже Эмиры уничтожали друг друга, одни потому, что разуверились в Боге, другие же оттого, что устали от предательств и подозрений соратников.

Ни журналисты, ни государство так и не объяснили, не изучили события той ночи в Уарсенисе. Насчитали тысячу трупов, потом усомнились в их количестве и смысле обращения, оставленного головорезами в кровавом месиве. Зачем эта резня? Неужели она означала, что изверги желали конца света как воздаяния за свою бойню? Хадиджа рассуждает, задумываясь. Ее голос становится назидательным, будто дает мне знать, что препарирует мою живую плоть. Ей понадобилось десять лет, чтобы завершить рассказ и воссоздать недостающие фрагменты в зеркале, где мое отражение уродливо и отделено от остального тела. «Дневное государство», названное так крестьянами и скотоводами горного края, располагалось в казармах у подножия

ближайшего массива. У страдающих от голода, страха и холода солдат копились недоверие и ярость по отношению к местным скотоводам и населению Уарсениса. Нас обвиняли в сговоре с террористами, которых за это десятилетие нарекли «Танго». Подозревали, что мы их кормим, обогреваем и даем кров. Злились на нас и желали нам смерти. И было «ночное государство». Вооруженные исламские группировки. В конце столетия они пришли отовсюду, чтобы укрыться в наших горах, отнимали наших баранов, убивали «предателей» и твердили, что все так, как при французах. «Есть битва Господа и есть предатели, вы за кого?» — вопил их командир с глазами безумца. В этой неразберихе между жизнью и смертью мы сами не понимали, где находимся.

Так продолжалось несколько месяцев, пока однажды одна из сторон, одно из двух «государств» не решило покончить с неприметными людьми, сидящими неподвижно посреди каменистых полей. Тридцать первого декабря оно разделилось на десять отрядов, и глубокой ночью те зарезали сначала собак, лошадей, всю скотину, даже кур, чтобы напасть в полной тишине. Семь поселений, двенадцать племен были истреблены. Потом дело дошло до людей, до нас, моей сестры и меня,

лежащих под одеялом с вышитым бесполезным тигром. На другой день в нижней деревне метались потерянные жители. Они прижимали к себе кастрюли, мертвых куриц, истекающих кровью собак. Мы перешли через реку, направились в горы, поднялись по дороге и нашли там следы бегства. Стало сразу понятно, как менялось час от часу состояние души выживших в роковой ночи. У подножия горы валялись кухонная посуда, одеяла, даже пакеты с манкой. На середине склона были разбросаны предметы потяжелее: сундуки, ковры для торжественных случаев, а также туши дохлых животных. Выжившие, спасаясь бегством, избавлялись от того, что их тяготило. Мы поднялись дальше, и тут серое небо заволокло души свидетелей: мы наткнулись на трупы. При виде изувеченных собак и людей, рук и внутренностей, особенно отрубленных голов, смотревших какая на небо или на убийцу, а какая в свои воспоминания, все лишились дара речи. Опрокинутые черепа, обтянутые серой кожей, с вывалившимися языками были раскиданы поодаль от окровавленных обрубков шеи. Земля почернела и замерзла, убийцы варварски вытоптали почти всю траву.

Над облысевшими горами нависла тишина

(голос Хадиджи дрожал, как пламя свечи), которую никогда больше не заменит ни пение, ни дом, ни очаг. Утром первого января обнаружилось, что вырезали все племена. В окрестностях нашей фермы за одну ночь убили около тысячи человек. Страна содрогнулась от этой цифры, сказала Хадиджа, и голос ее словно пытался вытащить шипы из этих слов. Никто не поверил. Так обычно говорится в сказках или передается подобно слухам, так бывает в описаниях рая и мифических битв. Уверенно заявляли, божились, что в войне против Франции полегли полтора миллиона человек, но тут тысяча показалась числом нереальным. Его уменьшили. В одних газетах появились «десятки погибших». В других «323 погибших». Еще где-то «212 погибших». А подчас вообще не считали. В делах любовных и для несметных богатств счета нет. По прошествии многих лет Хадиджу по-прежнему перекашивало от стыда и позора. Я тоже не верю в точные подсчеты. Время предстает общей картиной. По-моему, каждый в определенный момент навсегда застывает в неком возрасте и непрестанно к нему возвращается, если не решится жить дальше, родить себя заново.

Эта цифра со всей очевидностью и убедитель-

ностью опровергалась, убавлялась, сокращалась, подправлялась, сжималась, пока через десять лет не осталась одна я. Меня обнаружили утром с зажмуренными глазами, чтобы убийца не догадался, что я жива, вместо меня он зарезал сестру. Она воплощала собой жертвенного барана. Вокруг меня толпились, орали, щупали пульс, потом унесли. Мама Хадиджа оказалась в госпитале Релизана в качестве волонтера, она нашла меня, умирающую среди привезенных туда выживших. Она шла рядом с носилками, не спускала с меня глаз, села со мной в машину скорой помощи, поехала в Оран, где мой случай сочли безнадежным и решили на рассвете эвакуировать меня в более крупную больницу. Она поняла, что я попала прямиком ей в лоно по воле судьбы кровавым путем. «Ну да, я была там. Хотела поддержать, помочь, участвовать, бороться», — она мысленно подыскивала аргументы и терялась в них. Она снова вернулась в собственную историю удочеренной сироты, желавшей улучшить мир, опекать птиц, тех, кому перерезали горло, голых детей, чаек, баранов, всех, у кого два языка и дыра, мешающая им поведать свою историю.

Прости меня.

33

Последние минуты перед наступлением ночи

Таймуша. Уменьшительное от Фатимы. Так звали дочь Пророка. И тут разбитое зеркало, босые ноги той ночью и нож в горле. Сестра кажется мне огромной, когда я смотрю на нее сквозь стволы деревьев своими детскими пятилетними глазами. Она смеется, словно убеждая, что мир хорош, как мякиш горячего хлеба. Показывает мне кузнечиков в кустах. Широкий лоб, тонкие черты лица, смуглая кожа, доставшаяся от предков. У меня кожа бледная. Мы похожи на отца, если взглянуть на его лицо, а не на сгорбленную спину, когда он следит за пугливыми баранами. Таймуша постоянно придумывала разные игры: то с разными рыбками, то плела колоски, то прокладывала русло реки, она мастерица ловить ночью звезды в стакан воды. Она обожала оставлять следы: на тропинке, в грязной зимней слякоти, в золе на кухне, чертила их кровью баранов, зарезанных отцом. Даже сейчас, когда я одна и мне нечем заняться, клянусь тебе, я вижу ее следы. На стенах с облупившейся краской,

в облаках, море, на спине лошади. Помню ее руки. Заметные, как дополнение к ее словам. Она радовалась жизни, напевала в одиночку, а мать смотрела на нее будто на чужестранку, приносящую беду. Ее, похоже, любили животные. Хочется верить. Мы часто играли в полях около фермы. Прятались. Считали. Раз, два, четыре, двадцать. Я бежала, залезала в какой-нибудь пролом, находила изгородь, темный угол в сарае, а она делала вид, будто меня не замечает, закрывала глаза, считала, уходила подальше, а я дрожала от радости, потом она возвращалась, волновалась, притворялась, что так испугалась, садилась, и тут я вылезала, чтобы ее рассмешить.

Полуживую, меня нашли в углу, под деревянным сундуком матери, где она хранила толстые одеяла. Я проползла туда вдоль красного вади. Там я часто укрывалась, когда мы играли в прятки с сестрой. В одной руке у меня была голова, другой я держала тело; от сестры сначала нашли только голову. Потом по кровавому следу вышли на другие трупы. Моих родителей не удалось похоронить целиком. Впрочем, целиком так никого и не похоронили. Военные отказались помогать жителям деревни, тем пришлось самим лопатами и палками заняться погребением в

расщелины на горных отрогах.

Когда Хадиджа вспоминает о своем самом страшном гневе, она рассказывает еще одну историю. Первого января 2000 года, обнаружив последствия резни, сожженные поселения, дымящиеся останки изувеченных тел, все растерялись. Решили трупы свалить в колодцы, а когда колодцы переполнились, остальных бросили в канавы, по которым стекала дождевая вода. Через месяц пошел ливень, стоки размыло, голые зеленоватые трупы скатились в деревню, и потоки воды вынесли их на порог бедных хижин. Снова вырыли могилы и захоронили, потом из-за наводнения они опять всплыли, и так повторялось, пока всем не надоело опознавать останки мертвецов. Чем история закончилась, я не знаю. И Хадиджа тоже.

Меня разрезали от уха до уха. Как полагалось. Но мясник упустил свою жертву. И я выжила. Меня привезли, Хадиджа со мной носилась, кричала, металась, рыдала, прижимала к груди, всех подняла, чтобы меня зашили в госпитале Релизана; я выжила благодаря ей, ее настойчивости, она не отходила той ночью от измученного персонала. Я немая, лишенная голосовых связок, у меня нет слов, чтобы закончить эту историю. С дырой в

горле и огромными глазами. Мне сделали трахеотомию, чтобы я снова могла дышать, и хирурги нарисовали дьявольскую улыбку, пришив голову к шее. Вот уже двадцать один год, как эта улыбка затыкает рты. Глупая улыбка, широкая, как радость, счастье, издевка. Она тянется от уха до уха, каллиграфически выведена под подбородком, аккуратная и бессловесная; разрезает язык пополам; воссоздает радость, когда той больше нет. Мама Хадиджа назвала меня Об, бросив вызов двум ночным судьбам: моей и ее. Имя из моей прошлой жизни кровоточило, пока не иссохло; о нем вспоминает лишь сестричка Таймуша, когда ко мне приходит во снах. Другого имени больше нет, мой зародыш, моя уже скоро выскобленная ракушка, стрекоза без крылышек, душа в душе моей, алая искорка, голос в словах и сами слова, ухо, которое наконец-то нашел мой язык. Ты меня понимаешь?

Я умерла в пять лет, а ты умрешь сегодня вечером или завтра утром, до маминого возвращения. Завтра зарежут баранов, я проглочу три таблетки, и ты освободишься. Я бы тебя любила. Девочку, которая говорила бы, говорила, говорила без конца полтора миллиона ночей подряд и рассказала бы все за меня, как книжки передают вместо тех,

кого уже нет. Клянусь тебе, девочка моя, я бы этого очень хотела. Слышать тебя, видеть, как ты хохочешь и зубки блестят на солнце, обнимать тебя крепко, обретая собственное тело, любить так, что оба языка слились бы в один, болтающий без умолку. Прекрасный язык в твоих устах, густой, мощный, как вода из крана, источник, дождь, точно море в твоих глазах и небо в груди, какие помогли бы словам натянуть паруса. Но в Оране сгущается ночь. День жертвоприношения начнется с утренней молитвы. По всему городу мужчины возблагодарят Всевышнего за баранов: их надо зарезать, за женщин: их надо держать в узде, за мир: его надо очистить, платья надо выбросить с верхнего этажа, духи — запретить, проституток — насмерть забить. Не плачь, моя девочка, это очень вредно для канюли и трансплантата. Таймуша, я, зажмурившись, ослепла для блеска мира, ничто с тех пор не трогает моего сердца; потому что я струсила, притворилась мертвой, чтобы убийца отвлекся на тебя, а я бы выиграла время; и выиграла двадцать один год. Спряталась и не расслышала, что ты твердила, из-за шума в залитых кровью ушах. Сколько раз я пыталась извлечь эти слова из памяти, но помню лишь смутно, что происходило в тот миг. Не услы-

шала. Я не должна была выжить. И ты, малышка моя, ждешь, что я подарю тебе жизнь? Один стакан воды — и ты отправишься к непонятно кому и повторишь, что тебе хотелось бы очутиться в другом животе и появиться на свет. На что ты надеешься? Жить в этой стране? Здесь нет ничего. Так и представляю, как ты отвечаешь: «Хорошо, но с той стороны мне тоже ничего не видно. Я хочу жить». Ну уж нет! А на рассвете завтра

я возьму стакан воды и…

Часть вторая. Лабиринт

1

20 июня, 5:45, на выезде из Орана

«Ты проснешься у врат лабиринта»

Странно разговаривать с тем, кто не знает эту страну. Кто живет по другую сторону небесного свода. Кто подчинен иным правилам, следует другим временам года. Кто знает обо мне всего ничего, опознает лишь биение моего сердца, шаги, мое настроение. Кто слепо идет за мной, не чувствуя страха, в сумраке ночи, кто прислушивается ко мне, когда мир слишком громко шумит. Кто-то вроде тебя, так и не снизошедший на землю, кто не ведает, что внизу и наверху есть небо и что такое настоящий пожар. Сначала надо бы выбрать имя тебе, пока мы вдвоем, ты взаперти, я — неразумно отправившись в путь. Ты ведь знаешь, меня зовут Фаджр, Об. Тебя называю я Гурией. Но не стоит привыкать к этому имени. Тебе ведь осталось жить всего ничего.

2

11:09

«Войдем»

«А ты что тут делаешь?» Он орет (кем он себя возомнил? полицейским?), стоя спиной к свету, и его обветренное лицо бледнеет. Брови сдвигаются и становятся похожими на рога. Угрожающе машет рукой. Я пячусь, отступаю, и он постепенно отходит. «Тебе нельзя здесь оставаться!» Он произносит слова, чеканя каждый слог, как обращаются к детям, и мне любопытно: так ведут себя отцы и мужья? Он замирает, в глазах застарелая тревога, это меня и смущает: ему страшнее, чем мне. Кого он боится? Я девушка двадцати шести лет, волосы растрепаны, следы побоев на щеке, в порванной блузке и, хотя лето, с тонким платком на шее. Босиком, стою на сухой земле, на краю дороги в Алжире. Оборванка, бормочу что-то под солнцем, а все в стране уже сидят по домам, в экстазе от крови зарезанного скота. После одиннадцати великий праздник отмечался везде, но не здесь.

Мои лохмотья могли бы страху нагнать. И «улыбка», конечно. Но, видимо, дело не в этом: его пугает другое. Он тычет пальцем в меня, чтобы указать на вопиющую ошибку: пустынная широкая автотрасса подтверждает его негодование. Затем он замечает мою канюлю, вылезшую из-под платка. Левое веко приподнимается, любопытный взгляд впивается в рану и распахивается широко. Он видит, что я готова дать деру, и передумывает читать мне нотацию; мы тупо смотрим друг на друга, как пуганые звери.

«Могу высадить тебя в ближайшем городке. Если тебя обокрали, там есть жандармы, они помогут». Самая близкая точка — Уэд-Тлелат. Я как раз оттуда. В жандармерии была. Наверняка это еще один полоумный, тоже насильник; мои ноги горят и ноют, но готовы с места сорваться. Побегу через поля, спасая тебя, моя Гурия с настороженным слухом. Прикидываю расстояние и время, которое ему понадобится, чтобы меня схватить. Мы убежим, скроемся, никто нас не найдет, ни Бог, ни Пророк, ни жандармы. Я медленно отступаю к полям, незнакомец замирает на месте.

И тут с водителем происходит то, что я никогда не могла бы вообразить.

Поднимается ветер, а ты, лунная моя девочка,

видишь все моими глазами. Его смуглое лицо, блестящие глаза, желтые зубы, все в нем сжимается, напоминая раздавленный плод. Неожиданно у него льются слезы, он показывает на мое горло. Заходится тысячами рыданий, издает хриплый стон. Задыхается, будто нечаянно поперхнулся, неразборчивые слова тонут в слезах. Его разные глаза плачут как два отдельных человека. «Не стой тут одна, моя девочка…» Он стонет, поминает Всевышнего, вздыхает, икает, пытается успокоиться и взглядом убеждает меня остаться. «Они сожрут тебя, моя девочка. Это волки. Бог знает что они могут сделать с тобой в этих полях. Видишь, они уже тебя укусили!» Показывает на мою шею, на выжженную равнину сзади меня, со злобными колючими зарослями. Он прекращает рыдать и вновь обретает вид обычного человека. Пристально смотрит на дорогу: «Ты не можешь здесь оставаться. Тебя, наверное, Господь послал?» Господь? Незнакомец не отрывает взгляда от меня и моего платка. И уже не так строго, почти уважительно произносит: «Ты, верно, особенный знак. Скажешь мне? Хорошо?» Он оборачивается на дорогу, словно что-то увидел. Пустынные поля вокруг изучают нас. Никаких машин, лишь шоссе, безлюдное, как если б настал конец света.

После нашего молчаливого противостояния водитель исчез в машине, открыл дверцу со стороны пассажирского места: «Смотри! Я не собираюсь причинять тебе зла. Садись, подвезу, здесь тебя не оставлю. Они тебя ведь сожрут». Голос у него жалобный, слабый, будто умирающий дает совет напоследок. Он показывает мне салон автомобиля. Вижу предъявленные им доказательства: правая нога короче левой, атрофированная, над педалью ортопедический ботинок, низ брюк подвернут. Это его волшебная белая лапка. Мой внутренний язык утихает, уловив в темноте нечто такое, чего он боится. «Садись, довезу, куда захочешь, если не договоримся. Меня зовут Аисса Герди; может, тебе станет лучше, если узнаешь мое имя». Разглядываю его. Одного глаза не видно под нависающим веком, другой уставился на меня и не моргает. Седые волосы, черты лица заостренные. «Похож на лошадь», — скажешь ты, вспоминая одно из немногих животных, что, согласно Корану, обитает в раю. «Ну давай, едем. Мы обе безумные!» Продолжим поездку в страну покойной сестры. Выскажем ей твои и мои аргументы и вернемся — каждая в свой мир.

3

11:22

«Налево или направо?»

Я человек известный. Но мне давно уже никто не верит. Понимаешь? По правде сказать (он смотрит мне прямо в глаза, устремленные на дорогу, и на шею, с которой почти спадает зеленый платок, и тянет руку, чтобы отрегулировать кондиционер), мне не нравились книги, они все воруют. С самого детства, начала моей дурацкой жизни в Батне, я просчитался. Полагал, что женитьба — ошибка молодости, а молитва — ошибка старости. Меня ослепил Господь, вернее, мать. С этого началось мое проклятие. Знаешь, если бы я умел писать, то изложил бы на бумаге свою историю! Не рассказывал бы ее на каждом углу, как идиот, которому давным-давно никто не верит. И мне не дали бы обидное прозвище, которое не осмелюсь тебе повторить.

Когда я был молод, в нашем просторном доме в Батне книги были повсюду. Знаешь, где это? В четырехстах километрах к югу от Алжира. Впрочем,

это были не книги, а огромные листья большого бесплодного дерева. Белая цератония рухнула прямо в гостиной, и нам пришлось жить, перешагивая через ветки, пробираясь сквозь листву, чтобы поговорить. Дерево не засохло, ветви не обнажились, оно не заснуло. Разве что прикрыло один глаз (*левое веко еле скрывает ироничный взгляд*). Это древо Господне тянуло из нас все соки. (*Ты слушаешь, моя Гурия? В некотором роде твое дерево, верно? «Воистину, есть в раю дерево, такое большое, в тени которого всадник может проскакать сто лет, но не сможете пересечь ее», — сказал однажды имам.*) Клянусь Аллахом, именно так я представлял книги в нашем доме. Как осень, которая никогда не кончается, бледная осень с седыми волосами, и повсюду кучи листьев, вот столько (*проводит рукой по шее*).

Понятно? В Батне мы жили на улице Независимости, пятьдесят шесть. Дом в колониальном стиле, две гостиных, с лимонными деревьями во дворе, большие окна на французский манер, как в старину, обычно закрывались по маминой просьбе. Она боялась сглаза, завистников и проклятий. Листы бумаги заполоняли жилое пространство подобно гостям, которых никак не удается выпроводить. Они мало-помалу распихивали нас по

углам, как отребье из деревень в округе. Мы с братом росли в чаще белых и серых деревьев, мятых, с помарками. Играли с ними, искали фотографии женщин на обложках, бразильских деревьев, старинных мечей, гоночных автомобилей. Но это была не просто игра, моя девочка, это была еще и война за родителей.

Листы отбирали у нас отца и соперничали с мамой, подобно второй жене, молодой и в возврате одновременно, старой и новой, подобно тысяче других жен, каждая из которых имеет собственную страницу. Книги, казалось, даже посягали на его ложе, по ночам пререкаясь с отцом — хи-хи! (*Когда он смеется, его плечи трясутся.*) Книги годами сражались за внимание отца, стремящегося стать видным ученым в наших краях. Днями напролет его глаза были прикованы к корректуре, верстке, опечаткам, которые он выправлял, кивая головой. Больше никто и ничего его не волновало. Ни лицо матери, ни ее голые плечи и шелковистые волосы цвета эбенового дерева, с их отражением мама иногда разговаривала перед зеркалом. Ни двое детей, мой старший брат Бенбадис и я, светловолосый. Книги воровали у матери взгляды мужа, его пропавшую нежность, отбирали внимание и руки мужчины. За ней

осталось лишь право на несколько слов. Знаешь, сестра, мама никогда не ходила в школу, женщины ее поколения не учились, берегли время, девственность и репутацию.

(*Холмы вдоль шоссе становятся выше, безмолвно мелькают в окнах фургона. Рука водителя в постоянном движении, в полете, вслед за словами, лишь на пару секунд возвращаясь на руль. Я слежу за холмами как за волнами в море. Они вздымают к небу, открывают одну-две деревни, потом проваливаются в необъятные пропасти, с проглоченными безымянными деревнями и деревьями, пришпиленными к крошечным домам. На каждом километре — ухабы. Я чувствую их тяжесть в животе. Тошнит…*)

Клянусь, моя девочка, отец уважал эль-Хаджу, мою мать. Он наблюдал, как яростно она возит метлой по двору или стирает гору белья. Терла и терла, и мне казалось, будто хочет что-то стереть из своей жизни женщины, следы своей злости, унижения, или же сплетни соседей, с завистью к нам относившихся из-за великолепного дома. Мама, да упокоит Господь ее душу, вела битвы с книгами, но по-своему, как дьяволица. О, да! Понимаешь, она не сдавалась. Начинала с того, что подметала в дому, во дворе, мела в коридо-

рах и комнатах, площадку при входе, вытирала пыль, полировала, наводила лоск в каждом углу, а потом обильно все поливала большими ведрами злобной воды, а заодно и проклятиями. Вода была заклятым врагом книг отца. Как две жены, клянусь, моя девочка. Одна умела читать и писать, другая стирала и мстила. Одна бумажная, другая — из плоти и крови. Думаю, вода была ее чернилами, она просто писала так, как могла. Разве нет? Вода размачивает бумагу, в ней тонут авторы и заголовки, книги теряют свою представительность. По-моему, она полагала, что вправе бороться за мужа. Вечерами перед зеркалом она давала отчет своей блестящей шевелюре, а мы с братом Бенбадисом потешались. Длинные прекрасные волосы спускались с небес, подобно ангелу; мама молодела, когда их расчесывала. Потрясающая была хитрюга! «Очень грязно и пыльно!» — повторяла она и устраивала книгам потоп. После того как все прибирала, вытирала и вычищала в нашем доме колониальной постройки, отцовские книги тонули в ее затаивших злобу глазах, и порой она победно улыбалась, но старалась этого не показывать. Клянусь, моя девочка!

Во время уборки отец поднимал ноги или стоял на улице, дожидаясь, пока все высохнет, бормо-

тал что-то, подчиняясь законам первой жены, или шел в наш книжный магазин-типографию на улице Независимости, очень старый, сама увидишь. Он, бедняга, хотел испортить ей жизнь, пусть и его душу помилует Бог.

Рассказываю тебе об этом, потому что там история как раз и начинается. Понять это удалось годы спустя, когда меня перестали слушать, даже в нашем квартале, несмотря на уважаемое имя и талант рассказчика. Надо было выучиться читать и писать. Когда пишешь, даже ложь превращается в правду и облекается в красивые одежды. Сейчас я смог бы освободиться от своей истории, ведь она мешает мне вернуться домой, завести друзей, снискать доверие и уважение у людей, как это было с отцом. Правду говорю, валлахи! Вот уже лет двадцать никто мне не верит, потому что нет у меня доказательств. И вот, Господь милосердный! Бог послал мне тебя, причем в день Ид аль-Адха.

Вечерами, после уборки, когда отец наконец добирался до кабинета у нас в доме, бесчисленные стопки книг впитывали воду снизу, разбухали и серели, точно утопленники в море Алжира. Суровым он был человеком, моя девочка. Бил мать кулаками, так что у нее носом шла кровь;

она твердила, потерянная, что вернется к своей семье, но с возрастом он и его гнев ослабели, и в конце концов он сдался. Видимо, даже пророки Аллаха терпели несносных жен, думал он. Предполагаю, отец смирился с судьбой непонятого ученого. То были не книги, но пещеры, где он ожидал просветления. Заходил в них, будто в кафе, чтобы убить там время или им насладиться.

(*Дорога разрезает мне голову как пила, режет меня пополам, девочка моя, ранит с другой стороны моей жизни. Сегодня под синим небом она обнажается, но мне помнится петляющий путь под зимними тучами, поглощающий путников. Я тень, что возвращается туда, где двадцать один год назад произошло преступление. Но если туда не отправиться, куда мне податься, чтобы все начать заново и явить тебе истину?*)

Другим оружием моей матери было та тщательность, с которой она готовила для отца изысканные блюда по рецептам своих бабушки и мамы. Настоящие яства, что подают по торжественным случаям, например на свадьбе. Клянусь, словно готовила яды или идеальное преступление, как в кино! Фактически разговаривала с ингредиентами. Рассказывала о своей несчастной жизни второй жены, предательстве

околдованного мужчины: «Семейка Герди — вся безумная!» — так она обращалась к специям, к зеркалу. (*Водитель смотрит не на дорогу, его глаза всматриваются в прошлое. Лысые желтые холмы сражаются с диким ветром.*) Вечером она подавала блюда согласно ходу сражения: мед, рыба, фисташки, сливы в сиропе, салаты, закуски, сласти, соленья, сушеные фрукты, соусы. Вздыхала, подчеркивая, как много времени и усилий было затрачено, затем ждала на пороге кухни, наблюдая, что отец предпочтет. Ее или ту, другую? Да помилует Бог его душу, и эль-Хаджи тоже! Вероятно, его забавлял, а может, и беспокоил выбор между двумя женами, однако он делал вид, что размышляет. Сначала отец всегда пробовал. Потом однообразным движением медленно водружал рукопись на столик, отодвигал тарелку и рассеянно принимался есть одной рукой, а другой листал стародавние истории.

Нередко мама проигрывала сражение с книгами. Впрочем, яства являлись следствием бурных ссор, нам с братом Бенбадисом они казались грозой; у нас, как у моряков на судне, сводило живот. Мой отец эль-Хадж считал, что война рецептов блюд против рукописей, которую вела его законная жена, немного ее развлекала. Может,

он представлял это как особый язык или игру, не знаю. Понимаешь, дела сердечные — нечто интимное, родители об этом не говорили. Сердце у нас большое, но безмолвное, оно становится разговорчивым только с незнакомцами или когда смерть близка.

Во время таких бранных трапез мы с братом Бенбадисом сидели за столом вместе с отцом, молчали и ждали, но ничего, кроме привычной немой перебранки, не происходило. Отец и слова не произносил. Мстил молчанием. Нахмурив лоб, сжав губы и уставившись в чье-то произведение. Эль-Хадж, мой отец… (Его низкий голос окрашивается нотками почтительности, словно он снова стоит перед отцом и немного дрожит. Меня это почти забавляет: в своем животе он тоже носит кого-то, кто выкручивает все внутренности!) Мой отец эль-Хадж мечтал превратиться в книгу. Мечтал быть на нее похожим. Он обожал казаться неподвижным, как письмена, не говорить ничего лишнего. Назывался Хаджем, тем, кто совершил паломничество в Мекку и вернулся. Он производил впечатление судьи былых времен. В разгар битвы между двумя женами, одной — белой, как бумага или кожа француженок, и другой — черноволосой, он твердил одну и ту же

фразу: «Вкусная еда наполняет желудок, желудок поддерживает колено, а книга подымает вашу голову и поддерживает всего человека». Нам с братом полагалось в это верить и в подтверждение не слишком налегать на изысканные блюда матери. Оценив, насколько увесист кусок мяса, Бенбадис сравнивал его с моей порцией и, разочарованный, слегка насупливался. Завидовал, да помилует Бог и его душу.

А мать? Дабы наказать отца за его улыбки мнимого ученого, она часто ела на кухне в одиночку, стоя перед своими кастрюлями, отчаявшись, и пережевывала безвкусную хлебную горбушку. А в дни бурных ссор просто отказывалась принимать пищу. Обращаясь к посуде, она твердила, что отправится к своему народу, около Нгауса, и больше никогда не вернется к «бумажному безумцу». Точно не знаю, когда она стала верить, что ее семья еще жива, может под конец жизни, когда потеряла память. Говорят, под конец видишь умерших родственников, разве не так? Мать забывала, что вот уже несколько лет, как все ее родные умерли, и что после смерти трех братьев, отобравших у нее наследство, никто о ней, бедняжке, не помнил! А отец? Неизвестно, после чего он стал прятаться в своих книгах.

Теперь мне кажется, с определенного момента он перестал читать и скрывался в раскрытых на столе фолиантах, как в пещере.

Сейчас мне пятьдесят три года, моя девочка, то есть мне столько же, сколько ему было в то время, и я лучше его понимаю. Наверное, он воображал, что сидит рядом со своим отцом и разговаривает с ним сквозь бумагу, как через занавес. Но, думаю, в основном он молча общался со своей сестрой, тетей Аишуш, умершей до моего рождения. Она скончалась сразу после свадьбы и унесла с собой свой смех и смех моего отца.

4

11:34, на шоссе

«Его рассказ — длинный коридор, моя Гурия»

Отец заговорил о своей сестре Аишуш лишь однажды и рассказал, что она защищала его от мальчишек, которые его задирали и поколачивали, это было еще во времена Французского Алжира. Вспоминая, он поменялся в лице. Думаю, вот в чем заключалась его сердечная рана, та книга, какую он не написал. Именно! Настоящее воскрешение в памяти, точно говорю, моя девочка! (*Когда он перестанет обращаться ко мне «моя девочка»?*) Все случилось летом, мы были во дворе. Отец беседовал с дядей, лежа на самом роскошном ковре из Гардайи, и смачно ел виноград. Я сидел рядом на пороге гостиной, на маленьком приступочке и видел, с каким блеском в глазах он смотрел по сторонам, вглядываясь в воздух, будто рассматривал ценные манускрипты. Тогда и вспомнил сестру, словно бы оказавшуюся перед ним. Лицо его просветлело, он улыбнулся и снова превратился в смешливого и веселого ребенка.

Тогда я понял, что та история правдива и в нее, как в газету, обернуто его сердце. А в книгах он искал либо эту близость, либо способ ее забыть.

О, эль-Хадж, да упокоит Аллах его душу! Утром, когда мы втроем возвращались из мечети, поскольку эль-Хадж заставлял нас молиться вместе с ним, мама возобновляла битву. Нападала любимым оружием — метлой, пока не окружала сына эль-Хаджа Герди Сенусси. Так звали моего деда, открывшего книжный магазин. В начале дня мама вертелась вокруг отца, облаченного в белые одежды и мысли предков, а квартал просыпался под шум автобусов. И пока она выставляла свое оружие, из кафе «Мархаба», что в конце улицы, до нас долетал запах кофе (*ты замечала, что все алжирские кафе называются одинаково и каждый раз ты как будто оказываешься в том же самом месте?*); эль-Хадж усаживался на свою красную бархатную, украшенную золотом скамеечку и погружался в свои мысли, растворялся в рифме или красивой фразе. Представляешь, моему брату Бенбадису не разрешалось садиться на красную скамейку, хотя он научился чтению и письму много раньше, чем ожидалось. Да будет тебе известно, моего брата так назвали в честь ученого из Константины, подпирающего рукой

подбородок на картинке в школьных учебниках. Целый день перепуганный отец напрасно ждал, что мать устанет и отступит подальше со своими ведрами от его сокровищ. Причем без криков и склок, моя девочка! Но нет! У нас так не принято, мы уважаемая семья. Молчаливы как книги, скупы на слова.

Когда у матери спрашивали, где эль-Хадж, она указывала на дверь, тапочки или четки, если его не оказывалось дома, либо на восток, показывая, что он занят своими торговыми делами. Отец часто укрывался в нашем книжном магазине (названном «Эль-Гурия» в 1962 году в честь независимости Алжира), унаследованном им от моего деда и с тех пор нисколько не изменившемся. Нам повезло стать местной легендой, моя девочка. А как же иначе! Достопочтенная семья. Уважаемая, с ней не бывает скандалов, никто не врет, никому не придумывают обидные прозвища. К нам целый век относились с уважением, а дело, передаваемое от отца к сыну, позволяло ни в чем не нуждаться (*он останавливает качающуюся синюю шерстяную рыбку, привязанную к зеркалу заднего вида, затем кладет руку на руль*). Мы издавали книги еще во времена французов, позволяли сказать нечто ценное и важное (*какой же он*

все-таки болтун! Наклоняется к моему уху. Его рука покоится на подлокотнике, затем он ее поднимает и подносит к груди, вспоминая о семье). Нам предстояло продолжить дело деда, который подхватил его у своего отца, знаменитого чтеца Корана и большого его знатока-толкователя.

Ты, наверное, думаешь, что я много болтаю? Ну да, хи-хи! Но это оттого, что мне надо объяснить, почему, по-моему, тебя мне послал Всевышний! Ты снизошла с небес. Никто мне больше не верит, моя девочка, хотя семья у нас уважаемая. Нет доказательств того, о чем я рассказываю; когда говорю, люди пожимают плечами, смотрят на часы или на небо и уходят. Представляешь? Меня, представителя семьи, продававшей книги, обвиняют во лжи и клевете! Меня, внука Герди Сенусси! Единственного владельца книжного магазина-типографии, доставшегося мне после смерти моего брата Бенбадиса, его дочери и жены! Ты думает ь, я оказался на дороге, потому что сирота? Нет! Только я и верю во все то, что у меня в голове и что это истина, как в Коране, у Пророка, у Всевышнего, как у голого мертвеца в могиле.

Все они мертвы: мой брат Бенбадис, его дочь, жена, мои мать и отец. Я не могу молчать ради моего прошлого, ради прошлого Алжира. Не могу,

после всего того, что я пережил. Нож, заживо содравший с меня кожу, пробудил мой дар. Он в том, чтобы помнить числа, имена и места. Многие. И воспроизводить их наизусть. За одной датой встает другая, как путешественники автостопом. Фамилии, имена, места. До того как началась моя история, я таким даром не обладал. Но надо было бы научиться писать и читать, чтобы превратить все в книгу. А вместо этого я вожу машину, что помогает забыть, да и другим не надоедать. История нашей семьи корнями уходит в далекие времена, подобно книгам и деревьям; мне есть чем заняться. При чем тут я? Ох! Вот к чему я клоню (*у нас нет ничего общего, разве что язык его, струящийся, как вода, родом из другой, чуждой ему жизни, нелепой, будто украденная драгоценность*)… с этого все и началось. С войны против книг. Матери против отца. По этой причине я не смог научиться писать. И когда моя история укоренилась в голове, Эмир головорезов потребовал, чтобы я везде и всюду рассказывал о том, что видел, только я ничего с собой не взял, не захватил ни одного доказательства. Двадцать лет спустя, если я принимаюсь рассказывать, никто мне больше не верит.

Я встал на сторону матери, а Бенбадис — отца, и

книги мне отомстили сполна. Брат стал влиятельной фигурой на социологическом факультете в Алжирском университете, а я — водителем при нашем знаменитом книжном магазине. И до сих пор не могу написать ни слова, что крутятся в моей голове. Чтобы остановить бесконечное мельтешение дат и больше не погружаться в эту сумятицу.

Но я будто книга: рассказываю истории. Мне книги не нравились; стоящие рядком, как женщины, они завидовали матери. Валлахи, я ошибался! Но в то время был слишком молод, со своими светлыми волосами, уложенными по последней моде, «банан в стиле рок». Мне казалось, книги только для мертвых и стариков. Вот идиот! Отец не обманулся насчет моего будущего. Хотя вначале он надеялся. Полагал, что наша благородная кровь вернет меня к делу нашей семьи. В конечном счете он оказался прав, ведь я вожу фургон с книгами. Сидя на красной с золотом скамеечке, отец щурил глаза, следил за мной, постоянно вздыхая, и пил чай после пятничной молитвы. Временами поручал мне расставлять книги по местам, как практиковалось у нас. Критерии расположения были различные: по времени поступления, в алфавитном порядке, по дате

выхода, по тематике и т. д. Также можно было сложить их стопками, высокими, как минарет, и подобное означало, что все их нужно прочесть, изучить или доложить стопку до самого неба. Но я молчал, старался не попадаться отцу на глаза, а мать всегда встревала и просила его ко мне не приставать. Словно хотела, чтобы гнев человека, видевшего, как его благородная кровь напрасно течет в жилах одного из двух сыновей, обрушился на нее. Я отсиживался в окопах на поле битвы между тарелкой и пером, специями и предисловиями. Между отказом есть и отказом говорить, между отцом и матерью. Поскольку это было сражение взрослых, мы с братом вели себя осторожно. Но Бенбадис все же научился читать вслух, чтобы отец эль-Хадж его слушал и с гордостью гладил его по голове на моих глазах.

Пару раз мать одержала победу в нашем доме в Батне. Чтобы вода не попала на книги, их уложили в коробки и отправили в наш магазин. Какой он? Увидишь, ты могла бы работать в нем и… (*О чем это он? С чего бы так подумал?*) Великий день настал для нее, когда после зимнего гриппа она поняла, что победа возможна, если прибегнуть к столь несложной уловке, как дыхание. Не нужно метлы и потопа. Однажды она осознала,

что выиграет в войне просто-напросто кашлем. И стала кашлять, сначала легонько, потом так, словно воздух в легкие поступал из колодца или из-под земли. Она затеяла опасную авантюру, лицо побледнело, выбивающиеся из-под платка волосы оттеняли его как саван. Она кашляла и кашляла днями напролет. По ночам слышно было, как мать отхаркивается, а днем она сохла, увядая на наших глазах от яростных приступов. Из глаз ее текли слезы, грудь, казалось, с трудом удерживала обезумевшее сердце. В нашем доме, обычно тихом, ее сухой кашель превратился в постоянный шум, нарушающий тишину моих предков; он мучил нас, мешал отцу читать, часам — отсчитывать время. И вот однажды отец, разъяренный, как белый бык, в положенном должностному лицу бурнусе, проклял свою судьбу. «Ее брат меня обманул!» — твердил он. Моего дядю Бенхамеда, брата жены, отец знал с юности. Он женился на его сестре, ненавидевшей книги, но любившей воду, кухню и красивую посуду. Мать не была плохим человеком, она просто чувствовала себя раздавленной книгами. Знаешь, когда не умеешь читать, трудно смотреть, как над тобой насмехаются (*его глаз, скрытый под тяжелым веком на мгновенье заговорщицки зажегся*).

Книги лежали повсюду горами, в спальне родителей, в гостиной; их даже уже и не читали. Все эти годы отец лишь перелистывал их, печатал, тратил деньги, постигал мудрость и обретал уважение у жителей Батны. Этим делом в нашей семье занимаются издавна. Мой прадед изучал теологию в Тунисе; дед был известным ученым, но под конец жизни перестал говорить, наверное, потому, что все понял. Мой отец эль-Хадж, прежде чем замолчать — он заболел раком простаты, — рассказывал историю, смешившую маму. По его словам, мой дедушка эль-Хадж Герди Сенусси погиб под сотнями книг, на него упавших. Однажды, когда он редактировал рукопись о родословной местных святых, земля сотряслась, и он пал погребенным под многотонным Знанием, так же как Красное море поглотило врагов Мусы. Лавина книг обрушилась на голову дедушки, и он скончался самым достойным для книгопродавца образом. Отец клялся, что история эта правдива, хотя и кажется невероятной.

Не волнуйся, через полчаса развернемся, если передумаешь. На ближайшей развязке в Йелеле можно повернуть обратно к Орану. Или поедем дальше в Релизан. Будем на месте через полтора часа, если ехать быстро. На чем я остановился?

Ах, да! Мама пожимала плечами, молча улыбалась, аккуратно складывала посуду и расставляла большие бутылки с отбеливателем. Она слегка подсмеивалась над ним. Надо заметить, мама не настраивала нас против отца. Даже злилась, если мы втайне подтрунивали над ним. Только за собой она оставляла право сомневаться в истории своего свекра. Бенбадис в эту историю верил, но не до конца. Я же — скорее нет. Разве можно умереть под книгами, даже тяжелыми? Под двадцатью двумя томами хадисов Пророка, собранных аль-Бухари? Под грузом сотен тысяч хадисов, переданных Абу Хурайрой, так называемым сподвижником Пророка, о котором никому ничего неизвестно? Можно? Теперь думаю, что да. Особенно под грузом книг, которые не удалось написать. Да, сестра, несуществующие книги самые тяжелые.

Вероятно, именно с этого и начинается моя история, все то, что со мной произошло спустя несколько лет на дороге? Если бы я тогда выучился писать, то записал бы ее. Но нет книги в подтверждение случившегося, и она разрослась у меня в голове тысячью версий, и в ряде подробностей я уже не уверен. Мне послал тебя Всевышний! Когда это все свершилось, какие

у меня были волосы, светлые или темные? Это было на рассвете? Или вечером? В котором часу? Валлахи, все в тумане, ведь если рассказываешь много раз одно и то же, воспоминание разлагается, уж поверь. Мутнеет, не дает тебе жить дальше и что-нибудь еще помнить. Моя история как ревнивая болтливая жена. Выучись я писать, как Бенбадис, сидел бы сейчас дома. Зарезал бы барашка и веселился с детьми. Я так и не завел детей из-за своей истории, понимаешь? (*Кто же тогда та улыбающаяся девочка на фотографии, прикрепленной к лобовому стеклу? Я села в машину к безумцу? Нащупываю ручку дверцы. При самом плохом варианте я ведь выпрыгну, правда же?*) Книги, которые не написаны, этого не прощают.

Мать кашляла три месяца. Почти перестала дышать. Дом снова покрылся пылью, повсюду ворохи нестираного и неразложенного белья, ногти она больше не красила вызывающим лаком, не использовала духи. Мы не могли ничего найти: ни рубашек, ни обуви, ни тарелок, ни пальто… Ничего. Отец понял, что может потерять мать, поскольку у нее появилась аллергия на пыль, бумаги, книги; сотни тщательно изданных томов переселились, словно разгромленная армия, на

склад. Я помню это как сцену победы в фильме про войну. Когда рабочие пришли укладывать книги в картонные коробки, а затем их унесли, дом на улице Независимости помолодел! В тот день он выглядел как новый. Спустя семь дней после исхода книг мама воспряла, будто после траура. Она вооружилась ведрами, половыми тряпками, полотенцами, воском, благовониями и тут же привела дом в порядок. Он был отвоеван, отнят у второй жены, и все заблестело, как мамины глаза в зеркале. Это был радостный весенний день, начало 1992 года, мама прохаживалась по комнатам без платка, с непокрытыми блестящими черными волосами, и без стенаний. Мы снова стали обладателями дополнительного пространства. И были счастливы.

В это время сторонники Исламского фронта спасения скандировали на демонстрациях воинственные лозунги: «Ради дела мы живем, ради дела мы умрем!» Узревшие, они кричали о своей любви к делу исламистов, люди из Фронта спасения возникали как из-под земли. Они маршировали в военной форме, в небе развевались непонятные флаги, взявшиеся неизвестно откуда. Ты, наверное, об этом не знаешь? Сейчас о таком в школах не рассказывают. Запрещено. Тогда в

воздухе чувствовался запах войны, злоба, нечто грозное и невнятное; на лицах порой можно было прочитать страх, порой — желание просветить мир огнем и мечом. Повсюду говорилось о халяле и хараме, о дозволенном Всевышним и запрещенном Кораном: сигаретах, алкоголе, косметике, музыке, песнях, мехах, облегающих брюках, духах… Мы знали, что на выборах победили исламисты и «Братья-мусульмане»[4], но военные эту победу не признали. Страна натянулась как тетива лука. Однажды ночью, осенью того же года, пока все спали, раздалось потрескивание в громкоговорителе на мечети, и чей-то голос произнес: «Джихад! Наш долг — джихад. Джихад!» Это был призыв к оружию.

Но нам, сыновьям Герди, предстояла иная война. И было не до того. Прежде рукописи и напечатанные книги оспаривали наше право на дом. Теперь мы чувствовали себя свободнее. После этой битвы отец еще больше отдалился от матери. (*Я не отвожу взгляда с безлюдной дороги, высматривая развязку, которая все еще не показывается. Он сказал, что через полчаса можно развернуться, если я захочу. Но куда? В Оран?*

[4] Примечания: 4

Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

Зачем? Хадиджа сегодня не приедет...) Отец искал решение. Нехорошо так думать, но полагаю, он размышлял о самоубийстве, когда водружал колонны из тысяч книг в подсобке магазина. Но напрасно ждал землетрясения. Он не простил матери ее коварной победы. С той поры его чувство собственного достоинства превратилось в старую овчину. На моих глазах он стал как намокшая бумага, появились серый и зеленый цвета плесени, его одолевали мрачные мысли. Лицо распухло от унижения, тело съежилось. Я не вру, моя девочка, и не проявляю к нему неуважения. К тому же расплата за это настигла меня позднее тем, что случилось через несколько лет. Разве это не знак Божий? Все верят в выдуманную историю его достойной кончины под тонной упавших книг, и никто не верит в мою подлинную историю о сотнях тысяч погибших, хотя она касается каждого.

Понимаешь?

Такая судьба.

(*Его открытый глаз меня изучает, прищуренный — осуждает. Если я вернусь в Оран к вечеру, проехав через Амми Муссу и побывав в Мертвом крае, где меня зарезали, уподоблюсь этому старому безумцу. Возьму на себя два трупа. Тебя и моей сестры. А если поехать дальше? Но куда?*

В памяти от первоначальной дороги почти не осталось и следа, ее стерло шоссе, по ней проложенное. Меня везла машина скорой помощи. Чего искать в Мертвом крае? Землю? Знакомые лица? Тех, кто меня помнит? А если к вечеру никто не отыщется, как вернуться в Оран? Где тогда переночевать, да еще с тобой в утробе?)

Знаешь, отец был видным ученым: он постоянно читал и что-то печатал, даже во время войны 1990-х годов. Уж эта история тебе наверняка известна, так ведь? Конечно, ты знаешь (*указывает на мой шрам под платком, словно на название книги*). Была действительно другая история, отличная от той, какую описывают в официальных источниках. Настоящая! Погибли тысячи, тебе ли не знать. С 1990-го по 2000-й. Сегодня уже никто этого не помнит. Разве только дорога. (*Дорога бежит вдаль, двадцать один год назад она привела меня к жизни после смерти. Из Релизана в Оран. Мама Хадиджа рассказывала: «Я родила тебя как Марьям в Коране, ни один мужчина до меня даже не дотронулся». А теперь я качусь вспять, собирая себя по частям.*)

Во время войны за независимость мой дед печатал труды великих алжирских ученых и теологов, толкования снов и трактаты о лечеб-

ных растениях. Отец издавал романы известных арабских писателей, например Нагиба Махфуза, атласы, школьные учебники. С началом войны он принялся переделывать каталог. Война! Именно, война! Не против французов, а война всех против всех. Причем такая, что никто уже ничего не понимал в этой неразберихе, которая длилась десять лет. «Братья-мусульмане»[5], изрекающие истину вместо Всевышнего, настоящее проклятие. Ты слишком молода, чтобы это помнить, моя девочка, хотя только у тебя есть доказательство, что так было. Разве нет? Они ведь это сделали? (*Указывает на мою шею и «улыбку».*) Скажи мне ради бога, пожалуйста! Это же они сделали? Не несчастный случай? Понимаешь, я не впервые такое вижу. Узнаю след их зубов; поразительно, что ты здесь, живая и никто не подозревает о твоем существовании.

Не отвечай, объяснения излишни, все и так ясно. В день Ид аль-Адха тебя мне ниспослал Господь. Я уверен. Сколько тебе лет? (*Я по-прежнему слежу за дорогой, пытаюсь прочесть на указателях названия ближайших деревень. Знаешь, моя дорогая, не хочу, чтобы он заметил твой или*

[5] Примечания: 5

Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

мой испуг.) Лет двадцать? Двадцать пять? Моей дочери было столько же, если бы она выжила. Она мне не дочь, но почти как дочь. (Показывает фотографию девочки. Та улыбается. Я кусаю губы и пытаюсь придумать, как бы мне выбраться, но дорога петляет вокруг гор, словно длинная веревка. Что бы сказала Хадиджа, увидев меня здесь, в фургоне с незнакомцем? Сегодня утром в Уэд-Тлелате она наорала бы на жандарма, ткнула бы ему в нос мои фотографии, той, кто уцелел в «черное десятилетие», как говорят в Алжире. А еще и свидетельство жертвы терроризма, удостоверение адвоката и вырезки из газет. Мама Хадиджа пригрозила бы, разгневалась, показала бы на мою шею, потом достала бы телефон и яростно начала бы в него тыкать. «А это еще что такое?» — спросил тем утром жандарм, указывая карандашом на мое горло, канюлю, «улыбку». «На вас правда напали?» И я вдруг поняла, на что он намекает. На порезы у шлюх, на шрамы у проституток, на рубцы у женщин легкого поведения, тех, у кого нет ни мужа, ни имени. Тех, из-за кого на полях страны случается засуха или землетрясение. Вот откуда его жест с карандашом. Он решил, что я сбежавшая проститутка!)

Что известно о войне 1990 года? Тут никто

ее не помнит, кроме меня. А я храню и даты, и имена. Конечно, не все, не десятки тысяч, но многие пропавшие бедняги — в моей памяти. Это и есть настоящая история. (*Его голос меняется, он словно зачитывает приговор.*) Двести тысяч погибших, но ни одной книги, ни одного фильма о них, ни единого свидетеля. Молчание! Ведь ты не говоришь, правда? Вам в школе рассказывали о гражданской войне? Когда люди это видят, как объясняешь? (*Опять показывает на мою каню-лю.*) В начале войны мне было двадцать пять. Клянусь, она началась в марте 1992 года в нашем книжном магазине в Батне.

5

Весна 1992 года, второе марта, понедельник. В тот день отец вернулся из магазина рано, и с его приходом наступила ночь, избавив нас от худшего. В том году насчитывались сотни погибших. Бородачей, прозванных «Танго», преследовали военные, их называли «Чарли». Однажды утром на нашей улице Независимости в мусорном баке обнаружили голову районного комиссара, похищенного за несколько дней до того. В другой раз на рассвете прихожане обнаружили на пороге мечети длинный список приговоренных к смерти во имя Всевышнего. Каждый надеялся, что там не упоминался ни он, ни его близкие. К счастью, имени отца там не было. Нашу семью знали все. Приговоренные получали посылки с туалетным мылом и саваном. Ты ведь знаешь, моя девочка, это для омовения трупов. Ах, не представляла даже! Неделями только и говорили что «о списке», но вполголоса. (*Он замолчал, посмотрел на меня и предложил.*)

Назови какое-нибудь число. Давай!

(*Я удивленно молчу, слышно только ворчание двигателя. Число? Какое?*)

Давай же, сестра. Любое число, неважно какое.

(*Его тысячелетнее левое веко приподнимается. Приоткрывшийся глаз следит за мной. И на своем птичьем языке хромой утки, стрекотом цикады летом я выговариваю: «Сто семьдесят три».*)

Поехали! (*Его глаз заблестел от удовольствия, хотя скорее это был вызов.*) «4 мая 1994-го: сто семьдесят три трупа найдены в лесу Эль-Марса в районе Тенеса (Эш-Шелифф). По свидетельствам родных, все они были в группе более чем двухсот граждан, взятых военными 25 апреля 1994 года в селениях Таугрит, Улед-Будуа, Сиди Мусса и Тала-Аисса в качестве заложников в ответ на смерть пятнадцати военных, убитых в засаде около Тенеса». (*Его голос резко меняется, словно он читает газету не переводя дыхания. Затем с довольным видом смотрит на меня, как будто ждет аплодисментов. Разочарованно пожимает плечами и трогает рычаг переключения передач. Правая нога, сухая и короткая, не двигается. Он говорит как по писаному!*)

Продолжим? Двадцать восемь? Вот, прошу. «28 февраля юная школьница Катя Бенгана, отказавшаяся носить хиджаб, несмотря на смертельные угрозы, была убита в Мефтахе. Двадцать девять? 29 сентября исполнитель рай Шеб Хасни застре-

лен двумя пулями в голову в квартале Гамбетта в Оране. Двадцать четыре? 24 декабря — захват заложников на рейсе 8969 „Эйр Франс“: четверо членов Вооруженной исламской группы взяли в заложники двести двадцать пассажиров самолета АЗОО в алжирском аэропорту».

Страна пылала в огне, сестра, мы жили и дрожали, шепча мольбы. В те годы наступила тишина, все стали подозрительными, словно украли какую-то драгоценность и за нами гнались. Все чувствовали себя виновными, серыми волками, безжизненными, как проклятые дети.

Я уже рассказывал тебе, как отец пришел вечером, весь дрожа, потрясенный, будто Пророк, которого в пещере в Мекке посетил ангел. Заперев на два оборота входную дверь, он уединился в своей комнате и отказался от еды. Мать встревожилась, решив, что тому причиной налоги, заем или должник, который не желает платить. Но отец проговорил с ней всю ночь, и она затихла, так задерживают дыхание под водой. Мы ждали рассвета в надежде что-либо узнать. Пытаясь понять, мы с Бенбадисом мысленно склеивали клочки бумаги, скомканные листочки, смятые страницы. Что же произошло днем? Подробности нам были неизвестны. На улице обсуждали

заложенные бомбы, зарезанных людей, убитых полицейских, мучители называли себя афганцами, соратниками Пророка или брали имена по сурам Корана. Эмиров звали «аль-Афгани», поскольку из Афганистана они возвращались кровожадными палачами. Потом они решили именовать себя по названиям районов Алжира: Мох Левейи, Флиша и прочими. Затем у них появились безумные прозвища, вроде Голодных волков. Знаешь, кто главарь у этих бородачей? (*Помнишь, моя Гурия? Я тебе о нем говорила.*) Вряд ли. Ты тогда еще не родилась. Или все-таки знаешь?

Сначала все происходило где-то далеко, в глубине Алжира, на дорогах, в горах, но не в наших домах. Поговаривали, что много народу погибло в Збарбарском лесу, в Блиде, Алжирской Касбе. Это не воспринималось как война, а скорее как камнепад: кто угодно мог под него попасть, но поскольку не укрылся, был неосторожным, то либо проклят, либо попросту идиот. И вот однажды беда пришла в наш город, квартал, переулок, на нашу кухню. Ты, наверное, слышала про двух сестер Фелла: обе рыженькие, их прозвали куропаточками. Одной было семнадцать, другой — двадцать. С такими же прекрасными

глазами, как у тебя, сестра. Они возвращались после каникул из Алжира, и бородачи схватили их у фальшивого блокпоста. Знаешь, как это выглядит? Принцы перегораживают дорогу, чтобы убивать, грабить, уводить девушек и расправляться с остальными. Тогда этого шоссе с востока на запад не существовало. И вот во вторник бедных девушек похитили. Какие они были очаровательные! Сколько мужчин толпилось у дверей родительского дома, где жили куропаточки, с предложением руки и сердца. А они обе всё подшучивали, даже надо мной, отпрыском уважаемой семьи, но безобидно, просто им очень нравилось выглядеть как драгоценности из красного золота. Незапятнанные сердца, каку нас говорят. Бородачи похитили их 11 января 1992 года и подарили их командиру вооруженного формирования, которое свирепствовало в нашем районе Батна. Некоему Халеду Беддафу, если не ошибаюсь. Главе террористов. Но вот в чем закавыка: командир не устоял перед красотой младшей Феллы, прекрасной, как гурия (*слушай, слушай, тебя касается!*). Стоило ему увидеть ее связанной в лесу и заметить прядь рыжих волос на ветру, выбившуюся из-под платка, его сердце дрогнуло и он сложил оружие. Невероятно, прав-

да? В тот миг, утонув в ее глазах, он отказался от всего. От автомата Калашникова, Бога, хадисов, джихада. Обезумев от желания и, вероятно, любви, а может, вожделения или торопясь завладеть своей гурией до смерти и Страшного суда, он закричал и кинулся на нее и в нее. Отринул священную войну, джихад, развернутую, чтобы установить халифат в Алжире. Знаешь, на что он осмелился? В ту же ночь сбежал вместе с младшей из сестер, решив сдаться, дабы спастись от своих же вооруженных людей, и устремился в казармы в Уэд-Шаабе. Рассказывают, будто через два дня преследования в лесу Бухмама их поймали подельники сбежавшего командира. Говорят, его резали, проделывая отверстие сантиметр за сантиметром большим тупым ножом, уложив лицом к западу в направлении, противоположном Мекке и против солнца. Прости, моя девочка! Поверь, это невероятная история, поскольку Фелла, молчаливая пленница, рыжими волосами и смехом повернула к жизни его голову. Правоверные подумали о колдовстве, а что до Феллы, расскажу тебе, ты явно не из трусливых (*он рукой показал на мой платок*), они ее мучили, потом четвертовали, она кричала, ревела, умоляла, пела, выла, взывала к Богу и родным. Люди с нашей

улицы утверждали, что ее крики слышались всю ночь даже в городе Батне, далеко от леса, места преступления. Крик пронесся повсюду, как песчаная буря, лишил сотни жителей сна и разума. А что же с ее сестрой? Голодные волки собирались убить и сестру. Знаешь, моя девочка, прячась в лесах, они брали себе жен, но, если те беременели, перерезали им горло. Наверное, не хотели обременять себя в войне, становиться отцами, опасаясь за жизнь детей. Во всяком случае, непонятно как, но она сбежала. Рыжая копна волос горела в лесу, поджигая деревья, она тоже кричала целыми днями. Поэтому солдаты ее и нашли, зачищая территорию от бородачей. Бедная куропаточка! Она так и не вернулась ни в свой дом на нашей улице в Батне, ни к нормальной жизни. Рабочий из нашей типографии сказал, что видел ее рыжие грязные волосы на вокзале Ага в Алжире, по которым он ее и узнал. По крайней мере, женщина в лохмотьях была на нее похожа, она просила милостыню и плевала в тех, кто отказывался ей подать. В голове у нее, судя по всему, жила иная история, в которую никто не верил, впрочем даже она сама. Истории, если не можешь их рассказать до конца, завершить, сводят с ума. Окружающие вам не верят, поскольку у вас нет

никаких доказательств. Это сносит крышу.

Утром, перед тем как идти в мечеть, отец рассказал немного о случившемся накануне: к нему заявились бородачи Всевышнего, говорили с ним, взывали к памяти деда, скончавшегося под грудой книг во время французской колонизации. Вот так! Да, эта семейная история одновременно и выдуманная, и правдивая. Деда действительно нашли под грудой книг. Но до этого его убили «Братья-мусульмане»[6], действовавшие еще во времена французского владычества. Толи он отказался выплатить дань военным, то ли стал жертвой зависти ученых, то ли оговора, никто толком не знает. Зато «другие», те головорезы, об этом знали, им нравилось заново разыгрывать войну против Франции, убеждая всех, что они вынуждены биться. Придя в книжную лавку после вечерней молитвы, они объяснили эль-Хаджу, моему отцу, что тот не может быть верующим мусульманином в Батне и одновременно продавать романы и похабные журналы с изображением накрашенных женщин, у которых не прикрыты лица, школьные учебники и книги, где ставилось под сомнение существование Всевышнего, всяче-

[6] Примечания: 6

Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

ские измышления еретиков, подозрительные и непристойные книги или иностранные издания. А что же тогда продавать? Их Эмир, напыщенный юноша, постоянно почесывавший шею, будто его кусали вши, — отец прихлопнул бы его, как комара летом, — сделал отцу внушение и уточнил, указывая металлическим стволом обреза как пальцем, что ведется священная война против его врагов. «Выбирайте, на чьей вы стороне, или торгуйте кулинарными книгами», — приказал он. Мерзавец почти веселился. Отец возмущался таким неуважением, а мы с братом Бенбадисом его слушали.

Ну вот, скажу тебе, малышка, той, которая выжила и которую Всевышний послал мне как свидетельницу, Эмир «освобожденного исламского региона» Батны нашел достойное решение для моего отца в марте 1992 года: торговать кулинарными книгами. Надо было просто их продавать и платить налог на новую войну. Тогда мы начали печатать и издавать такие книги. Это оказалось нетрудно, незатратно, они даже хорошо продавались. Но отец начал сдавать из-за тонны книг, которые он больше не мог ни печатать, ни издавать, ни продавать, ни выставлять в витрине. Он сжался, слонялся по дому, злился

и сердито разговаривал сам с собой. Я наблюдал, как на него давили тысячи этих призрачных книг, орудия реванша. Тонны знаний, коробки с множеством страниц, которые никто не смог бы приобрести, да и раздать их он тоже не мог, и все из-за бородатого вшивого юнца, размахивающего обрезом.

Поэтому, опасаясь за жизнь отца, мы затеяли капитальную уборку. Спрятали в мастерских и в книжной магазине, что могли; сожгли кучи недостойных книг, запрещенных исламистами. Издали кулинарные книги и выставили их в витрине магазина «Эль-Гурия». Прохожие останавливались, разглядывали их как холодные, несоленые, несъедобные блюда. Мы выпустили «Любимые блюда Пророка», «Кухню Аиши», его любимой супруги, «Божественную еду», «Райские яства», «Атлас магрибского кускуса». Последний быстро разошелся. «Растения древних целителей». «Тысяча способов приготовить сардины», «Пшеничная крупа и война», написанная давним другом отца, бывшим моджахедом[7], воевавшим против французов в районе Ореса (*горного массива, откуда, как полагают, началась война с*

[7] Примечания: 7

Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

Францией, моя девочка). Но по иронии судьбы в новой ситуации отец стал зарабатывать больше денег, чем с Кораном, хадисами или войной за независимость. Да простит меня Господь, но рабочие довольно улыбались, как грабители, которым повезло; а отец просто таял на глазах. Клянусь! Он терял нить разговора, забывал расписание молитв и путался в бухгалтерских счетах.

Брат расстраивался, глядя на него, а я нет, хотя все видел. Почти не скрывал радости, хотя ночью жалел об этом. Таким было мое проклятие. Брат желал унаследовать дело отца, готовился, учился лучше всех в школе, приумножал честь семьи, а в моей жизни зрели другие планы на будущее: стать футболистом-профессионалом, моряком или отправиться во Францию и присылать оттуда фотоотчеты моих успехов. Хи-хи, я слишком надеялся на долгожданную свободу и смерть отца. Представь себе! Мне было двадцать, и я обожал играть в футбол. Мне нравилось бить по тугому мячу и наблюдать, как он под мои крики взлетает к небу. Играл я хорошо. Тебе, скорее всего, такая игра неизвестна, девочки мяч не гоняют, они не могут носить шорты, потеть при всем честном народе и громко обращаться к товарищу по команде. Орать, бегать до одурения, подпры-

гивать, вращаться в воздухе… Когда играешь в футбол, такое ощущение, что весь накопившийся в жизни сухой хворост сгорает в твоих легких (*он спохватывается, вспомнив про мой шрам и каную*). Как же мне этого не хватает, запаха мяча и игроков, их смеха и споров, притворных падений и ругани с судьей! Я не хотел отращивать бороду, как Бенбадис, который учился принимать позы мудреца после молитвы и рассказывал, что станет преподавателем в алжирском университете. Впрочем, я перестал молиться и в мечети, и дома. Я выкраивал время для игры, стадион завораживал меня, точно ковер-самолет. По пятницам я гонял мяч, пока взрослые молились, а потом отдыхали. Признаюсь, я игрок от рождения, просто играл в футбол ради удовольствия. А еще потому, что в 1992 году никто больше не смеялся ни в Батне, ни в стране. От сражений военных с бородачами добрых воспоминаний не осталось. Кроме одного: когда тучи сгущались, всем на ум приходил матч чемпионата мира восемьдесят второго года против Германии, мы тогда победили со счетом два — один, и вся страна радовалась этому событию! В то время на импровизированных стадионах мы брали себе имена игроков нашей золотой команды. Я звался то Беллуми, то

Ассадом, то Маджером, то Гендузом, ты их не знаешь, эти настоящие курчавые легенды остались лишь на черно-белых фотографиях. В ту пору у меня было две ноги, представь себе!

(*Оба его глаза ненадолго затуманивает грусть, даже левый, лукавый, занавешенный тяжелым веком. Атрофированная правая нога не достает до пола машины, он, стыдясь, ее сгибает и делает вид, что смотрит в сторону. Если я не сумею выбраться из этого фургона-развалюхи или мы не развернемся, часа через два доедем до Релизана. Как он обещал. Там госпиталь, где я лежала с закрытыми глазами и разрезанным горлом. Там мне всегда будет пять лет: слышу, как меня ласково спрашивают мое имя, о сестре, родителях, близких. Оранжевый свет лампы то приближается ко мне, то удаляется. Я лежу на спине, меня везут на каталке, подпрыгивающей при переходе из одного помещения в другое. Хадиджа и увидела меня там в первый раз среди трупов после резни в Хад-Шекале…*)

Отец утрачивал уважение и терял уверенность в себе. Из типографии прибывали кулинарные книги; они, казалось, насмехались над его репутацией и историей нашей семьи. На следующий год эль-Хадж заболел раком, у него отказали но-

ги, и он скончался. Это случилось в пятницу, да упокоит Господь его душу! Он умер 11 октября 1993 года. Не знаю почему, но снится он мне все реже и реже.

Знаешь ли ты, родившаяся с этой невероятной отметиной, подлинным доказательством произошедшего, что с нами случилось за десять лет войны? С 2000-х годов, после принятия закон о «примирении», террористы, вышедшие из лесов, утверждали, будто были поварами. Само государство велело им повторять это журналистам, чтобы они могли воспользоваться амнистией, осуждавшей лишь убийц, признавшихся в тюрьме. На телевидении, на радио, в прессе они объявляли себя поварами, глядя печальным взглядом на свои белые руки. С вонючими бородами и голодными глазами они вспоминали, как варили кашу, и холодом сквозили их глаза. О, если бы отец был жив! Он бы расхохотался, хотя никогда не смеялся, это была скорее улыбка, тонкая, как месяц во время Рамадана. (*Да, моя Гурия, в этот месяц нельзя есть с рассвета до захода солнца. А лунный серп тонкий и худой.*) Вот уж он бы восторжествовал над людоедами. Глумился бы над ними, тыкал в них пальцем, поступил бы так, как они с ним, когда спустились с гор, утверждая,

что они и есть Божий глас, отдающий приказы. Он бы гордился собой. (*В его голосе появляется радость. Затем он надолго замолкает. Да, моя Гурия, мы доберемся до Релизана, пусть даже босиком. Мне плохо оттого, что не могу решить: убить тебя или оставить в живых, пусть сестра решит. Мы отправимся в ее края, под землю, к останкам и молитвам.*)

Знаешь, не пойми меня неправильно, но от дороги можно сойти с ума: с конца войны, той, настоящей, я наматывал по сотне километров в день. Почти никогда не останавливаюсь; и в конце концов дорога начинает со мной говорить. Она рассказывает о своей жизни, и все, что я тебе рассказываю, я обдумывал вместе с ней. (*Он шепчет, желая внушить мне, что это секрет или сноска из его воображаемой книги.*) В Алжире хорошо продаются две книги: кулинарные рецепты и Коран. По-моему, они друг другу не подходят. В Коране утверждается, что лучшая еда ожидает после смерти, а в книгах отца, наоборот, что надо есть досыта, пока жив. Наша страна колеблется между тем и другим, правоверные жуют то одно блюдо, то другое, отделенные, моя девочка, лишь великой смертью! (*Он улыбается, рад, что смог кратко изложить хотя бы часть истории*

Алжира.) Дорога длинная, и порой она сама принимается говорить. (*Я вижу, как его засасывает трясина меланхолии. Фургон продолжает разматывать дорожную петлю на востоке, за горами Уарсениса. Горы накатывают, словно волны. Видны горы-матери и горы-дочери, горы-бабушки, более высокие и прозрачные в дымке. Они испаряются под лучами солнца.*)

Никогда не знаешь, что уготовила нам дорога.

Мы едем.

Едем.

А потом, может, это случится. Дорога — она как судьба.

Вот почему в этот день праздника я за рулем.

Назови мне другое число, сестра.

Шесть.

(*Он на секунду закрывает глаза, потом открывает.*)

«6 января 1997 года. Убийство граждан в городе Олив в Дуауде (Типаза). Итог: двадцать три трупа. Среди погибших — трое детей и шесть женщин».

(*Он замолкает, затем продолжает.*)

«6 января 1995 года. Вырезана семья Лариби: Абдерахман Лариби, сорока семи лет (родился 6 июля 1948 года), его супруга Ямина Лариби, тридцати восьми лет, беременная на момент смерти

(в девичестве Буамра, родилась 13 июля 1957 года), Редуан Лариби, шестнадцати лет (родился 24 апреля 1979 года), все убиты в Блиде, еще один сын выжил».

6

Что же теперь будет, когда ты им покажешь правду? Ты — другая. (*Размышляет.*) Они не посмеют пожать плечами и посмеяться, отвернуться, потребовать, чтобы ты сменила тему, или вызвать тебя в кабинеты спецслужб. «Аисса, ты бредишь», — предупреждают они еще до того, как я раскрою рот. «Аисса, прекрати выдумывать числа и истории, тебя посадят». Видишь? Моя нога не доказательство, зато у тебя… (*Указывает на мою канюлю, смотрит на нее жадными глазами, и я гневно отстраняюсь. От резкого движения платок сползает, открывая кое-как наложенную повязку после нападения двух крыс. Обнажается «улыбка» с наложенными швами — нити, плоть и рана. Заметно, как он почти дрожит и готов закричать. Я в смятении, будто другая женщина, мумия, привидение. Нет, не так. Правильнее сказать, что я словно другой человек, внезапно осознавший, что не умер и никогда не умирал и что след от ножа — это еще и след от жизни.*)

Собираюсь рассказать тебе это, клянусь.

Пить хочешь? (*Протягивает мне бутылку воды, я беру, потому что ты хочешь пить.*) Есть

хочешь? (*Я пью, мы обе пьем, ты в качающейся темноте, где я тебя и убью, если сестра так решит. Я читаю: «Добро пожаловать в коммуну Уэд-Риу». Однако вокруг мелькают лишь бескрайние и нескончаемые холмы. Шоссе под колесами фургона вьется мимо старых деревень. Их силуэты со множеством домов, отбрасывающие тени, различимы вдалеке. Постоянно встречаются дорожные щиты, обозначающие абсурдные административные границы, которые нас приветствуют, прощаются или желают «доброго пути». Он продолжает, и в его голосе слышна молитва.*)

7

11:55

«А до Релизана далеко?»

Потерпи немного, и ты поймешь, почему Всевышний послал тебя сегодня, чтобы показать этим неблагодарным, что война 1990-х годов реальная. Что все было на самом деле. Трупы, цифры, крики, убийцы, имена, катибы, Эмиры. Когда приедем в Батну (*надо же!*), я покажу тебе груды кулинарных книг в нашем большом доме; очень старые, но все еще зеленые лимонные деревья. Сейчас дом пустой и пыльный, но кулинарные книжки везде там разбросаны, вот ведь хитрюги: победили маму ее же оружием, хи-хи! Их до сих пор покупают; они у меня там (*указывает большим пальцем позади себя на фургон*), я продолжаю дело: печатаю их и продаю.

Увидишь, в доме не такой уж беспорядок. Как в прежние времена, когда отец хвастался усами и щеголял в белом бурнусе, а я ходил на двух ногах. Уже много лет мне приходится колесить по дорогам. Из-за этого, моя девочка, клянусь тебе, дорога

преследует меня даже дома. Она сворачивается под столом, как змея, и ждет, пока на следующий день я поеду по книжным магазинам Алжира продавать товар или забирать выручку и непроданные экземпляры. Знаешь, я занимаюсь этим с начала войны, почти не останавливаясь.

Слушай! Мы сделаем остановку в Релизане, если захочешь поехать дальше, или вернемся в Оран. В Релизане купим тебе обувь и перекусим. Хорошо? После молитвы Зухр (*это полуденная молитва, девочка моя, укрывшаяся в чреве*) даже в праздник, как сегодня, работают мелкие закусочные. Мясо закажем, ты же, наверное, проголодалась? Хочешь еще воды?

Перед самой смертью от рака простаты отец почти не мог ходить, кричать, бить мух или прятаться от матери. В последние дни его жизни, клянусь, она брала его в кольцо, точно армия, окружала его травяными отварами, бормотанием, заботой, чистыми полотенцами, выстиранными простынями. Мы все понимали: пробил час ее славы, когда, по нашим традициям, она являла собой истинную женщину. Конечно, она перебарщивала. Да упокоит Господь ее душу! Думаю, мать всю жизнь мечтала о той минуте, когда отец не сможет самостоятельно отправлять

естественные потребности и будет ей принадлежать весь целиком, неважно, что больной. Вот такие настоящие женщины. Нет, она не желала мести, не дай бог, просто хотела быть его женой, единственной. Когда его навещали и осведомлялись о здоровье эль-Хаджи Герди, она, как и положено, в нужную минуту начинала рыдать.

В те месяцы мой брат Бенбадис дома не жил. Он учился в университете Алжира и разговаривал со мной только для того, чтобы дать понять, что я не умею писать; и я уходил расставлять книги, отправлялся за кофе или сигаретами (*надо же, он курит? Может, стрельнуть у него сигаретку?*). На неделе, когда брат возвращался в город, я оставался один, замерев на пороге комнаты отца. Он лежал на кровати, словно его настигло нечто такое, чего он избегал с давних пор. И постоянно бормотал, будто старался найти общий язык с мертвецами. Я смотрел на него, не в силах что-либо произнести, поскольку мы всегда мало разговаривали. Он глядел в потолок и отвечал только кивками головы. Вероятно, снова думал о том, как струсил перед Эмиром головорезов, велевшим ему продавать кулинарные книги. Его губы презрительно и высокомерно кривились перед врагом, поселившимся внутри него. Мне

кажется, он ссорился с Эмиром до последнего вздоха.

Отец почти удивлялся, видя нас с мамой рядом. Трудно представить, о чем бы я мог ему поведать, ты же знаешь, у нас не принято говорить, что у нас на сердце. Так я и стоял, замерев, а он изучал меня на расстоянии, словно со дна колодца. Я приносил ему воды и обезболивающее. «Эти таблетки меня не лечат, они меня убивают», — ворчал он и снова беспрестанно кричал от бессилия. «Какая досада, какая досада!» — твердил он, а когда чуть набирался сил, хлопал себя по худым бедрам. Я же стоял там и не мог припомнить ни одной подходящей фразы из какой-нибудь известной книги. У меня были две целые и крепкие ноги, как это могло ему помочь? Ему нечем с нами делиться, кроме хлеба и печальных вздохов.

За несколько месяцев до смерти отца я внезапно решил заняться делами в магазине и типографии, чтобы положить конец его вздохам. Эти запахи, особый аромат бумажного клея, мудрая тишина, старинные названия, картонные коробки, цифры и тонны книг, раздавивших моего отца, деда и предков. Подхватив семейное дело, я ничего ему не говорил, но он понял это по запаху моей кожи, когда увидел меня на пороге его комнаты. С той

минуты он словно бы успокоился, повернулся к стене и деду, будто возвращая давнишний долг или в чем-то каясь. Думаю, в своем тайном мире он смог поиграть с мячом. А потом умер. (*Его голос задрожал. Но почему-то взгляд окаменел. Почему правый глаз увлажнился, а левый горит яростью и нежеланием прощать?*)

Вот! Я продвигался шаг за шагом (*показывает омертвелую ногу и смеется*). Во время войны дела шли плохо. Я подвел итоги, купил фургоны и поехал по книжным магазинам страны, забирая выручку, причитающиеся деньги, непроданные экземпляры. Мы почти разорились из-за фальшивых блокпостов, сгоревших книжных магазинов, к тому же люди теперь боялись читать и признаваться в этом. Знаешь, моя девочка, в 1990-е годы многих книготорговцев убили за то, что они не торговали кулинарными книгами. Во время поездок мне попадались те, кто помнил отца; они отводили глаза, потому что не могли заплатить, или опускали жалюзи, узнав о моем приезде к ним в город. Только один, в Уаргле, в Сахаре, знавший историю моего деда, пригласил меня к себе и напоил чаем. Это было в пустыне. (*Пустыня, моя девочка, это такое место, вроде луны, где удается ощутить себя одним на всем белом свете.*)

Я еще не раз его навещал. Чудесные выдавались вечера! Мы смеялись над забавными легендами того добродушного края. Думаю, жители пустыни — настоящие алжирцы. Старик был такой древний, что его не волновали ни выручка, ни счета, и это мне нравилось. Пергаментная кожа, седая волнистая борода, морщинистые руки, словно завернутые в шкуру рептилий. Мы сидели на песке в проулочке деревни, надвигались оранжево-синие сумраки, какие случаются только в Сахаре. Там мы провели ночь, разглядывая звезды, и он рассказывал о них, как умиротворенный ученый. Тогда в последний раз я был счастлив, ничего не говорил и ничего не доказывал.

В этом человеке, судя по всему, того же возраста, что и мой отец, мне нравилась молчаливая улыбка. Однажды солнечным днем я приехал к нему, и он встретил меня как новорожденного. Мальчик-прислужник предложил нам умыться, принес кускус и чай; мы восхищались барханами около Сиди-Хуиледа; тишина сгущалась. Тебе надо бы там побывать. До наступления сумерек Хаджи Мимун усаживался рядом со мной, и мы хранили пылающее молчание Сахары, каждый — в своем уголке пустыни. Так происходило не от неловкости незнакомых людей, против воли

оказавшихся в одном месте, или скорбящих. Это было молчание, которое разделяют настоящие братья. Истинное молчание, когда жизнь проходит через тебя и наполняет жизнью другого. И только под звездами, когда наступала ночь, Хаджи Мимун брал слово, которое пустыня ему отдавала. Казалось, он находил ее отметины повсюду, различал следы ящериц на теплом песке. Связывал, точно веревочкой, истории, названия мест, книги и смех! Я слушал его с восторгом, какого никогда не испытывал, общаясь с другими: ни мать, ни отец ни разу не сумели погрузить меня в воображаемые миры, как этот старик. Он убедил, что я могу легко научиться читать, достаточно лишь увидеть знаки.

Тогда у меня ноги были еще крепкими. Брат Бенбадис преподавал в университете Алжира. Он недавно женился на одной из наших кузин, весьма противной, чьи родители переехали в Алжир, а кровь Герди надлежало хранить, подобно священным чернилам. В 1996-м брат и его жена устроились в квартале Эль-Бияр, в столице, в доме на холме, на восьмом этаже. Если выглянуть из окна, можно увидеть кусочек моря и почувствовать себя в другом месте. О море я только читал в книгах, оно напоминало девушку, с которой нель-

зя разговаривать, спрятавшуюся в узком окошке, в лесу добродетели. Что было потом? Когда моя невестка забеременела, я сначала подумал, что стоит назвать девочку именем моей матери, чтобы не выросла лентяйкой, как ее собственная, так я ей и сказал, смеясь. Мать скончалась за несколько месяцев до того, через три года после смерти отца; наверное, она мечтала отдохнуть от домашних забот, поскорее последовать за ним и начать все заново. Она страдала болезнью Паркинсона и Альцгеймера, потеряла память, что ее и сгубило; когда к ней обращались по имени, она с трудом отвечала. Мать умерла во сне, в своей спальне, в нашем прекрасном доме в Батне. У меня перед глазами так и стоит картинка: она плачет без причины, когда ей показывают зрелые лимоны, желтые, как лампы. Кажется, единственное мое воспоминание, оставшееся от всей ее жизни.

Я несколько раз побывал в гостях у брата, прежде чем он меня выгнал. Через год, когда родилась моя племянница, я приехал снова, прихватив барана и другие подарки. Родители навали ее Кальтум, а я ее прозвал Сэндибелл, чтобы не возвращаться к злосчастной истории с именем матери, клянусь. Сэндибелл — героиня мультфильма 1980-х годов, в эпоху черно-белого

телевидения, когда телевизоры были такой же редкостью, что и старинные золотые украшения из Константины. Ох, моя племянница, которая мне как дочь, позже отчаянно сражалась с болезнью. Как львица. Мы не спали ночами, теряли волосы и желание отвечать на расспросы близких. Нас не радовало их появление в Алжире, не нужны были их участие и вздохи, когда они узнавали, что у Сэндибелл в больнице выпадают волосы. Хотя у нас так не принято. «До смерти никаких погребальных церемоний!» — кричал Бенбадис, вне себя от ярости, когда при нем заговаривали о милосердии Божьем, судьбе, чудесах, опасности, то и дело возникавших фальшивых блокпостах между Алжиром и Батной, куда он возвращался на выходные, зарезанных, бомбах и угрозах университетским преподавателям.

Чтобы выкинуть все это из головы, я постоянно бывал в разъездах. Пытался упорядочить разрозненные мысли в моей голове, не прибегая к книгам, написанному и мудрости напечатанного. Я колесил по дорогам, и в ту пору дни и ночи окрашивались в одинаковый серый цвет. Сэндибелл заболела раком, и мы не знали, в какую дверь стучать: генеральскую или Божью. Надо заметить, что во время войны врачи были заняты

ранеными и трупами, их самих убивали, если они отказывались лечить Эмиров или военных. Смотри, это она за год до смерти (*показывает рукой на фотографию, прикрепленную к зеркалу заднего вида*). У нее глаза как у моей мамы, она была ее копией, теперь они, наверное, обсуждают что-то на небесах. Смерть мне представляется в виде большого жилого дома, куда помещают покойников соответственно их кровным узам на земле. Они обе тоже нечасто мне снятся, их вытеснила дорога, я же все время езжу. Почти ничего не читаю, книгам не доверяю, подобно моей матери, но продаю их, как отец, и вот все езжу и езжу. Видишь? (*Стучит по зеркалу.*) Я прикрепил сюда ее фото, чтобы люди за нее молились.

Хочешь узнать историю о голубой рыбке, которая хотела попасть на небеса? Хи-хи! Моя Сэндибелл обожала сказку о рыбаке и золотой рыбке. Волшебная рыбка предлагала все на свете, чтобы ее отпустили, она исполняла желания старика, но старуха была всегда недовольна тем, что он приносил домой. И в один прекрасный день рыбак потерял все из-за жадной жены, которая вечно хотела больше. Когда я навещал Сэндибелл в больнице Алжира, она задавала мне сотни вопросов о рыбке, как та говорила, почему сейчас

рыбки не разговаривают, угодно ли это Господу и прочее; а потом она засыпала. Эти старинные истории неинтересны такой девушке, как ты, родившейся совсем недавно. Хотя я верю, что ты доказательство того, что все происходило на самом деле. Ты когда-нибудь задумывалась, что твой шрам — знак Божий? Как письмена? Ты кривишься, думаешь, что я сумасшедший? Да, я не умею писать, но все-таки могу прочесть, что начертано на твоей коже. Это знак. Единственное доказательство, которое я видел с окончания войны. Все стерто, ничего не осталось, словно все выдумано мной, а тут в день жертвоприношения ты возникаешь на дороге, будто с неба свалилась! Если уж ты и восстала из мертвых, то наверняка чтобы подтвердить произошедшее, так ведь? Никогда не задавалась этим вопросом? Если уж ты осталась жива, хотя тебя зарезали, значит, такова твоя миссия, моя девочка, даже если ты не способна говорить, как мы, ты должна сказать самое важное; в стране миллионы болтающих людей, полно трепачей и разных голосов, но нужен именно твой, даже если ты еле шепчешь. Господь превратил тебя в шепот ради того, чтобы мы замолчали, когда ты начнешь говорить.

8

12:17

«Такая же дверь, лунная моя девочка»

Ты ведь сирота? Тебя хотели убить в автобусе? Около фальшивого блокпоста? (*Моя «улыбка» его завораживает, он с трудом сдерживается, чтобы не кинуться в нее, как любители падать в пропасть.*) Тогда каждое утро в газетах публиковалось больше сообщений о смерти, чем о рождении. Например, помнится 23 декабря 1998 года, двадцать лет назад. Ты уже родилась? Наступил двадцать шестой день Рамадана. На выходе из мечети после таравих-намаза (*долгих вечерних молитв во время поста, моя Гурия*) группа террористов остановила автобус, ехавший до Тенеса. Ты же знаешь, это изумительный город на побережье. И да, моя девочка, они расстреляли водителя Амора Абделькадера, кондуктора Маамара Антара и зарезали всех двадцать пассажиров. Среди них Карбаш с женой, Айюаз Хмида с семилетним сыном. Выжили только сын Карбаша и четырнадцатилетняя девочка из семьи

Айюаза. Все это здесь (*показывает свою голову*), все точно, выгравировано. Я знаю, почему храню такие истории. Потому что помню много дат, они будто выбиты в мраморе на кладбищенской земле. Пожалуйста, быстро назови какое-нибудь число!

(*Я произношу с отвращением и горечью «тридцать один». Цифра из моей жизни.*)

Тридцать один? «31 декабря 1998 года. Зарезаны три мальчика девяти, шести и трех лет и их сестра двадцати двух месяцев от рождения, их мать похищена, затем убита в деревне Джебабера между Хаммамом-Ригха и Хаджутом».

Хочешь, я расскажу тебе историю о тридцать втором декабря? Думаешь, его нет? Ну так слушай.

Дело было утром. 32 сентября 1997 года или 33 декабря, или 34-го, таких дней быть не должно. Невозможные, бесконечно длинные дни, их надо вычеркивать; в них живешь, но не можешь оттуда выбраться, заново начать нормальный отсчет. Я возвращался в сентябре из Уарглы, почти в этом уверен, и попал на блокпост военных между Уарглой и Сиди-Окбой. Солдаты выглядели совсем юнцами: безбородые, с затуманенным взглядом, они всматривались сквозь серый утренний свет,

пеленой окружавший каждую машину, подъезжавшую к контрольному пункту. В тот час дорога была безлюдной и угрожающей, настоящая безголовая змея. Помню их вооружение: ружья и автоматы Калашникова, выглядевшие увесистыми в их ручках! Мрачное оружие казалось больше этих подростков, по воле случая застрявших в пустыне. Видимо, они хотели есть, но должны были изображать героев войны за освобождение, патриотов, как и происходит все время в Алжире после того, как ушли французы. «Выходи, руки за голову!» — крикнул тот, кто приказал мне встать на обочине у скалы.

Я уехал от старого продавца книг из Сахары после первой молитвы, помню, он хотел, чтобы из предосторожности я остался еще на полдня. «Что везешь?» — пролаял солдат-дитя. Я проблеял тонким голоском ягненка, будто мне было десять лет: «Кулинарные книги. Везу в магазины Уарглы и Тимимуна». Клянусь тебе, он опешил от непонятных предметов, книг, совершенно неуместных в пустыне, которая ко всем прислушивалась. А может, удивился не книгам, а моему делу или ответу, или несовместимости книг и песка. Тем не менее он словно забыл значение слова «книга». Или счел странным и опасным, что человек

таскается с книгами в разгар войны, когда течет кровь и отрубленные головы валяются по улицам, как оливковые косточки, смоченные слюной людоеда. Меня окружили его соратники в зеленой форме, нервные, заинтригованные, испуганные. Я осторожно, медленно открыл заднюю дверцу фургона. Меня пробирала дрожь при страшной мысли о том, что появятся «другие», бородатые головорезы. Эти несчастные мальчики в панике могли выстрелить просто при виде тени, запутавшегося в силках голубя, змеи, просто услышав шорох. Вокруг простиралась немая пустыня, а мне вдруг ужасно захотелось пить. Я испытывал мучительное желание помочиться. Не вникая в мои страдания, солдат ткнул мне в спину дулом ружья. У него было суровое лицо, его раздражали любые живые существа, собственная судьба, начальники, история страны. Вся пустыня воняла, как сейчас помню, трупом собаки, раздавленной грузовиком несколько недель назад.

Они обыскали фургон, потом командир, на вид лет восемнадцати, отпустил солдат и осмотрел меня. Раскосые глаза, смуглая кожа, большие армейские ботинки. Он долго глядел на меня, затем обратился нарочито приказным тоном: «Книгу про рыб, быстро!» Я опешил, разгадать бы эти сло-

ва, пока они не заползли в голову как муравьи. «Книгу про рыб», — повторил он, указав ружьем на картонную коробку Я прикидывал, насколько медленно он двигается, чтобы его не волновать. Пустыня развернулась к нам, словно собиралась просверлить взглядом скалистых глаз. Открыв коробку, я вытащил большой иллюстрированный том с картинками рыб и сверкающих вод. Кажется, это была книга про рыбалку в Норвегии, она хорошо продавалась благодаря фотографиям. Протянул ему. Он опустил ружье на землю и, не говоря ни слова, долго листал, а я неподвижно стоял на холодном полуденном ветру, пытающемся пробрать меня до костей. Остальные солдаты вглядывались в тревожный горизонт, потирали руки, стараясь согреться. А он вдруг превратился в ребенка, все листал и листал книгу, потом отдал: «Уже несколько месяцев не видел рыб. Мы жили у моря, я сам из Тенеса». Он признался мне другим голосом, соответствующим его подлинному возрасту; потом спохватился и замолчал, смутившись от своего откровения. Я хотел было подарить ему книжку, но он резко мотнул головой, что означало «иди отсюда!».

Знаешь, дорога тебе не друг, она может задушить, украсть твои вещи, перерезать горло, сбить

с пути. Ты, девочка моя, единственное доказательство. Нельзя его потерять или рисковать. Понимаешь, либо ты, либо забвение. Я повидал дорогу во всех ее проявлениях. У нее тысяча лиц, но только один голос, раздающийся в твоей голове, никогда ее не слушай. Такой девушке, как ты, пережившей травму, страдающей от недуга или злящейся, не стоит стоять и покорно слушать ее нескончаемую болтовню. Она тебя оберет до нитки, украдет все твои вещи. У нее нет ни прошлого, ни будущего, ей до фонаря. Она схватит тебя за горло и потащит, уверяя, что доведет тебя до пункта назначения.

В тот день я курсировал еще два часа между Уарглой и Бискрой, не переставая думать о юноше и серебристых норвежских рыбках. В том пустынном районе Алжира дорога петляет. Рыбки мирно плавали в приветливой прозрачной норвежской воде, не подозревая, что оказались в Алжире в мечтах другого рыбака, затерянного в барханах. Меня еще раз остановили у другого военного блокпоста рядом с местечком Корра. Невозмутимые, как джинны (*никто не знает, кто это такие, моя девочка, спи спокойно!*), они дрожали от злости и холода, померзшие до костей. И волновались сильнее прочих военных. Меня

сразу развернули назад, поскольку на деревню впереди, где располагался их гарнизон, прошлой ночью напала «Катиба»[8] террористов (*группа армии бородачей в войне 1990-х годов, уничтожившая мою семью и мой голос*). Меня обыскали с ног до головы и прогнали как подозрительного субъекта. В пустыне слышались выстрелы.

Помню, как за одну невероятную ночь я проделал обратный путь и оказался в месте, которого никогда не видел, но куда так ни разу и не смог вернуться, чтобы повнимательнее его рассмотреть. Единственная история моей жизни, которая пока не завершилась, случилась там. Настоящая история, моя девочка. Моя подлинная история, но никто сейчас не хочет больше ее слышать.

[8] Примечания: 8

Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

9

12:35

«Я вроде бы вижу выход, моя Гурия»

Теперь, когда я стал старше, думаю, есть и другая дорога. Всегда была. Она скрыта за всеми другими. Иногда появляется в виде параллельной линии, а иногда удаляется и прячется. Не та, что исчезла в тумане после литров кофе и бесконечных разговоров долгой ночью. Ту другую дорогу-каннибала я обнаружил, убегая. Она как стервятник, который, моя девочка, прячет кости в пещере или расщелине. В котором часу это было? Да откуда мне знать! Даже по небу не определишь. Я столько раз рассказывал эту историю, что она стала пресной, подробности стерлись; но она подлинная! Напоминает ситуацию, когда слишком долго вглядываешься в лицо близкого человека и потом не узнаёшь его. Сомневаюсь ли я в том, что видел? Да, моя девочка, признаюсь. В какое-то мгновенье подумал: Аисса, начни жить заново, женись, сходи в мечеть, чтобы попасть в рай! А порой твердил про себя: если никто тебе

не верит, твой мозг сгниет, как от рака. И я езжу годами в поисках ответа: надо ли прислушиваться к дороге или нет? Постоянно об этом думаю.

Вначале я думал, достаточно поговорить с полицейским или кем-то еще в казарме и вернуться домой. Но не получилось: история засела тут (*показывает на голову*) и постоянно повторялась. Она то обрастала подробностями, то их теряла вместе с деталями, которые мне необходимо было упомянуть. Однажды ночью я осознал, что стучу в дверь жандармского участка Батны, в другой раз записался на прием к полковнику, отвечающему за военное положение в нашем городе, который разместился в известной Белой вилле. Щуплый начальник с пышными усами вежливо меня выслушал, моя семья ведь уважаемая здесь! Он что-то записывал и кивал головой, сидя под портретом президента на стене. Почти успокоившись, я вернулся домой и попробовал заснуть. Однако всплывали новые подробности, которые множились, как муравьи или осколки разбитой посуды: сапоги убийц, запахи. Чем же пахло? Кабаном? Дворнягами? Мускусом? Я опять сомневался. Это случилось в полдень? Или позже, к вечеру? Не упомнишь! Небо тоже не давало ответа. И еще: сколько было головорезов? Как мне

удалось часами вести машину, с раненой ногой, истекая кровью, подобно зарезанному теленку? Я пытался понять, не лгу ли сам себе, не скрываю ли, кто я такой: не террорист ли или гражданское лицо либо же военный, не заснул ли я за рулем. Валлахи, трудно решить!

Несколько месяцев, не выходя из дома, окруженного лимонными деревьями, я обращался к самому себе, представляя, как бы шевелились губы отца на смертном одре; не переставая твердил одни и те же реплики, те же слова, которые я уже произносил, и те, что произносили другие, когда я прибыл на место, прямо в западню. Знаешь, сегодня нам не нужно говорить о той войне, даже тогда этой темы предпочитали не касаться, ну, ты меня понимаешь. Ведь нет книг, фотографий, свидетелей, фильмов, нет никаких доказательств. Так я считал, пока сегодня не увидел тебя на дороге, пока не встретил тебя в этот священный день. Понимаешь? Со временем все размывается. У нас украли подробности войны, мы уже не различаем то, что было ясно накануне вечером перед сном. Вот так! Это не забвение. Я хочу сказать, что можно выдать ошибочную версию, усомниться в картинке, поверить, что все кончено. Но подлинная история, например моя, не позволяет

выйти на улицу, побриться, одеться, никуда не пускает, понимаешь, моя девочка? Это отчасти похоже на борьбу моей матери с отцом, но таким, кто не умеет ни читать, ни писать, и матери, у которой не получается вымыть все в комнатах моей головы. В итоге даже мои служащие стали меня избегать. При встрече со мной кузены скучали либо раздражались. Многие опускали глаза, удалялись, переходили на другую сторону улицы или переставали звать меня в гости.

Вот так, моя девочка. Жизнь несправедлива. У меня не осталось ни одного доказательства, все, что касалось войны, где погибли сотни тысяч человек, давно исчезло. Господь, слава Всевышнему, написал книги, чтобы о нем помнили. А я так и не выучился писать. Через несколько лет после того, что случилось по дороге в Бискру, никто больше не желал со мной разговаривать. И я снова сел за руль фургона, продолжая дело отца, продавая кулинарные книги, хадисы Пророка и толкования Корана.

10

12:45, в белом фургоне

Это я, моя большеглазая Гурия. Твоя мама, мы несколько часов в этом лабиринте.

Забудем на секунду об этом безумце, погруженном в свою историю.

Рискованное предприятие для нас обеих! При мысли о том, что я одновременно обрекла тебя на жизнь и на смерть, сердце бьется сильнее. Мы спросим Таймушу, позволит ли она приблизиться к ее небесной ране. Возможно, будет против того, чтобы мы касались пальцами перерезанного горла. Если нам доведется войти в ее покои, таинственную разверстую могилу, в которой ее голову бросили подальше от тела, мы зададим ей множество вопросов. Голова — солнце, тело — ночь, одно обезглавливание на рассвете, другое — в сумерках. На следующий день после резни жители деревни впопыхах могли похоронить ее с чужим телом, с чужими руками, с мужскими ногами, и не исключено, что через двадцать лет после бойни она чувствует себя виноватой и жуткой.

Сегодня небо окрасилось золотистой пылью, по обочинам шоссе вьются каменистые дорожки, и я уже не знаю, как назвать места, мимо которых мы проезжаем. Все и старое, и новое. Как детские сны у очень старого человека.

Видишь: деревья в окне? Они приближаются, а потом быстро скрываются позади. Так и с голубями, небо подбрасывает их пригоршнями в воздух, они зависают в невесомости и отлетают к прежнему месту. Мысленно я проделала то же самое с тобой: уставилась на небо, пока верх и низ не слились воедино, таращилась на солнце, пока не потекли слезы и в живот точно лезвия вонзились. Дорога показывает какую-то деревню, строения, где укрылись те, кому жизнь не мила. Я вспомнила! Знаю, что истекала кровью в скорой помощи 31 декабря 1999 года, которая везла меня по этой дороге; да, я умирала и, да, продолжала считать, пока мое горло улыбалось. Два, двадцать, сорок четыре, потом сбивалась, но, видимо, это было важно, поскольку пятилетняя девочка цеплялась за жизнь и проговаривала эти разрозненные числа.

11

12:49

«Последняя дверь?»

Сестра, ты меня слушаешь? Умоляю, не отключайся, это важно. В тот сентябрьский вторник 1996 года солнце, напоминавшее разбитое яйцо, не давало дню погаснуть. Словно первый раз открыв глаза, я обнаружил, что у дороги есть голова, рот и зубы. Когда дорога полагает, что ее никто не видит, она окутывается запахами грязной шерсти и мочи, становится тварью, пожирающей плоть, обгладывающей кости. Два часа я каждый километр внимательно присматривался, нет ли впереди фальшивого блокпоста, поставленного головорезами, пока передо мной не появилась засада из молоденьких солдатиков. Я сразу же увидел, что случилось. Казалось, проигравший перевернул шахматную доску. На земле и в небе виднелись черные пятна, на барханах — следы шин, и повсюду кровь. Казалось, ребенок опрокинул ведро с краской или испачкал ею стекло. Железом пахло на асфальте, на песке, на моей

коже, в голове, в облаках. Даже сейчас, спустя двадцать лет, когда я спотыкаюсь, падаю, сбиваю собаку, эта картина накрывает меня как простыня. Набрасывается на меня и превращает в джинна, клянусь! Именно там я впервые увидел пророков. О нет, я не считал, сколько было отрезанных голов! Позже, чтобы удостовериться в увиденном, подсчитал, и все же так и сомневаюсь в точности. Я годами пытался выяснить число, однако итог менялся, как четки с бесконечной ниткой. Десять? Двенадцать? Одна? Память, ответь! Но она словно девочка, перебирающая пальчики.

И что я сделал? Я, сестра, набрал скорость. Закрыл глаза, сосчитал до десяти и продолжил ехать в оранжевом свете, клянусь тебе! Мне не хотелось этого замечать, но хватило нескольких мгновений, чтобы все стало понятным по единственной детали: по лицу ребенка, мечтающего о рыбках. На этот раз он лежал со скучающим выражением, уставившись в небо, но тела не было. Как футбольный мяч странной формы. Ты когда-нибудь видела отрезанную голову? Прости, не хотел тебя ранить, просто объясняю. Если голова валяется отдельно на земле, это почти смешно. У несчастного серьезное лицо, и

он кривится, раздраженный каким-то пустяком, хотя уже мертв. Ну, не знаю! Мне показалось это забавным и ужасным, особенно распухший язык, вылезший изо рта. Я посчитал голову юноши с рыбками и другие, что лежали рядом. Черные мячики, по воле случая раскатившиеся, как на бильярдном столе.

Время замедлилось, но внезапно кто-то швырнул камень в дверцу со стороны пассажирского сиденья, вон туда (*показывает в мою сторону*). И я почувствовал, что меня в бедро будто цапнул скорпион. Начал петлять по безлюдной дороге и через двадцать метров въехал в песок. В эту минуту за мной пришел Эмир со своими хохочущими людьми, внезапно вылезшими из песка. Они вытащили меня из фургона, хотя я прикидывался мертвым, и пинали ногами, как дохлого пса. Они разбили мне нос прикладом, наступили ботинком на шею, что-то говорили, я смотрел на небо снизу вверх сквозь чью-то бороду. Тебе ведь это известно, правда? (*Его глаза сверкали, как у опасного заговорщика.*) Знаешь, когда близится смерть, такое ощущение, что ты оторвался от книги, в которой более нет смысла, а вокруг все говорят на иностранном языке.

Назови число.

Шестнадцать? (*Голос ящерицы, голос рыбы.*)

«16 декабря 2000 года: вооруженная группа ворвалась в дортуар технического училища в Медеа. Шестнадцать учащихся и старший воспитатель были убиты».

12

12:59

Потом я доехал почти с закрытыми глазами до города Уаргла. Кафе только-только открылось в ранний час. Ветер с красным песком покрывал стены и лица, стучался в двери, словно нес дурные вести. День напоминал густые сумерки, скрывшееся тусклое солнце казалось больным. Я попробовал прийти в себя, прислушался к собственному дыханию. Долго сидел в автомобиле перед безлюдным кафе. Запуганный, дрожащий, боялся выйти из машины. Да, моя девочка, я обмочился и сгорал со стыда. Несколько человек скучились на автобусной остановке, застыв столбом в упорном ожидании. Клянусь, все еле дышали. В какую-то минуту ветер с красным песком унес весь город, я слышал, как он завывал, ополчившись на целый мир. Я не шевелился, моя девочка, так и сидел в мокрых штанах и боялся открыть дверцу. Дорога говорила со мной девчачьим голосом. Она твердила, что, если не ступать на землю в течение дня, его можно перезапустить снова, как двигатель, и нет ничего, на что

пришлось бы смотреть, ничего не повторится. Однако, когда Эмир наступил на меня ботинком, он резко и торжествующе произнес: «Иди и расскажи им, что видел. Расскажи им все в подробностях». На голос дороги накладывался голос Эмира, в ту пору он был богом, моя девочка.

Сейчас история девятнадцати солдат, зарезанных у военного блокпоста в Темасине, снова всплыла в моей голове тысячью подробностей, и я обязан продолжить, чтобы она стала столь же известной, как Коран. Командир сказал ясно: «Иди и расскажи всем, что видел! Беги, ничтожество!» — и дал очередь в воздух из своего калашникова, а остальные вокруг смеялись, и день мерцал наподобие красной свечи. «Беги!» — крикнул он, и с тех пор я езжу, бегу, но история не вышла наружу, она остается, и непонятно, что с ней делать, после того как закон запретил нам вспоминать то черное десятилетие.

Мальчик-солдат утверждал, что несколько месяцев не видел рыб. Он не сводил глаз с большой картинки норвежской реки, ее серебристо-голубой воды и сотни мелких камешков на дне. Словно ангел, склонившийся над золотой книгой! Но моя память все перемешала. Такой же совет дала мне дорога, но когда: через два года после или

за два года до того? Не припомню, моя девочка. Когда поздним утром я вернулся в Алжир после долгого пути из Аннабы, у меня еще был шанс, как нашептывала дорога, перемотать вспять тот день. Я также ощутил холодок между ног, в ушах слышалось то же дорожное бормотание. «Не вылезай, не ступай на землю, и все будет как прежде, ничего не случится, и она задышит, как раньше. Главное — не касайся подошвами земли. Езжай дальше, и мы вместе будем слушать и поддерживать друг друга». Когда в пять часов дня их обнаружили, в живых осталась только дочка моего брата Бенбадиса Сэндибелл. Она боролась с раком, и мы решили, что судьба удовольствуется одной бедой. Ох, может, в ту ночь мне не нужно было гнать на полной скорости. Знаешь, моя девочка, они остановили машину брата в Кадирии. Он возвращался в Батну на выходные вместе с женой и выздоравливающей дочкой, чтобы погостить в нашем доме. Сэндибелл обожала лимонные деревья, двор и старую мебель, которая, как ей чудилось, с ней говорила.

К четырем часам, средь бела дня у фальшивого блокпоста выстроилась длинная очередь машин на проверку, что выглядело необычно. Головорезы обыскивали одну машину за другой,

отбирали вещи у проезжавших, а потом каждого убивали. Им по очереди перерезали горло в кустах. Сэндибелл нашли в зарослях полуживую, истекшую кровью, горло ей в спешке перерезали не до конца. Представляешь? Понимаешь? (*Эта история — погружение в кислоту, шутка Бога, моя Гурия, или хохот моей сестры Таймуши в ее царстве безголовых.*) Я мчался на всей скорости из Аннабы в Алжир, но в последний момент, приехав в больницу Мустафа-паши, засомневался. Если не коснешься земли, все останется во сне, твердила дорога. Дело было в субботу, 7 сентября, на рассвете. Когда я приехал в Алжир, маленькая отважная девочка, наверное, была еще жива. А может, испустила последний вздох, как только я ногой коснулся земли.

И вот теперь у меня сомнения, понимаешь, сестра? Оказался ли я у блокпоста до смерти брата, его жены и Сэндибелл? Не могу быть уверенным в таком порядке случившегося. Или это произошло после? Невозможно решить, подводит ли меня память или же предлагает мне истину, еще более глубокую. Прежде всего сложно с датами: первый блокпост — седьмого, в субботу, и второй — в субботу, седьмого. Значит, с разницей в год. Но в то время десять лет войны

и убийств шли за год. Тысяча лет за день, день, длящийся тысячу лет. Ты, конечно, спросишь: «А ваша нога?» Утверждать ничего нельзя. Меня точно ранили в пустыне Эмир и его люди. Всю долгую дорогу до Уарглы я истекал кровью, как зарезанный теленок; меня нашли без сознания в фургоне и приняли за сбежавшего террориста, пока в глубине фургона не обнаружили книги, спасшие мне жизнь, — террористы не читали, и меня оправдали. Возможно, когда я мчался как сумасшедший ночью от Аннабы до Алжира в тот день, которого нет в календаре, в тот год, отовсюду вымаранный, произошел несчастный случай. Думаешь, я приукрашиваю настоящую историю? Ну если совсем чуть-чуть. Вероятно, порой присочиняю, как в книгах, чтобы важная истина была понята. Но ты же знаешь, от войны 1990-х годов не осталось следов, подсчетов, изображений, никто не помнит или не хочет помнить о том прошлом, о тебе, обо мне. Впрочем, моя короткая нога ничто по сравнению с твоим шрамом на шее. Уж точно! Это явный знак! Понимаешь?

К концу войны не осталось никого: ни отца, ни матери, ни брата Бенбадиса. И даже Сэндибелл. Посмотри как следует на фотографию.

13

«Полагаю, в центре лабиринта»

В то сентябрьское утро 1996 года солдат лежал как выброшенная на берег рыба, его кровь капала на дорожный асфальт и растекалась. Не лужей, яростными мазками. Девять, или десять, или девятнадцать солдат того блокпоста были убиты спустя час после того, как его проехал утром. Я не двигался, только камень в груди размалывал ребра. Ветер жаждал ощутить их дыхание, а великая Сахара отворачивалась от нас. В этих местах постоянно создается ощущение, будто кто-то издалека за вами наблюдает или тут существуют лишь сновидения и восходы солнца. Я краем глаза взглянул на тела, но ясно видел головы, разбросанные по земле. Камни, люди, лежащие в пустом месте, то ли вороны, то ли крысы — такими они мне привиделись.

Что я мог тогда сделать, моя девочка? В то время у меня была только одна жизнь, собственная. Я вскочил в свой белый фургон с кулинарными книгами и норвежскими рыбками. И снова пустился в путь, повторяя, что так не бывает,

что все это неправда, пока не раздался выстрел, пробивший дверцу, и скорпион меня не укусил. Пустыня, Эмир и его люди рассмеялись мне вдогонку. Моча струилась вдоль ноги, сердце колотилось, а фургон тащился на брюхе через неподвижные барханы. Но я ни о чем другом не думал. Позже вел фургон вслепую, клацая зубами. Дорога опять приняла меня в свои объятия, успокаивала, гладила по шее и шептала увещевания стариков, которым уже нечего терять. Они взяли и вытащили меня на холодный песок.

Дочь моего брата Сэндибелл умерла в сентябре следующего года, но дорога нашептывает мне, что это произошло за год до того; сложно сказать наверняка, понимаешь. Не стало и ее матери, и моего брата Бенбадиса, умевшего читать и писать, который преподавал в университете Алжира и приумножил славу нашей семьи. Прошло почти двадцать лет. (*Он смотрит на фотографию. Та отвечает улыбкой. Голубая рыбка под зеркалом дергает крючок с наживкой и подскакивает на дорожных ухабах. Может, выпрыгнуть, когда он затормозит? Но куда мне идти? В Оран? В Релизан? Туда, где я лишилась голоса, к моей сестре, которая захочет узнать, почему я закрыла глаза и убедила Эмира, что*

умерла?) Седьмое сентября как тридцать четвертое или сороковое ноября. Я спал в номере отеля в Аннабе, объехав местные книжные магазины. Когда телефон зазвонил так поздно вечером, я понял — какая-то плохая новость. Всякий раз, как я отвечал, со мной разговаривали крайне приветливо и ласково. Звонили соседи из Алжира и Батны. Они тяжело дышали, подбирая слова, которые хотели до меня донести. Совершенно оцепенев, я сидел на кровати, и мне казалось, будто я под водой или в пробоине и нас связывает некая нить. Они вздыхали, спрашивали о Боге и моем здоровье, уточняли, что до Алжира и до больницы Мустафа-паши дорога длинная, кто-то говорил, надо выезжать, ведь там мой брат, кто-то — что не надо, ведь уже поздно. Я поехал, и дорога длилась, тянулась, как сама жизнь. Она вынуждала меня объезжать, обрушивая камни на горных трассах. Ветер дул в лицо. Да, я плакал. (*Из его левого глаза текут слезы, а я не люблю сидеть рядом с плачущими, они считают, что я обязана им что-то сказать.*) Дорога не сдавалась, сопротивлялась, пыталась помешать мне доехать до Алжира. Сейчас я осознаю, что мы разговаривали и спорили на протяжении пятисот сорока девяти километров. «Не надо туда ехать», — твер-

дила она голосом моей матери. «Даже не пытайся доехать. Все станет тяжкой реальностью, как только ты ступишь на землю. Ты больше не сможешь носить на спине инвалида», — и это был голос отца. Какая-то женщина позвонила, пока я перемещался в мире, отличном от нашего. Она кричала нечто невнятное. Эта родственница по линии сватов проклинала нас, «весь род Герди и страсть к книгам». Она твердила, что брат оказался мишенью из-за книг, найденных в его машине. Потом некий мужчина сдержанно представился жандармом и велел прибыть до полудня. Еще какой-то старик выразил соболезнования, я не запомнил его имени, он вроде как знал моего отца. Другая женщина все повторяла: «Благодари Всевышнего. Он вечен», а потом принялась беседовать не со мной, а с Богом. Наконец я добрался до Алжира еще до полудня, ступил на землю, и разочарованная дорога испустила последний вздох. Я направился в больницу Мустафа-паши. Грязные стены, все вокруг кажется непосильной ношей тому, кто идет там по коридору. Тяжесть гор на моем хребте.

Сэндибелл уже умерла, я это понял, потому что царила абсолютная тишина, словно в уши засунули вату. Дитя положило голову на тихую

постель, но голова странно наклонилась назад, на шее — толстый слой повязки, гораздо толще, чем у тебя. Брат Бенбадис и супруга тоже умерли, поскольку не пришли ее оплакать. Они навечно отправились в мир иной. В машине, где их зарезали, от них осталось совсем немного. Их сожгли вместе с книгами, которые они перевозили.

В какое-то мгновенье мне привиделся отец. Мелькнул в памяти. И я понял, что остался последним из рода Герди, что не смогу написать продолжение нашей древней истории. И что все предки на меня обидятся. Видимо, наша фамилия исчезнет из-за моего нелепого поединка с отцом. Я разрыдался и покаялся перед всеми. В коридорах больницы на меня поглядывали деловито снующие врачи. Слова уже не нанизывались на нитку, как бусы на шее матери. В ту ночь в Алжире из ученого языка отца исчезли и клей, и страницы, вот так, моя девочка. Листы валялись по полу, по ним ходили, подмечая то, что прятала темнота: неплотно прикрытую дверь в палату с двумя пустыми кроватями, круги под глазами, деталь стула, перегоревшую лампочку в замызганном больничном туалете. Окна в кабинетах, где надлежало получить бумагу для отправки тела в Батну, были открыты, чтобы разглядеть ночь,

не знавшую, куда деться. И я поклялся себе, моя девочка, что никогда в жизни не остановлюсь.

Вот уже двадцать лет, как я захожу во все книжные магазины и жду снаружи, если они закрыты. Предлагаю кулинарные книги, книги о потустороннем мире, рае, женщинах в раю, хадисы Пророка, очерки о войне за независимость, на чем неплохо зарабатываю. Знаешь, я даже умудрился жениться; правда, это продолжалось всего несколько месяцев, моя жена вскоре меня бросила, прихватив с собой телевизор и посуду, поскольку она не выдержала присутствия второй жены — странницы, дороги, отнимавшей у нее мужа. Красавица дорога, с такими длинными черными волосами под гребнем солнца. И мне в наказание жену обуяла невероятная лень, тяжелая, как ее тело. Ей было лень расчесывать волосы, вытирать пыль в доме Герди, укладывать лишние книги в коробки, поднимать повыше балдахин в нашей спальне, когда я возвращался издалека и хотел отдохнуть. Ничего не делала. Хорошо, что она меня бросила! Когда зайдешь к нам в дом, увидишь, что все осталось, как во времена былой славы: та же мебель, те же ткани… В битве книг отца с водой матери победила пыль, но не везде. Она победила в углах, на потолке, во

дворе; через трещины плиток пробились сорняки, лимонные деревья совсем заросли, богатый урожай лимонов съела тля. Там тебе и стоит пожить и передохнуть, если не знаешь, куда идти. (*Я поворачиваюсь к этому безумцу и с удивлением вижу, что левый глаз приоткрылся и обнаружил пустоту его жизни, его безумную надежду.*)

Не бойся! Я только хотел сказать, что тебя с твоей отметиной послал Господь. Хорошо, что ты показала свою рану. (*Он протянул палец к моей шее, я невольно отпрянула.*) Единственное имеющееся у нас доказательство! В реальной жизни никто мне не верит, а я не умею писать. Ты возникла из ниоткуда, и теперь, кажется, у меня появится голос получше. Вот так. Не надо ничего говорить, просто смотри им в глаза и время от времени снимай платок. Между прочим, если хочешь чем-то заняться, можешь работать у нас в типографии в Батне. А теперь скажи: кто это сделал? (*Не волнуйся, моя девочка! Мы выберемся из машины и побежим. Дыши глубже и считай до десяти. Вдох, выдох.*) Если вот так и будешь ходить босиком километрами, дорога с тебя кожу сдерет (*смотрит исподтишка на блузку, разорвавшуюся на плече, и брюки, запачканные на коленях после падения*). Ты ведь женщина; она от-

даст тебя мужчинам, погубит, предаст, закопает в пустыне. Осторожно! Пусть я и в проигрыше, как и в выигрыше, я спасу тебя, клянусь. Мы поедем в Батну, там ты будешь в безопасности.

Не надо ходить долго под солнцем. В июне от него можно сойти с ума.

Конечно, сегодня никого нет; мужчины заняты скотом. Но потом придет твоя очередь, малышка. Выслушай меня. Мы перекусим в Релизане и поедем дальше. Вот, возьми мои сандалии для омовения (*поворачивается, тянет руку назад и вытаскивает пару красных резиновых мужских тапочек*). С дорогой приходится хитрить, держать ее на поводке, как дурную собаку, заставлять ее поверить, что ты не существуешь, тебе надо спрятаться в моем доме. Ну? Ты меня слушаешь? (Господи, надо бежать! С его ногой он меня не догонит.) В Батне у тебя всего будет вдоволь, и дорога закончится. Я мог бы больше не водить. За руль сядет кто-нибудь из моих служащих. Ты ничего такого не думай, бога ради, мне нужна не жена, а дочь…

Назови еще число.

(*На этот раз не колеблюсь. Надо подыграть. На указателе надпись: «Добро пожаловать в*

Релизан».)

Двадцать один.

Ну, вот: 21 июня 1996 года в Байнемском лесу неподалеку от Алжира были найдены три женских трупа. Одна из убитых была парикмахершей.

14

Около 13:00, в его белом фургоне

Как долго он погружен в свою беспрерывную болтовню? Уже целых два часа, лунная моя девочка, цветок из плоти. Почти два часа слежу за его руками. Особенно за правой, которой он размахивает у моего лица. Слежу за рычагом передач, за его различающимися глазами: одним, что прикрыт угрюмым веком, и другим — тем, что не закрывается, замученным и зажатым. Нужно безумно много времени, чтобы разделить ветер, слепоту и внутренний язык в его долгом рассказе. Взглянув на фотографию племянницы или дочери, я сразу поняла, что его внутренний язык взял верх над словами всех других людей. Поверь мне, он никогда не осмелится замолчать. Если и отважится на секунду, то окажется связанным по рукам и ногам в своем тяжком, тревожном молчании. Однажды он потерял голос на несколько часов, и больше ни за что на свете не хочет, чтобы это повторилось. Надеется спасти свою шкуру, рассказывая о своем прошлом.

Желтая равнина, холмы, на которых больше

нет молока, коз, собак, пляшущие столбы, столбы за столбами, провода, бесконечно длящаяся дорога накатывает волнами в моем животе, и меня тошнит. Пока этот незнакомец вываливал все наружу, я подумала, не стоит ли открыть дверцу, выпрыгнуть в пустоту, покатиться по земле, разбиться на мелкие осколки, как посуда с нарисованной птичкой райского зеленого цвета. Чем не решение — умереть обеим так, у сестры на глазах?

15

13:11

«Еще один коридор и стены, жемчужина в моем чреве»

Почему они пощадили меня? Почему именно меня?

(*Он поворачивается ко мне, делая вид, что ждет моего ответа, потом нетерпеливо продолжает, страшась его получить. Я потеряла нить его рассказа, совсем растеряна, в ногах просыпается боль, словно меня бросили в колючий кустарник. Сколько же я шла вдоль шоссе, пока не оказалась в белом фургоне? Два или три километра, все босиком, не помню точно.*)

Утром я ехал по этой дороге, будучи безрассудным юным водителем. Тогда все меня предупреждали, что не надо ездить до рассвета и после заката, однако никто не обращал на это внимания, поскольку с трудом верилось, что идет война. Она уже была в разгаре, с бомбами, отрезанными головами, похищенными и изнасилованными женщинами, трупами, но мы хотели

жить как прежде, ничего не замечать, перешагивать через тела, продолжать беседовать о разной ерунде, прежде всего о женщинах и редких дождях. Дороги казались безопасными, свободными и спокойными, если не наткнешься на Эддиба эль-Джиаана (*Голодного волка, намоем тайном языке*). И все равно не понимаю: почему именно я? А? Почему не другой водитель следом? Ведь многие колесили тогда под красным небом, слушали музыку, болтали с друзьями, заснувшими в машине. Это было не главное шоссе, а всего лишь основная дорога в той пустынной местности. Тогда еще не построили западно-восточную магистраль, появившуюся в 2000-е и зачеркнувшую ее. Знаешь город Бискру? Он на юге. Разумеется, в то время (*он пристально смотрит на меня, и я разделяю его опасение: его пугает, что я не поверю ему, просто перестану слушать. Я почти и перестала. День расплывается как бумага от влаги, точно газета на ветру, с датой вверху страницы и…*) я и представить не мог, что на обочине выставят в ряд головы, чтобы поймать добычу вроде меня. Вот ведь идиот!

В глазах стало темно, я ни о чем не мог думать, пока мое тело волочили по песку. А может, представлял отца, его белый бурнус, лимонное дерево,

книги, но молчал и почти не дышал. Террористы пинали меня ногами, хохотали, я упорно притворялся трупом, это их особенно веселило, они прыскали со смеху и хлопали себя по бедрам. Мысленно перебирал имена Всевышнего и суры, путавшиеся в моей безумной молитве. (*Аисса периодически следит, насколько внимательно я слушаю, обеспокоенный мертвенностью моего лица. Чувствую, как он задыхается, боится, опасаясь, не отдалюсь ли я мысленно еще сильнее. Оценивает мое молчание.*) Может, все и впрямь замерло, даже кровь не поступала в сердце. Кажется, я ничего не ощущал, окаменел, хотя это не была зима, Страшный суд, и даже не бессонница. И ждал, когда меня прирежут, как барана, наблюдая все как бы со стороны. Когда они вытащили меня из увязшего в песке фургона, я ничего не чувствовал, ни ног, ни головы, ни языка, только глаза, и закрыл их. Молодой человек, каким я был, думал, что война — кино времен французского владычества или досужие разговоры в кафе. Представляешь?

Газет я не читал. Я не читал и не умел писать. Крупный просчет одного из Герди. В то утро с уткнувшимися в меня черными дулами обрезов моя жизнь разбилась пополам. Одна часть

— вечная, с подброшенным в воздух футбольным мячом. Это прошлая жизнь. Она умерла как поношенная рубашка, ставшая кухонной тряпкой, как моя нога. Другая часть — дорога, тысячи километров на спидометре, та, что ищет, кому бы рассказать историю, которая так и не заканчивается в моей голове.

Разве я тебе не сказал? Когда долго едешь один, дорога с тобой начинает разговаривать. Передает историю твоей жизни, а столбы, деревья и холмы убегают, как те, кому надоело тебя слушать, и, главное, открывает тебе нечто новое. Со временем я вдруг стал сомневаться в собственной версии событий, в том, что наблюдал своими глазами в течение двух часов. И поскольку у меня не было ни отца, ни сына, ни дома, прислушался к голосу дороги и вернулся к началу моей истории. Когда я намотал миллион километров, то осознал, что не стоило сомневаться. И то, что история, когда Голодный волк и его люди оставили меня в живых, уничтожив девятнадцать солдат на дороге в Бискру, уникальная, с тысячами смыслов. Если хорошенько подумать, она серьезнее, чем простой случай. Ведь если головорезы выбрали меня, чтобы поведать кровавое предание о седьмом сентября, значит, я был избран. И кем? Богом,

отцом, дедом, книгами, кем же?

Знаешь, ты не обязана мне верить, просто послушай (*он пристально смотрит на меня, а за ним мелькают десятки деревьев*), и, если долго смотреть на дорогу, она и с тобой заговорит. О да! Но ты девушка, совсем юная. Что ты делала в праздник на безлюдной дороге? У тебя нет семьи? И даже обуви нет! (*Он замолкает и погружается в свои мысли, пытаясь выудить что-то оттуда, из глубины, потом снова оказывается в своем саду безумия.*) Знаешь, женщинам дорога приносит беду, отнимает честь и репутацию; хуже для женщины не придумать, чем довериться дороге. Поверь, это полный кошмар! Ты же не хочешь, чтобы я развернулся и отвез тебя обратно? Откуда ты пришла? Знаешь, куда идешь? Нет? Не хочешь ничего мне рассказать? Клянусь, ты пожалеешь. (*Осознав зловещий смысл своей угрозы, он поскорее хочет это исправить и смеется.*) Нет, я просто имею в виду… то, что ты очень пожалеешь, позволив мне заговорить первым. Все об этом жалеют! Тебе захочется выбежать на улицу, или заткнуть уши, или умолять меня передохнуть. Каждый, кого я встречаю, в конце концов уносит от меня ноги как ненормальный. Моим собеседникам часто бывает неловко, словно они

столкнулись с каким-то уродством. (*Он косится на мою канюлю.*) Они смотрят направо-налево, пожимают плечами, как Всевышний, когда даже после молитв не может помочь, чтобы не было засухи в этой проклятой стране. Они расплачиваются за кофе, желают мне попасть в рай или всего наилучшего и сматываются. А все потому, что я сажусь и начинаю рассказывать свою историю, которую они не желают слышать уже много лет.

Стоит мне завести разговор, дорога начинает говорить моими устами. Всплывает эта история, и я в очередной раз ее рассказываю, стараясь быть точным. Твержу себе, что видел что-то невероятное, о чем никто не знает, помню многое, Алжиру это необходимо. Мне называют число, и я привожу дату бойни, место, иногда имена погибших. Кто еще так умеет? А? Но люди убегают, не желая ничего знать о том, что случилось во время войны. Они закутываются в свою джеллабу, спешат отойти подальше от оврага и не оборачиваются, чтобы проверить, не преследую ли я их в своем фургоне. И что мне остается? Продолжать рассказывать. Я не виноват, меня избрали, я посланник.

Эмир Голодный волк обращался ко мне как к ребенку. Он склонился над моим лицом, будто

намеревался съесть, заслонив небо, точно людоед, и зубы его воняли плесенью. Съежившись наподобие крошечного насекомого, я видел только его шевелящиеся губы и волосатые ноздри: «Ты будешь ходить повсюду и рассказывать, что ты видел. Каждую подробность, понял? Я — гнев Божий, Его кара. У тебя получится лучше, чем у газет, телевидения и слухов: ты расскажешь обо всем каждому и повсюду, начиная с военных, полицейских, в мэрии, кафе, на свадьбах, похоронах, вокзалах. Повсюду, понял? Все должны знать, чего я хочу и что делаю во имя Аллаха. Мы победим террором и правдой. Повтори!» Я повторил, не понимая, что истекаю кровью, но чувствовал, что умираю. Смирился, как мертвец, которого омывают. «Вы Голодный волк, Эмир этого края. Вы убиваете нечестивцев, отступников, предателей Аллаха, французов, неверных, вы — гнев Божий. Вы в ярости от выборов, разврата, наготы, полуобнаженных женщин, вина, евреев, вы — меч Божий и суд Божий на Его земле». Повторяя, я стонал, из глаз катились слезы, штаны намокли от трусости. Он терпеливо выслушал произнесенные мной его слова, взглянул на меня глазами, похожими на раскаленные угли. Потом добавил то, что изменило мою судьбу: «Иди и

расскажи все, что видел и узнал о нас, во имя нашей славы и во славу Аллаха».

Видишь ли, моя судьба предрешена. После десяти лет войны все Эмиры и исламистские группировки были побеждены, уничтожены или превратились в лживых поваров; позабыли преступления, зеленоглазых куропаточек, изнасилованных женщин, отрезанные головы. А я нет. История со всеми цифрами, фамилиями, именами — в моей голове, но никто не верит, понимаешь? Ни одного доказательства. Затем Эмир ударил по моей ноге тяжелым прикладом, отчего кости треснули, приподнял и бросил меня в фургон. И я пустился повторять по всему Алжиру эту историю.

16

13:15, в белом фургоне

«Мы вернулись на то же место, моя Гурия, мы заблудились, давай повернем налево!»

Около двух часов назад я оказалась на обочине дороги и с трудом могла вспомнить свое имя. Не знаю, запомнила ли ты, но прежде, чем убежать от жандармов, мне удалось забрать то, что я обнаружила в своей машине, поставленной на каменные блоки. Ключи от дома и примерно три тысячи динаров мелкими купюрами. Двое мерзавцев из грузовика забрали остальное. Раздраженный и равнодушный жандарм из Уэд-Тлелата показал мне мою машину со сломанным бардачком, разорванным подлокотником и без двух украденных шин.

Я шла, качаясь, словно пьяная, под июньским солнцем, желудок сжимался от приступов тошноты, и тут рядом затормозил белый фургон. С утра голодная, босые ноги стали ныть. А ты, моя Гурия, по-прежнему лежала с закрытыми глазами, сомкнув веки от предстоящего решения.

«Пойдем к твоей сестре и спросим у нее. Зададим ей вопрос». А я твердила: «Успокойся и сосчитай до десяти». Ты отвечала: «До рождения мы не способны считать, все кажется мгновенным, бесконечным и новым. Река вина, река времени. Я должна прожить первый день моей жизни, чтобы начать считать». Белый фургон затормозил, водитель опустил стекло и высунулся. «Проблемы, сестра? Что ты тут делаешь?»; так обращаются к женщине, когда хотят подчеркнуть, что не интересуются полом и телом, что та под защитой, словно родственница, которую нельзя трогать. Я не ответила. Продолжала идти, с кепкой в руке, босиком, с глупым видом, какой у меня бывает, когда хочу показать, что в гневе, который не вырывается через мою канюлю. В метрах четырех от себя я заприметила внизу большой камень. Если подбежать, можно его схватить. Не дамся просто так, проломлю голову, глаз выколю. Но очень скоро я поняла, что у него нет ни ножа, ни когтей, ни ненависти в глазах. Мой взгляд задержался на суровых чертах его лица, которое каждое утро высушивало солнце. Он опять помахал рукой, а потом протянул ее ладонью вверх. «Садись, не стоять же тебе тут на обочине, люди злые. Куда именно ты направляешься?» Он разглядывал

мои босые ноги. Жандармы нашли меня, спрятавшуюся в кустах на краю дороги, далеко от моей машины, разграбленной рано утром. «Садись!» Потом он замолчал, дав безлюдной дороге со всеми ее опасностями проникнуть в мои мысли. Она была долгой и тихой, как конец света. На этой дороге я родилась двадцать лет назад. Она ведет из Релизана в Оран. Сегодня — из Орана в Релизан.

Он везет меня к истокам своей истории и началу моей. Ты еще спала, когда тем утром мы уехали из Орана. Ты спала до того, как по дороге на меня напали. Теперь это я мечтаю уснуть в твоей утробе и отдохнуть.

17

«Где мы, моя Гурия?»

Зачем ты постоянно смотришь на часы? Следи за дорогой. На дорогу смотри. Нельзя быть доверчивой, моя девочка, нельзя. Вон там, видишь? (*Ничего не вижу. Магистраль с востока на запад, извивающаяся, словно тысячи женщин, которые укладываются спать, у нее ни начала, ни конца. У нее нет лиц, кроме тех, что забирают путешественники в свои сны. Она ведет к горе, и мы садимся той на спину, как на старого верблюда. Проглатывает барханы. И никого вокруг…*) Думаешь, она пустая, но это не так, в кустах прячутся улыбающиеся, обходительные волки. Это сейчас она мирная и опытная, а в 1990-е годы такой не была. Во время войны, чтобы добраться из Орана в Алжир, надо было петлять окольными путями часов семь. Сельчане, способные лишь считать и завидовать, провожали нас ничего не выражающими взглядами. Бедняги. Когда в тысяча девятьсот девяносто третьем году умер отец, я унаследовал его дело. Дорога тогда была никудышная, в рытвинах, местами выжженная. Ехать

приходилось медленно, отъезжать стремительно и мчаться мимо городов и деревень. Особенно на востоке и в Кабилии. Чтобы выжить в те годы, моя девочка, требовались крылья. Фальшивые блокпосты стояли повсюду, там хватали за затылок, резали не моргнув глазом. Назови число!

Четырнадцать.

14 января 1994 года. «В ночь на праздник Аид-эль-Кебир террористы напали на расквартированных в Телаге (Сиди-Бель-Аббесе) военных. Убито более шестидесяти человек; среди жертв двое призывников, Мохтар Фехаджи (из Типазы) и Али Сиафе (из Маскары). Террористы захватили много оружия. Это нападение стало возможным из-за пособничества одного офицера из Айн-Дефли». По некоторым свидетельствам, этот офицер все еще жив, он воспользовался правом на гражданское согласие. Понимаешь? Никогда не ходи одна. В ту пору террористы могли выскочить из-за поворота, развилки, спуститься с вершины холма. И тогда (*я помню про одиннадцать учительниц, моя Гурия, у меня дома в Оране есть их молчаливая пожелтевшая фотография*) тени, воняющие кабаном, делали знак остановиться и задавали вопросы. «Ты молишься? Сколько поклонов совершаешь во время утренней молитвы?

Прочти два стиха из суры „аль-Бакара“…» А ты ее не знаешь, что-то лепечешь в ответ. Тебя валят на землю, ставят на колени и просят подобрать с земли что-нибудь. Ты подставляешь затылок, и тебе отрезают голову. Ты уже видела отрезанные головы? А я видел. Много раз.

Запах этих кабанов, моя девочка, этих «Танго», как их называли в армии, я чуял издалека. Как удавалось? Дорога, прячущая фальшивый блокпост, как-то особенно молчит. Она маскируется в лесах, кустах или расщелинах. Надо ехать за какой-нибудь машиной, освещающей тебе путь. И если в течение пятнадцати минут не встречаешь никого едущего навстречу, это не к добру. Дорога делает тебе знаки. Что тогда, ездить только днем? Конечно, нет! Даже днем можешь наткнуться на фальшивый блокпост. Все длится пятнадцать минут: они останавливают людей, перерезают горло, сразу прячутся в укрытиях и горах Шреа с алжирской стороны. Вас не спасет ни день, ни луна, ни солнце. Только дорога, но при условии, что понимаешь ее язык. Вот смотри: она кажется новой, свободной, как женщина без обязательств, но это не так. Кабаны могут вернуться. Теперь, после «примирения» и амнистии, за которую проголосовали, они спокойно разгуливают средь

бела дня, молятся и даже презрительно на тебя глядят. Они выиграли войну, моя девочка. И военные тоже выиграли. Проиграли только погибшие. Двести тысяч убитых ни за что ни про что!

Сколько всего километров я намотал в жизни? Наверное, объехал страну дюжину раз. Я знаю все кафе везде. Если сложить эти расстояния, полагаю, получится путь до Мекки и обратно. Минимум раза два добрался бы и вернулся. Главное, понимать, что говорит тебе дорога: обходить засады, вслушиваться в ее мычание, когда она считает, что никого рядом нет, распознавать ловушки, расставленные кабанами Бога. Осторожно, моя девочка, задремлешь, и что-нибудь случится! Впрочем, во время войны от этих кабанов погибло больше, чем от неисправных тормозов, сломанного диска сцепления или из-за того, что водители засыпали за рулем. Дорога как лошадь. Любишь лошадей? Пока на них просто смотришь, их не поймешь, их надо оседлать.

Назови еще число, моя девочка.

Один.

Первого ноября 1994 года на кладбище в Мостаганеме взорвалась бомба, погибли шестеро детей, семнадцать человек ранены. В поселке Сиди-Али. Скауты, моя девочка. Они пришли туда

отметить сороковую годовщину другой войны. На могилы других мучеников. Мохамед Шауки Айяши (семь лет), Мехди Буалем (девять лет), Мохамед Хашелаф (восемь лет) и Абдалла Шуарфиа (двенадцать лет).

18

13:25, недалеко от Релизана

«Направляемся к выезду…»

Пока он замолчал, я вглядываюсь в горы прямо передо мной, они сгущаются, тяжелеют, запахивают коричневые одежды. «Я не смогу тебе помочь, если ты ничего мне не скажешь. Можешь пожить в Батне, у меня там друзья в разных ассоциациях. Дорога длинная, но можно и остановиться, если ты мне не доверяешь». Слышала, лунная моя девочка? И он показывает на свою увечную ногу, словно убеждая, что не собирается бежать, нападать на меня, бить. Рукой он ловко справляется с переключением передач, фургон разгоняется. Вдруг неизвестно почему посреди пустыни меня обуревает жалость к нам двоим, инвалидам. У него тоже своеобразно кровоточит нога; он колесит годами, чтобы не выходить из машины, не хромать на глазах у всех и не выставлять напоказ ногу, распухшую от увечья. И вот, моя нефритовая крошка, я безрассудно, всецело устремляюсь навстречу судьбе. Развязываю

свой платок, протягиваю ему, чтобы он увидел семнадцатисантиметровую кривую «улыбку» во всей красе. Чтобы ему в глаза бросился весь ужас канюли, разверстая дыра моего внутреннего языка. До него доходит не сразу. «Да, инвалиду трудно водить такую машину. Она дорогая, и единственная мастерская, где их прилаживают к таким людям, недавно закрылась. Она стоит дороже моих обеих ног!» Он смеется, смотрит на дорогу. Я вижу его желтые зубы, но различаю еще и детские черты, как бы наложенные на сухое дерево. Он поворачивается ко мне и видит открытый шрам, обнаженный, бесстыдно вызывающий, будто волосатый член призрака смерти. На мгновенье Аисса отстраняется, делает вид, что моя рана его не испугала, старается одолеть свое вынужденное молчание и принять то, что он увидел у меня на шее. А потом он, казалось, впал в экстаз, его губы задрожали, лицо покрылось потом, какой проступает на холодной коже под лучами солнца. Впервые моя «улыбка» произвела такой эффект. Обычно мужчины удивленно ее рассматривали, с ужасом, отшатывались, показывали всем своим видом, что ее не замечают, замолкали или принимались болтать без умолку. Сейчас все оказалось по-другому. Будто вспыхнул

слепящий свет и перед тобой возник призрак любимого исчезнувшего человека, чего ты так боялся и ждал. Честно говоря, моя Гурия с золотыми гребнями, жизнь моя, я и сама содрогаюсь, видя свое отражение в его разных глазах. Оттого, что он в восторге от моей раны, я испытываю дикую, полнокровную, бурную радость. В кои веки мной восхищаются, при моем-то уродстве!

Затем Аисса сливается с дорогой. У съезда, на развилке к Мостаганему, он вопросительно смотрит на меня. Я не отвечаю, и он принимает решение за нас двоих: «Едем в Батну». Его голос крепнет, как у того, кто хочет спасти тонущего в открытом море. Что творится со мной после этого утра в пустыне? Что ты со мной делаешь, кровная незнакомка со своими капризами? Я аккуратно повязываю зеленый платок на шею.

19

5:49, на выезде из Орана

«И вот мы снова у входа в лабиринт»

Помнит ли кто-нибудь из нас первый день своей жизни? Кровь? Крики? Живот напряжен, схватки выталкивают? А вот я помню. И еще представь себе, секретный нефрит моего застывшего чрева, мне посчастливилось помнить последний час моей жизни. Я соприкоснулась с обеими тайнами Аллаха, ведь только он знает их. Не живая, не мертвая, я перевернутое существо, таинственная рыбка. Я родилась ровнехонько 1 января 2000 года. А умерла накануне, 31 декабря. Клянусь, малышка, ни один упомянутый в Коране пророк не способен похвастаться тем, что помнит обе даты.

Все в моей памяти сохранилось благодаря глазам мамы. Каждое мгновенье. С минуты, как я появилась на свет, пытаясь обнаружить начало своей истории в запечатанном сундуке. Мама Хадиджа, застывшая в молчании рядом со мной в машине скорой помощи, корчилась от боли,

которую я и представить не могла. Ее глаза источали ярость и то ледяное самообладание, которое она демонстрировала клиентам и судьям на заседании трибунала в Оране, но на сей раз она не победила. В предсмертном полузабытьи мне казалось, что Хадиджа переговаривается с кем-то рядом, кто испытывал беспокойство. Скорая помощь выла, производя один и тот же назойливый звук, мигая красным и синим. Меня доставили в больницу Релизана после чудовищной резни. Я не знала, что меня везут в Оран, чтобы попробовать пришить меня к остальному телу. Хадиджа была вся в крови, словно после побоища, испачканная, с всклокоченными волосами. Уже несколько дней она не меняла одежду. Мы обе возвращались с Мертвого края. Может, именно так и рождаются или рожают. Моя мама сидела залитая кровью и молчала, подобно цветам на могиле, а я ощущала тяжесть и скованность, пыталась сесть, но не получалось. Мои руки привязали к кровати, чтобы я не касалась ими горла. Предполагаю, в скорой помощи все ожидали услышать спасительный первый крик новорожденного. Этот вопль заставляет смеяться от счастья, но мне тогда было пять лет. «Я добровольно пошла помогать в больницу», — рассказывала мама спустя годы. В моих

воспоминаниях, реющих флагом над безгласной войной, всплывают большущие засохшие пятна на белом помятом платье, усталые стоны и чьи-то руки, помогающие меня перенести. «Слышишь меня? Слышишь меня?» — звучит одноголосая партия в том бесплотном месте.

Мы катили по той же дороге, но в противоположном направлении. Из Релизана в Оран. Ночью. Зимой. Помню, носилки бешено тряслись, подлетали вверх, вертелись, их неудержимо подбрасывало, как на необузданных волнах. Чья-то рука сжимала мне горло, а тем временем моя старшая сестра Таймуша угасала и молила о моем спасении в большой комнате нашего дома, отделанной цинком и обожженной глиной. Ночь давала знать о себе нестерпимыми вспышками. Кажется, я подыскивала слова. Они трепыхались, точно чайки на ветру. Я родилась с широко раскрытыми глазами, но кричать не могла.

20

6:00, на шоссе

«Ты опять засыпаешь»

Под небом — голая земля, пустынная и сухая. На обочине виднеется какая-то тощая скотина, то ли коза, то ли овца. В горах никто ее не съел, не сделал из нее памятный праздничный ужин; она там бродит, кожа да кости, уткнувшись головой в свой предел. Отныне она живет и умирает на клочке выжженной земли, утоптанной, местами почерневшей. Видимо, здесь прошли люди. Повсюду разбросаны солома и сено. Накануне все горело, осталось только еще одно дымящееся полено. Поднимающийся дым указывает, куда направляются души умерших. Слышала, красавица, о знаменитой Ночи предопределения? Это когда Всевышний нисходит на нижнее небо, чтобы выслушать всех людей по очереди, верят ли они, ревностны ли по-прежнему. Эта ночь соответствует двадцать седьмому дню месяца Рамадана. Для меня же она пришлась на 31 декабря 1999 года. Моя ночь предопределения.

Было темно, иначе как объяснить, что столь немногое я помню наверняка? Я оказалась здесь, что бы найти дом из обожженной глины с дверью, обитой цинковыми листами. Стены, наверное, увиты старым виноградом. Две пасшиеся неподалеку овцы были связаны и погибли лишь из желания доказать, что смерть вездесуща, как массовый исход. В глубине двора — загон для скота. Он еще там, хотя обгорел. Слева, насколько я помню, росло засохшее, но крепкое дерево, которое, замерзая, казалось, испытывало ко всем неприязнь и раздражение. В моих воспоминаниях о Мертвом крае проступает лишь ее часть. Она без зелени, словно бездетная, тонкие ветки ускользают от взгляда. Небо еще ясное, несмотря на случившееся накануне. Некоторые облака образуют расплывчатые острова. И оно уже так далеко, что его не трогает судьба нашей фермы. А еще какой-то человек стоит и смотрит на пепелище. В моей памяти он застыл навеки. Вижу лишь его спину, поэтому мой голос, слова, которые мне хотелось к нему обратить, вопросы становятся бессмысленными. Правая рука его замерла приподнятой. Он кого-то останавливает таким жестом? Или защищается от удара? Рубашка белая, то есть, наверное, должна быть такой

при более ярком освещении. Помню, на ногах этого мужчины резиновые сандалии или потертые ботинки, но рассмотреть ясно такую важную деталь не получается. Почему важную? Потому что, моя Гурия, мне надо понять, почему он не оставил никаких следов на пепелище. Нужно уяснить, бежал ли он, вмешался ли, боролся или стоял, застыв, как на фотографии, пока резали маму, сестру и меня. Возможно, он оказался настолько потерян еще накануне, на рассвете или после того, как солнце взошло.

К вечеру 1 января жители Хад-Шекалы поднялись сюда, чтобы собрать останки тел и понять, как их похоронить, поскольку после резни мертвецов разрубили топорами на куски. Решили сделать наугад. На каждую голову — по две руки и две ноги. Соответствием полу и размеру не заморачивались. Требовалось побыстрее собрать тела, пусть и не столь тщательно. Головорезы могли вернуться в любой момент. Я смотрю вновь, и все кажется мне напрасным, даже сами убийства. Разве есть смысл в этих жертвах на той земле, где дышится тяжко зимой и летом?

Сцена эта на фотографии. Ее я увидела в одной газете, после того как террористы подожгли ферму около Алжира в 1990-е годы. Название места

не упоминалось. Я же никогда там не была, но все же порой туда возвращаюсь, как ощупывают онемевшую часть своего тела, трогают старый шрам со вздутыми краями. Я назвала то место Мертвым краем, моя Гурия, спустившаяся из изумрудножемчужных чертогов. Место неподалеку от Релизана в горах, где я родилась и почти умерла; по моим воспоминаниям, именно такой была наша ферма. Стоит зажмурить глаза, и все увидишь. Признаюсь, ни я, ни Хадиджа, моя вторая мама, за двадцать лет ни разу туда не ездили. Мы не хотим возвращаться. И не потому, что больно, скорее это напоминает высохшую на солнце баранью тушу. Видишь ли, кроме этой найденной фотографии, у меня нет других точных воспоминаний о жизни до моего рождения, но мне кажется, что Мертвый край (ферма отца, где нас зарезали, вместе с тысячами других, разбросанных по Уарсенису) должен выглядеть именно так.

Пока я не наткнулась на эту фотографию, мне не удавалось определить место. В Оране люди выслушивали рассказ мамы о моем происхождении и несчастье, и я знала не больше, чем они; мне было неловко, словно я украла жизнь, а не обрела ее естественным образом, как прочие. Слишком

любопытным или нескромным Хадиджа говорила «Тсс!», приложив указательный палец к губам, воцарялась тишина, и внимание моих серо-зеленых огромных глаз давило на всех мертвым грузом. Гости, собравшиеся в нашей квартире, застывали, и неважно, продолжали они разговор или молчали, все думали об этом месте, ощущая его мнимую тяжесть. А я шла в свою комнату и доставала ту фотографию.

Туда мы и едем, ветер свистит в ушах, и мне сдается, что я еду быстрее, чем он. Никогда не забиралась так далеко, лунная моя девочка. Сейчас обгоним чертов грузовик, виляющий, как мальчишка на велике, и прибудем в край моей сестры.

И правда встанет на место, ты увидишь ее своими неморгающими глазами.

То, что ты слышишь, это урчание моей машины, она дергается из-за идиота, какой ведет грузовик перед нами. Вильну-ка налево и поднажму по полосе обгона. Грузовик несется слишком быстро. Перегораживает дорогу, козел! Мужики полагают, что, если пропустить вперед женщину, это пятнает их честь. Перевозчики скота меня бесят. Толкнув животину, в эти часы едут обратно в свою алжирскую глубинку. Город Оран вскоре

совсем опустеет. Старцы произнесут положенные слова, тот, кто должен зарезать, преисполнится важностью, даст обет Богу и до того, как совершить приношение жертвы, в экстазе отданного обета, пробормочет «Басмала» и «Аллах акбар». Город затаит дыхание, и животные издадут стон вместо людей, изображающих свою смерть и воскрешение. Повсюду лежат связанные немые бараны. Пока Всевышний будет считать жертвы, смешаются внутренние и внешние языки.

Освободи дорогу! Просто невероятно, моя голубая райская сардинка! Невероятные мужики в этой стране! Козел, дорогу мне загородил! А, их двое, ржут, словно клоуны. Я так не сдамся! Время поджимает, мама вернется, самое позднее, послезавтра, и тогда это путешествие не состоится. И ведь она никогда не соглашалась возвращаться в Мертвый край… Мы годами о ней не говорили. Мне придется через нее переступить, чтобы обрести себя. Я так хочу. Хочу, чтобы ты прикоснулась к истории, после которой появилась эта улыбка от уха до уха. Хочу, чтобы ты побеседовала с моей сестрой, чтобы ты обговорила наше с тобой право на жизнь или неизбежную смерть.

21

6:10, солнце отрывается от горного лабиринта на востоке

Солнце поднимается, брат, которого у меня нет. Так хочется танцевать. Зажечь землю движением бедер и моей энергией. Слышишь, как я смеюсь? Вы же в раю тоже смеетесь, девственные гурии, миллион лет? Ты ведь хотела поехать в край моей сестры. Широкая магистраль, с востока на запад. Она ведет к Алжиру, сейчас пустынна. Посмотри направо: разрушенные фермы, коровы с раздутыми боками, подчеркивающие деревенский колорит.

Признаюсь, я не осмелилась.

Решила поехать дальше.

Не проглотила три таблетки.

Одна, с тремя таблетками в руке, я твердила себе: почему бы нет? Моя Гурия хочет жить, желает знать. Требует, чтобы я ей показала. Хорошо, покажу. Призыв муэдзина дал тебе отсрочку на последней заре твоей жизни. Не потому, что верю в Бога (это Он в меня не верит), а потому, что вдруг возникли сомнения: «А почему бы туда не по-

ехать? И почему бы Таймуше не рассудить нас?» И тогда подумала: Мертвый край существует, и жители нашей деревни Хад-Шекалы еще там. Вероятно, они иногда пересказывают друг другу события страшной ночи и стонут, что не смогли похоронить близких. И ты увидишь своими, то есть моими, глазами и сама угаснешь. Как свеча на восходе дня.

22

8:10

«Как выйти из лабиринта?»

Существуют ясные предписания и четкие правила, чтобы тебя убить. Нужно произнести: «Басмала, Аллах акбар», «Во имя Аллаха, Аллах велик». Затем, важен инструмент: не кухонный нож, пила или топор, а стальное лезвие, отточенное, как старинная мудрость, утонченное, как юность, и блестящая, как вторая жизнь. Пророк изрек бы: «Всевышний предписал безупречность во всем. И если вы собрались убить, сделайте это как положено (без жестокости); если приносите в жертву животное, поступайте так же. Хорошо наточите лезвие и обращайтесь с животным осторожно». Я не из тех, кто ищет объяснений в тысячелетнем прошлом, но, видишь ли, так повелось издавна. Кого приносили в жертву ради веры? Крупный и мелкий рогатый скот, людей; нежеланных детей; несогласных; тех, кто оказался в эпицентре войны; тех, кто не молится, не постится и не считает вас Богом. Убивать надо

одним движением, не мучайте скотину, Господь настаивает на том, чтобы жест был выверенным; надо правильно перерезать одним ударом ножа горло повыше гортани, пищевод и большие кровеносные сосуды. Гортань обязательно должна остаться со стороны головы. Вот что я прочла: «Глубокий и мгновенный разрез горла заточенным ножом, так, чтобы быстро перерезать яремную вену и сонную артерию, но не трогать спинной мозг, чтобы конвульсии способствовали пульсации крови. При подобной технике кровь быстрее выходит из тела животного, а мясо становится чище. Кровь должна вылиться из животного». Запрещается убивать животное жестоким образом или ради забавы.

Однако, если я закрываю глаза, передо мной в темноте возникают его глаза, мой убийца торопится. Они сверкают, словно он насилует женщину, то ли от спешки, то ли от бешеного удовольствия, что он нравится Господу; я по-прежнему в нерешительности. Не знаю, кто лежал с открытыми глазами — я или сестра. Помню содрогание, затаенное дыхание, бессмысленный и размеренный праздник для сомнительных верующих. Кем был тот мужчина? Не знаю; в то время его бородатые собратья носили древние

имена, псевдонимы эпохи сподвижников Пророка. Судя по пожелтевшим газетным вырезкам, хранящимся дома, в нашем районе самым известным считался Хромой. Бывшего колченогого парикмахера, работавшего поблизости от города Айн-Темушент, убил его же помощник, выбравший себе странное имя Голодный волк, клянусь, моя девочка!

Голодный волк — мужчина, это первое условие, чтобы стать головорезом. Тот, кто совершает заклание, должен достичь возраста половой зрелости (мой таким и был, я поняла это по тому, как он держал меня за шею). А еще сказано: «Животное, принесенное в жертву сумасшедшим, пьяницей, наркоманом, несовершеннолетним ребенком (не достигшим половой зрелости) или человеком, имеющим умственные расстройства, не считается дозволенным по закону». Тогда непонятен мой статус: кто же я, нареченная Биа, пятилетняя, — жертва, дозволенная законом, промашка, женщина, скотина или призрак? Также говорится: «Приносящий в жертву должен быть чист телом и безупречно одет. Облачен согласно санитарным нормам». Но мой убийца вонял, от него исходил затхлый прогорклый запах гнилого мяса. Ботинки покрывала грязь, а шмотки, рва-

нье, казалось, отняты у животных. Притом мама рассказывала: «Первого января, после ужасной резни, повсюду на тропах и дорожках валялось тряпье головорезов, потому что они переодевались в одежду жертв, если та не была слишком запачкана кровью или экскрементами — следами страха». Эдакая костюмерная на могилах.

И наконец, сказано, что нужно следить за тем, чтобы «никогда не приносить в жертву животное на глазах у другого, не показывать животному нож до самого жертвоприношения, чтобы избежать видимого стресса до ритуального убоя». Сестра Таймуша наблюдала за мной и шептала разные слова. А может, она произносила мое имя? Или хотела передать мне какую-то мысль, или панический ужас в своих глазах, или образ своего лица, искаженного смертью, а я зажмуривалась, повинуясь Богу в ботинках, измазанных дерьмом. Я так и не разгадала тайну произнесенных тогда ею слов. Повторяла мысленно числа, чтобы отступила эта ночь и вернулась прошлая, когда мы с сестрой дышали и смеялись. Тогда мы так тихо переговаривались, будто два сердца перешептывались внутри единого тела.

Опять этот водитель грузовика, ну все, терпение на исходе; если так тащиться, моя машина

перегреется, надо обгонять. На следующем подъеме попробую.

Вот тебе.

Вот так.

Два негодяя в отрепьях уставились на мой средний палец.

Вот вам!

Они прибавляют газа, но никак не могут меня догнать. Я трепещу от радости, что сделала этих уродов! Отомстила; мелочь, а приятно, как струйка прохладной воды в разгар лета.

Так вот, я рассказывала тебе о ремесле головореза и увязла в деталях ритуала. Заметь, утром я тщательно вымылась, поскольку приносящий жертву должен быть чистым. Это перед тем, как проглотить три таблетки, моя Гурия, пришедшая из рая, в котором земля, согласно хадису, «это белая мука, чистый мускус».

Последнее предписание: животному надо дать подергаться, чтобы кровь вылилась, застыла, пусть оно думает, что бежит вниз к деревне Хад-Шекала, перебирая ногами над горной речкой Уарсениса. «Судороги конечностей, продолжающиеся после кровотечения, не являются признаком страданий, это лишь естественный нервный рефлекс, объясняемый недостаточным

кровоснабжением мозга и отсутствием доступа кислорода к мозгу».

Мы проехали больше шестидесяти километров. Местность пустынна, словно ее жители собрались в загробном мире на театральное представление. На востоке дорога отрывается от земли.

Я никогда не заезжала так далеко одна. Никогда.

23

8:30, между Ораном и Уэд-Тлелатом

Не думай, что в праздник так просто ехать по безлюдной дороге, когда ты одна под солнцем, которое светит прямо в глаза, но не проясняет все мои мысли. В Алжире женщина не ездит в одиночку, тем более в День жертвоприношения. Существует нечто такое, чего ты никогда не сможешь сделать, если появишься на свет. Например, прогуливаться одной в ливень, сесть на скамейку в городском парке напротив горы, которая отказывается с тобой разговаривать. Или одеваться, как тебе хочется, смеяться на улице, послать подальше приставучего незнакомца, решившего, что ты проститутка, потому что ты была очаровательна, как комнатный цветок. Гулять ты будешь в компании (и только в городе, а в деревне и это невозможно), когда мужчины в мечети, сможешь сходить на кладбище или побывать на свадьбе родственницы. Всевышний запрещает нам много чего: хоронить мертвых, плакать над могилой, резать жертвенное животное, наследовать наравне с мужчиной, делать

эпиляцию во время поста, выставлять напоказ голые руки, повышать голос, петь на улице, курить сигареты, пить вино, сопротивляться, если тебя бьют ногами. Дорога длинная, и этот список велик. Никто не поверит моей истории. Как объяснить, что я еду в горы показать тебе край, где меня убили, убить тебя, чтобы так спасти тебе жизнь? Это очень странно, как любовь или ненависть.

Дорога прямая, я погружаюсь в воспоминания.

24

«…Меня зовут Мимун. Видела, как я шикарно плаваю?» — прошептал он. На пустынном зимой пляже, точно забытые души, бродили несколько человек, персонал прибрежного отеля. Меня удивил его слабый голос, приглушаемый шумом моря, оно совсем рядом. Я, моя Гурия, я уехала тогда из Орана и отмахала километров тридцать. Для того, чтобы посидеть здесь одной, слушая море и представляя, что оно скажет. С тех пор как у меня появилась машина, я часто сюда приезжала сама.

Я не обращала на незнакомца никакого внимания, но он все же широко мне улыбнулся. В какой-то момент он застыл с весьма глупым видом. Лицо у него красивое, по крайней мере на первый взгляд. Он сидел в двух метрах и не отводил от меня ясных глаз. Каштановые волосы, потемневшие от воды. Мне не понравилась его дерзость, я передернула плечами, потом решительно отвернулась, глядя на горизонт. Другой бы в итоге отстал. Одинокая женщина, сидящая на пляже, привлекает внимание, но я ведь не женщина: достаточно посмотреть на канюлю. И

оказалась здесь, чтобы дать передохнуть двум моим языкам. Подходила к морю — мой способ плавать, ведь плавать иначе так и не научилась.

«Меня зовут Мимун», — повторил он высоким голосом, пытаясь завязать беседу. Я не отреагировала. Наблюдала за морем, откуда он только что появился, дрожа от холода, день был морозный. Он опять широко улыбнулся, желтые шорты прилипли к его недлинным ногам. Несоответствие казалось странным: красивый обнаженный торс и кривые короткие ноги. Сначала я смотрела, как его тело грациозно боролось с серыми волнами. Затем из воды показалась голова, он плыл в мою сторону.

Потом сказал вслух: «Вон там моя». Он показал пальцем на одну из лодок, стоящих на песке. У него получилось: я повернула голову и увидела четыре баркаса, вытащенных на берег. Три лежали на боку, как мертвые животные. А его лодка держалась прямо, большими белыми буквами на ней начертано по-арабски название — «Бурак». «Знаешь, кто это?» Интонации казались почти детскими. Я высокомерно скривилась. Когда живешь рядом с мечетью, о пророках тебе известно больше, чем о соседях. Бурак — крылатый конь пророка Мухаммеда, вот кто, моя Гурия. Он

доставил его в мечеть Аль-Акса, а после за одну ночь на небеса.

Мимун позволил себе сесть рядом, но не осмелился придвинуться ближе. Это было проявлением вежливости. Вдруг я подумала о его коротких ногах и чуть было не расплылась в злобной усмешке. Над чем тут смеяться? Мне показалось, что его самого забавляло показывать их, его это не трогало. Я ведь так же поступаю с моей канюлей. И я сидела молча.

Ты хотела узнать, кто твой отец? Изображу его голос, ты ведь слышишь его во мне. Ну вот: «Ублюдок! Ублюдок!» Плохо изображаю? А он твердит, как попугай, склонив голову набок, сощурив смеющиеся глаза.

Он рассказывал, как плавал зимой против волн, на западе рыбу ловил. Советовал потерпеть.

И был терпелив.

Я вернулась в конце следующей недели, он стоял и ждал меня около лодки «Бурак». Мы поздоровались, он продолжал свой рассказ, словно и не было перерыва. В тот день угостил меня кофе из помятого кофейника и поведал, как научился плавать в раннем детстве. Описал в подробностях: как прятался в море от ребят из ферм по соседству с Лез-Андалузом, потому что они

его преследовали. «Ты туда ныряешь и ничего больше не слышишь. Слушаешь воду, как будто спишь. Море проникает в уши, и все исчезает». К чему эта глупая история? В следующие приезды, ни разу не спросив про канюлю, он попробовал научить меня плавать, поскольку заметил, что я боюсь воды. «Никогда не барахтайся, погрузись и не паникуй. Дыши спокойно! Всегда!»

Вот, ты пытаешься это понять, мой комочек из жизни и крови. Как же так вышло, что мужчина, с торсом вымышленного героя и двумя конечностями как у краба, мог дотронуться до моих татуировок? Как получилось, что он привел меня в крошечную лачугу за пустующим зимой туристическим комплексом и я уснула в его объятиях? В одну из пятниц я очнулась в старом панельном доме с сигаретой в руке, а его голова лежит на моем животе. Я стала постоянно приходить на пляж в час еженедельной большой молитвы, пока Хадиджа целый месяц оставалась в Алжире. Мы напоминали сирот: я, он, море и лодки. В его комнате, отапливаемой электрическим обогревателем, тишина обостряла желание. С потолка свисала одинокая голая лампочка. За старыми окнами виднелась высокая трава, а гигантские эвкалипты осуждающе нас разглядывали. Я по-

чти не говорила, а Мимуну хватало моих зеленых глаз, он называл меня «моя немая».

«Так почему ты согласилась?» — спрашиваешь ты меня, любопытная, как только воссиявшая звезда.

Не знаю. Мой внутренний язык не может найти ответ. Может, из жалости. Или из любопытства. Или от усталости. Уже тогда меня терзала надежда Хадиджи на восстановление голосовых связок. К тому же я всегда питала слабость к брошенным мужчинам. А еще добавлялась уморительная мечта Мимуна добраться до Испании, пусть даже вплавь. «Совсем недалеко! — уверял он. — Если у тебя мощный мотор на лодке, всего полдня пути. При хорошей погоде, если всмотреться, прищурив глаза, можно ее разглядеть». И добавлял: «Мне не хватает всего двадцати миллионов сантимов для аванса перевозчику. Остальное заплачу после прибытия».

После объятий он клал голову мне на живот и мечтал об этой стране. Подсчитывал вслух деньги, что надо платить перевозчику, количество рыбы, которое нужно продать, чтобы собрать необходимую сумму.

А потом, в третью пятницу, так далеко от мечетей, что море заставляло о них забыть, Мимун

рассказал свою историю. Она и тебе принадлежит, моя Гурия. Его мать умерла пять лет назад. Он был рыбаком, все, кроме меня, ощущали исходящий от него стойкий рыбный запах. Мне же был заказан вход в царство запахов, и он мог подойти и спокойно лечь на меня. «Правда? Ничего не чувствуешь? Клянешься?» — допытывался он. Я клялась хриплым голосом и смеялась. Вероятно, из кокетства я старалась походить на море: быть гладкой, беспокойной, бурной в зимнюю пору. Впрочем, он относился к нам одинаково, погружаясь в нас, чтобы забыть оскорбления или собственную историю. Отец у него был военным. Его убили в 1999-м в горах у Шлефа, к востоку от Орана. Мимун показал мне его фотографию, на этот раз голос звучал серьезно. Снимок защищал его от сглаза, клеветы, голода и угрозы быть вышвырнутым из лачуги за отелем. «Никто даже думать об этом не смеет, когда я им ее показываю», — заявлял он театрально. Даже жандармы из соседнего городка, подозревавшие всех парней, остерегались меня. «Они со мной здороваются, кивают почтительно. С самых ранних лет я отдаю им честь», — уточнил Мимун.

На фотографии запечатлены военные с серьезными лицами, пожарные и шесть жандармов с

золотыми погонами, они несут гроб, покрытый флагом, на который возложен букетик цветов. Собравшиеся словно застыли на фоне далекого яркосинего неба рядом с военным самолетом. «Там всё. Надо только внимательнее всмотреться, и откроешь тысячу разных вещей. Прямо как в воду нырнуть, когда замечаешь массу деталей». Я с любопытством склонилась. «Не надо вылезать за деревянную рамку или пытаться смотреть куда-то еще. Тут вся история. Мама всегда это твердила. Она говорила, что на прощании собралась вся страна. Все проявили уважение, люди важные и высокопоставленные; гимн, флаг на гробе». Его мать постоянно доставала эту фотографию. Она показывала ее, когда обивала пороги учреждений, чтобы подать прошение о помощи, о предоставлении жилища, чтобы сохранить лачугу за комплексом, хотя соседей оттуда выселили. Я представляла вдову с ребенком на иждивении.

«Она была несчастной?» — «Нет!» — возражал Мимун на мой немой вопрос, комично выпячивая грудь. «Мама была счастлива ровно тридцать дней, до конца жизни она мне подробно рассказывала все, что произошло в эти тридцать дней совместной жизни с моим отцом. Тридцать священных дней, как Рамадан». Этот безумный

пловец знал подробности того медового месяца, как если бы кто-то знал наизусть десяток справочников о насекомых в лесных массивах.

«Но почему только тридцать дней?» — с любопытством шепчешь ты в своей укачивающей темноте.

Тогда слушай его историю. В голосе Мимуна я слышу голос его матери.

«Меня зовут Захра. Я жила около Ашааши, в ста километрах к западу от Орана. Мы поселились в дуаре берберов, прямо на склоне горы. В горном районе с камнями и виноградниками, примостившимися далеко от моря, раскинувшегося внизу. Там, между небом и землей, несмотря на нищету, мы чувствовали себя счастливыми. Я обитала в тени отца, матери и старшей сестры. Отец был феллахом на нашем клочке земли. Он выращивал все, что мог продать внизу дуара на обочине дороги. В начале моей истории мы ничего не знали о войне, только то, что повторяли по телевизору. Однако ощущали ее приближение. Особенно когда мужчины начали обсуждать ее между собой вполголоса и велели нам, девушкам из дуара, не выходить днем и не говорить громко в домах из обожженной глины.

А потом, в один прекрасный день мы их уви-

дели.

Мы набирали воду из общего крана посреди деревни. В этом месте, когда стемнело, они и показались. В грязных джеллабах и тюрбанах, все вооружены ножами и ружьями, лица скрыты бородами, глаза колючие и сулящие опасность. Они скопились вокруг крана и мыли руки. Вода, текущая по склону, окрасилась красным, потом розовым, потом черным. Они отмывали одежду и руки, запятнанные кровью. У их ног на земле мы увидели три мешка. В каждом кривлялась мужская голова с опухшими, как после сна, веками. И тогда все перевернулось в нас и нашем маленьком дуаре. Мы оказались в какой-то мутной стране. Тишина стала давящей, море — коричневым, как засохшая рана, громкий крик был равен смерти, глаза бегали в панике при малейшем шорохе, деревенские мужчины бродили точно сомнамбулы. У матерей дрожал голос, когда мы, девственницы, исчезали из их поля зрения. Головорезы часто проходили через наш дуар, мыли окровавленные руки, а мы больше уже не пили воду из того крана. С каждым разом их требования разрастались: им нужны были хлеб, мясо, одежда, потом они принялись угрожать нашим мужчинам. Пялились на закрытые окна голодны-

ми глазами. После их привалов вода приобретала противный вкус, словно ее отравили. Никто не заявлял в открытую, но и не отваживался ею пользоваться, мыться, пить и готовить.

Потом однажды к нам пришли военные и приказали покинуть дуар, потому что, предупредили они, в нашем районе будут бомбить в горах Дахра. И куда нам идти? Мы были слишком бедны, чтобы заново начать где-то в другом месте. Чем питаться, если нет земли? „Уходите отсюда!“ — кричали военные. „Оставайтесь тут и не шевелитесь“, — твердили головорезы, как только спускалась ночь. И мы не двигались. От стыда отец потерял дар речи и сгорбился. Каждое утро разгневанные испуганные военные возвращались, настаивали, а мама стонала: „Куда же идти? Нам идти некуда!“ На самом деле война шла повсюду. Как-то я заметила, что командир солдат — высокий мрачный брюнет с суровым и одновременно красивым лицом. Как гора на фоне неба. Нежные глаза желали рассказать свою историю той, кого он еще не избрал.

Мне, Захре, исполнилось уже семнадцать лет, я превращалась в красивую девушку. Мать боялась, что меня похитят, поскольку головорезы хватали девственниц и уносили их в горы. Одна-

жды, проверив наш дуар, командир военных, а он никогда не улыбался, дольше задержал на мне свой особенный взгляд, и когда он ушел, в моей груди образовалась пустота. В его глазах я была изящной девушкой с серебристой кожей, словно появилась из рая. Летом мои волосы выглядели еще светлее, а глаза были голубыми, как у всех женщин нашего племени. Его черные сверкающие глаза, наполненные заветными словами, точно в кино, запали мне в сердце. Я влюбилась, подобно героине телесериала! Подчиненные звали его полковник Мимун. Понимаешь, сынок, он окружил меня вниманием, а потом предложил моему отцу: „Возьми свою семью и отправляйся к подножию горы в деревню Сиди-Али. Там дом моего отца, он давно умер. Дом пустует, моя мать живет со мной в Бусфере около Орана“. Голос звучал настойчиво, но в нем слышалось другое послание. Когда мой отец увидел, как он не сводит с меня глаз, будто солнце, которое ищет, куда бы опуститься, он понял. Мы сменили гору на равнину и там поселились.

Спустя два месяца в пятницу к вечеру он постучал в нашу дверь и попросил моей руки. По-прежнему не улыбался и не говорил со мной, но в глазах его я почувствовала обещание, что

обрету счастье, и я возрождалась и хорошела. И мы поженились! Меня не было видно в машине, наполненной цветами и музыкой, но и то, и другое не дозволялось головорезами. Под радостные женские возгласы меня в белом платье проводили в дом твоего отца».

Мимун остановился, моя Гурия, внимательно посмотрел на меня и рассмеялся. «Ублюдок! Ублюдок!» — передразнил он насмешливым тонким голосом. Я аж подпрыгнула. Его неожиданные выходки меня пугали. «Знаешь, моя немая, что так я и научился плавать? — объяснил он. — Клянусь, сейчас смогу добраться до Испании вплавь! Я бегу, а все пацаны с ферм в Лез-Андалузе гонятся за мной и вопят: „Ублюдок! Ублюдок!“, а я бросаюсь в море. Вода затекает мне в уши, и я не слышу ничего, кроме биения сердца, укрывшегося в волнах. Никто так не плавает, как Мимун! Ты меня слышишь?»

Нет, в сказанном я слышала через него его мать, которая поведала о неизведанном медовом месяце, тех тридцати днях. Мимун продолжал.

«И мы отправились жить в Бусфер, под Оран, в поселок, где стояли казармы военных. Мать уверяла, что это настал самый чудесный месяц в ее жизни. Каждая ночь была точно праздник.

Годами мама Захра делилась со мной тысячами подробностей. Она рассказывала, как мой отец возвращался по вечерам, улыбался ей и похищал ее сердце. Как шептал ей по ночам, чтобы моя бабушка не услышала звуки их любовных утех. Как ласкал в темноте ее обжигающие волосы, всматривался в глаза, чей взгляд порхал все лето. Она поделилась со мной, каким он видел светлое будущее своей семьи. Представляешь, моя немая? Мне точно известно, что делает в раю мой отец. И как он чистил свои ботинки. Как говорил, или молчал, или почесывал голову. Все о нем знаю, моя немая. Мама пристально смотрела на меня, словно однажды мне предстояло привести его домой живым».

И Мимун показывал мне фотографию невидимого Мимуна в гробу и жандармов с золотыми погонами. «Все здесь, никуда больше смотреть не надо! — настаивал он. — Не вздумай смотреть куда-то еще, не слушай того, что они о тебе говорят. Все здесь, на фотографии. Остальное — вранье», — повторяла мама Захра устами Мимуна.

Через месяц после свадьбы Захра почувствовала, что беременна, и попросила супруга навестить своих родных. «Она хотела принести им благую весть, — объяснил Мимун. — В пятницу вече-

ром она приехала к моим бабушке и дедушке. Тогда же соседки пришли ее повидать и издали радостные возгласы, узнав о том, что она ждет ребенка. И в тот же вечер нагрянули террористы и всех зарезали. „Голос женщины — нагота, грех, зов к прегрешению. Как вы посмели“, — в ярости кричал Эмир ножей. В руках у него были мешки и топоры. Они зарезали всю нашу семью и соседок, кроме моей матери Захры и моей тети, которых увели в леса около Шлефа.

Думаешь, это все? Военные провели зачистку и через месяц освободили из плена мать. Ее сестра, моя тетя, девственница, погибла в бою. Чудом спасшаяся, мама Захра встретилась с мужем, и тот отвез ее в Бусфер в сопровождении кортежа машин, как новобрачную. Он был без ума от радости и ярости, но моя бабушка видеть не желала невестку с уже раздувшимся животом.

„Ублюдок! Ублюдок!“

Так кричали ребята мне вслед, а я бежал навстречу волнам.

Я ждал своего часа в чреве матери, но уже был ублюдком. Понимаешь, моя зеленоглазая немая? Бабушка вопила, что я — плод разврата. Она требовала развода, но отец отказался. Его жизнь продлилась еще неделю, а потом его убили во

время зачистки, как раз в районе Шлефа. Его тело на самолете переправили в Бусфер, где с почестями похоронили. Понимаешь?

Через сорок дней бабушка нас выгнала, и мы оказались здесь, поскольку, пока шла война, комплекс пустовал: не было ни пловцов, ни отдыхающих. Мы показали фотографию, и нам дали ключи от этой лачуги. И здесь многие годы мать рассказывала мне о медовом месяце, тех тридцати днях, и как бабушка выкинула наши вещи на улицу в Бусфере, крича: „Ублюдок! Ублюдок!“.

И вот когда мне исполнилось десять лет, мама повела ей меня показать. Бабушка являлась мне в страшных снах. Но когда мы постучались в дверь и она увидела меня, то зарыдала, принялась рвать на себе волосы и царапать щеки. Дотронулась до моего лица и сразу меня узнала. Я был копией отца. Такие же подбородок, плечи, торс пловца, зубы, улыбка, манера говорить, ямочки. Мама дала мне его имя, Мимун. Может, так он восстал из гроба».

Потом Мимун вздохнул и признался: «Знаешь, моя немая, история-то совсем не веселая. В детстве я даже ею гордился и, когда мне кричали „Ублюдок! Ублюдок“, лишь пожимал плечами и заплывал подальше. У меня ведь и имени не

было, моя жизнь находилась в деревянном гробу, что несли на плечах жандармы. Понимаешь? Я был горд. А теперь, когда их обеих уже нет в живых, ни мамы, ни бабушки, я хочу переехать в Испанию».

Наконец, моя Гурия, когда он добрался до последней татуировки на моих бедрах, мне все стало понятно: этого человека не существовало. «Тут нет ничего моего. Даже „Бурак“ — это лодка одного оранского судовладельца. Он отдал ее мне, увидев фотографию».

Мы лежали бок о бок. Я укрывшаяся в своем внутреннем языке, он — в гробу Мимуна. Представляешь, моя золотая кровавая рыбка, мы до того дошутились, что поженились! Вот так! В мэрии. Когда чиновник потребовал, чтобы присутствовал мой отец, я протянула ему удостоверение жертвы терроризма и сироты. И развязала платок, он, опустив голову, нас расписал. Потом мы прогуливались по Орану, печальные, но чувствующие одновременно и легкость. Как к этому отнесется Хадиджа, которая тогда оставалась в Алжире? Это как решить загадку. А может, моя Гурия, наплевать на те или иные законы. Твой отец казался подавленным оттого, что повзрослел, и больше не улыбался. На тридцатый день нашего

знакомства он повел меня плавать. Я ухватилась за его плечи и впервые в жизни болталась в ледяной воде, не опираясь о дно. «Ублюдок! Ублюдок!» — твердили чайки.

В нерешительности я провела в Оране несколько дней, мы не виделись. Произошедшее показалось мне глупостью, дурным советом моря, но все же я вернулась в Лез-Андалуз. Мимуна не было ни в лачуге, ни около сетей на пляже. Рыбаки с насмешкой в конце концов сообщили, что «бедный Мимун», как они его называли, уплыл с контрабандистами.

Море имеет привычку не отвечать на вопросы.

25

9.07

«Это тупик»

Хлопок, второй. Резина лопнула от прокола металлом. Хриплый вздох, полный опасности. Неожиданно как-то я растерялась, дорога сместилась и смялась, как ковер, под моей машиной. Оказаться на шоссе без колеса. Ты тоже почувствовала, как нас тряхануло и раздался резкий крик шины, разлетевшейся на куски? Разумеется. В тревожных снах мне представлялось подобное, но не здесь, не тем утром. Проколоть шину под палящим солнцем, и поблизости никого! С трудом останавливаюсь на обочине, переводя дыхание. Молчаливое небо окружает меня. Выхожу из машины, вижу, что шина — в клочья. Оборачиваюсь и вижу куски черной плоти за моей спиной. Шину разорвало на тысячу волокон. Диск еще дымится. Автомобилю словно выбили зубы, поранили лапу. В городе нужны деньги, в путешествии нам важны знаки. Это знак? Так и не научилась менять колесо.

Понятия не имею, что делать. Прислушиваюсь, вдруг кто-нибудь да и проедет. Где-то вдали лает собака, усиливая ощущение пустоты. Никакого шума двигателя — ни туда, ни обратно. Видимо, даже Всевышний занят пересчетом принесенных жертв. Эта поездка не для меня, это столь очевидно, как и реальность моей канюли. Мертвый край и моя сестра нас отвергают. Зачем ты меня на это подвигла, моя девочка? Что мне теперь делать? Может, стоит вернуться? И каждая отправится туда, откуда явилась: ты — на небо, я — в свою парикмахерскую.

26

9:20

Мне не хотелось, чтобы ты его видела, поэтому я закрыла глаза. Большие острые черные зубы лезут изо рта, дыхание мутно-желтое. Сколько ему, лет тридцать? Тысяча? Рубаха красная. Он пытается схватить меня за горло, его рука нащупывает канюлю, и лицо корчится в гримасе отвращения. Я, не задумываясь, тщетно машу ногами, стараясь ударить. От страха чувствую себя невесомой и слабой. Его подельник шарит в машине и вопит: «Шлюха!» Размахивает передо мной пачкой сигарет. «Где прячешь деньги? Где они?» Он толкает меня к дверце со стороны водительского сиденья, я ударяюсь затылком о жесткий металл машины. Как в колодец упасть. Мама. Таймуша смеется и протягивает мне совершенно круглый камень. Не реветь. Стиснуть зубы. Я отстаиваю право кричать, подобно каждому из живых. Но оказываю молчаливое сопротивление, когда его рука хватает меня за воротник рубашки. «Как ты смеешь оскорблять мужчину? Ты?» Голос завоевателя заполонил мою голову. Мое сердце колотится за

двоих, чтобы тебя уберечь от внезапной смерти. Мое сердце стремится оградить тебя от падения в мир пустоты. Ты свернулась калачиком в темноте, и я скоро присоединюсь к тебе, закрыв глаза. Затем, движимая гневом и возмущением, я поднимаюсь и выпрямляюсь, словно копье. Раз я женщина, со мной можно обращаться как со скотиной? Я защищаю тебя, царапаясь и пинаясь отчаянно. Правая рука напавшего ослабевает, он ее опускает. Но левой все еще держит меня за шиворот, с мужской яростью впиваясь мне в шею. Вижу желтый ноготь. Этот гад смотрит на меня, пытаясь понять, что я собираюсь сказать. Слышу, как его сообщник орет, ржет, изображая плачущую в машине женщину. Холодная рука ползет к моей груди, нащупывает бюстгальтер. Возвращается к шее и дотрагивается до платка. Мое лицо опрокинуто к небу, которое бездействует, мужское дыхание проникает мне в ухо. Я издаю громкий жалобный звук: «Ммм…»

Дверца распахивается, хлопает, открывается снова и снова захлопывается, сообщник страшно сердится, беснуется, что ему не удалось заполучить желаемое. Это именно он сидел на водительском месте, когда грузовик обогнал меня в первый раз. Ему я показала средний палец. В

его взгляде ненависть, что у крыс, шмыгающих по утрам в Оране. Бегают, скачут, спешат спрятаться в земляных норах. Их глазенки зловеще горят, они не позволяют застать их врасплох. Рука спускается, пробирается к паху, пуговица на брюках мешает крысиной лапище, крысе со щербатым ртом и черными зубами. Полагаю, крысы никак не могут простить, что мы живем на их месте в Оране. Отсюда их сверлящий взгляд, поспешность и эта рука. Я кричу, но спохватываюсь, ведь не умею орать, внутреннему языку не под силу такое. Зубы впиваются мне в щеку, он поворачивает мое лицо к себе. Я уже не надеюсь уйти оттуда живой и невредимой. Жизнь — джутовый мешок, в который я зашита, он не дает мне дышать. Мне хочется располосовать крысу ногтями и мыслями. Он притягивает мое лицо к своим потрескавшимся губам. Платок сползает, падает, повязка обнажает то, что он искал во мне, пока его сообщник кричит, катит мое запасное колесо и, смеясь, забирает его к себе.

Крыса обнаруживает дыру в моем горле.

И вдруг резко останавливается. Глаза вдавливаются в увиденное, и от накатившего отвращения его уродство становится еще страшнее. Невероятно! Он застывает с перекошенным лицом,

обнаруживая кошмар моей жизни. Замирает в нерешительности. Хотел женщину, а перед ним — зарезанный баран.

Я — чудовище, картина резко меняется.

Я — чудовище, искажающее черты его лица.

Хотела бы я стать маленькой, погрузиться в себя, спрятаться там, где ты. Прокусить бы себе руку до крови, чтобы не чувствовать рядом зимы и трупов. Я ощущаю, как по ногам что-то течет. Лысый насильник грубо меня отталкивает, словно его оскорбили, очернили. Вытирает руки о штаны. Сплевывает, никак не решаясь поверить в то, что увидел. Показывает мое горло сообщнику, который прерывает свою пляску, подбегает, тоже смотрит на меня, снова склоняется надо мной, распахнутой, неприкрытой. Затем здоровенный камень сваливается на меня с неба и продавливает спину. А потом колючки хлещут меня по лицу.

Лысый вытолкал меня ногами, как бездомного пса. Навзничь падаю в небеса. Его сообщник все еще силится что-то понять, он прихватил мой рюкзак и что-то еще, непонятное. Башмаки скользят по камням. Я стискиваю зубы, чтобы ты не выпала из меня, как косточка, чтобы не потерять тебя, чтобы ты осталась на месте и ничто тебя не

задело в твоем убежище. Я сжимаю ноги, живот, челюсти, руки и принимаюсь считать. Один, два, три, четыре… Подошвы хрустят по дороге, а небо тяжело давит на мои красные веки. Крысы что-то обсуждают, я слышу их голоса среди созданной мною ночи. Они разбивают стекло. Оскорбляют какого-то бога или кого-то из предков, краснеющих от стыда. Через несколько минут поганый грузовик уезжает.

Я не двигалась в своей ночи, а день вокруг пробирался мне в уши. Я больше ничего не слышала, мокрые ноги замерзали. Идиотка! Пыталась распознать шорох насекомых в кустах, считала и пересчитывала, подставляла щеку солнцу и проверяла на слух, насколько велик этот мир. Заливалась слезами, поскольку ты шевелилась. Так мы и лежали минуту, или две, или тысячу, приходя в себя. В горле ничего не текло, крови не было. Ты не умерла, ты вцепилась, как клубок шерсти, как рыбка, жизнь, противостоящая Мертвому краю. И за одну минуту надвинулось нечто, напоминающее таинственный мрак: нежная, смягченная оранжевым светом необъятная ночь, напоминающая кровь, стучавшую в ушах. Да, я почувствовала, как меня окатила волна нашего оживания, солнечная и мощная. Солнце

подождало, пока я приму решение. Я погрузилась в полудрему, попав в другой мир, без дорог, мир прибытий на место и оправдательных решений. По-моему, ты охраняла мой сон, пока я не проснулась.

Зеленый платок зацепился за желтый куст. Ощупав лицо, я определила, что на пальцах кровь. На груди — царапины. Ноги босые. Спортивная обувь украдена.

Они все у меня украли.

Даже шины задних колес.

Дорога пустынна. Она ничего не видела.

27

«В этом лабиринте я потеряла счет времени»

Пока я была без сознания, они украли все; изнасиловать женское тело не получилось, тогда хоть что-то. Спи, светлая моя луна. Как идти босиком, не пойму, прихрамываю; небо спускается на Оран, чтобы успеть на праздник Ид аль-Адха. А я направляюсь в противоположную сторону, к деревне. Она должна быть в трех километрах, не дальше. Я теперь бродяжка, странница. Идеальная добыча для местных мужчин, мечтающих о девственницах и постоянных дефлорациях. Сказано, что, если женщина не принадлежит никакому мужчине, ни отцу, ни брату, ни мужу, ни даже сыну, ее называют странницей. Мужчины говорят о ней, как о пустыре, как о хозяйстве, кровоточащем раз в месяц, как о монетке, выкопанной из земли, о добыче.

Это моя сестра Таймуша.

Наверняка. Она ветром дует в лицо, выгибается всем своим небытием, не желает видеть нас на ферме, в логове останков.

Шагаю к деревне. На указателе надпись: «Уэд-

Тлелат». Там я смогу попросить погрузить мою машину на эвакуатор или отвезти меня домой. Но телефон я тоже потеряла. Теперь убедилась, монетка в моем чреве, что больше ничего нельзя сделать? Надо вернуться. Явно неверная дорога. Безумная, губительная, нехорошая идея повернуть время вспять. Отправиться искать какие-то доказательства, чтобы поторговаться с умершей. Мы вернемся, из Уэд-Тлелата возьмем такси. Вместе проглотим те три таблетки, и ты босиком удалишься в ту страну и избежишь участи странницы. Станешь гурией и будешь поджидать сподвижников Пророка в день Страшного суда.

Я прихрамываю, но, если двигаться по обочине, появятся первые дома, а прежде и брюки высохнут. Клянусь, я безумно хотела совершить с тобой это путешествие к правде. Но ты же видишь, это невозможно и даже опасно. От крыс меня спас не крик, а «улыбка». Разрез на шее.

Скоро доберемся и возьмем такси, если получится.

Ни звука.

Хотя нет, что-то слышно.

Звук моих шагов в воздухе через канюлю.

28

10:17 на часах жандармерии в Уэд-Тлелате

А имя?

Фаджр.

Говорю ему, а он склоняется надо мной — так обычно делают, когда видят меня впервые. Он явно раздосадован и не понимает, что с этим делать в священный день. «Ты ехала по дороге одна, так ведь?» Он настойчиво повторяет; понимаешь, моя стрекоза, его недомолвки? Хочет сказать, что женщина не должна ездить одна, без сопровождения, не в тени круга мужчин, в безлюдной местности, в тот тихий час, что следует за рассечением горла. Он стучит по грязной клавиатуре, где не хватает нескольких клавиш. Мужчина подыскивает слова, смотрит в экран своего телефона, словно следит за приготовлением блюда. Затем нерешительно подходит ко мне. Кажется молодым, хотя уже намечается лысина, как выжженная поляна; он чешет голову, словно школьник, задумавшийся над сложным вопросом. Думаю, он так размышляет о жизни. Вероятно, женатые жандармы постарше сидят

все в казарме, по квартирам в семейном кругу. Слышны глухие звуки шагов, голоса детей, крики женщин, разделывающих мясо и успокаивающих ребятню, растревоженных видом крови.

Скучающий жандарм придумывает, что бы еще у меня спросить, бросая взгляды на мою канюлю и шрам на горле, «улыбку», выглядывающую из-под платка. Пусть строит догадки. Во дворе видно большое окно кабинета, белая лампа освещает некий посторонний мир. Лужи почерневшей крови на месте рассечения горла. На парапете выставлены три бараньи головы. Две другие лежат друг на друге в большом тазу. Под листовым навесом припаркован джип.

В этой машине меня привезли в казарму той деревни. Я бродила по краю дороги, где меня в полуобморочном состоянии оставили мои насильники, а потом скрылись, забрав мои вещи, шины, телефон и обувь. Полчаса я шла к деревне, затем услышала сирену, и на противоположной стороне трассы остановился внедорожник жандармов. Мне крикнули, чтобы стояла на месте, пока они разворачиваются. В джипе маялись четверо патрулирующих жандармов. Я не вызвала у них большого любопытства. Через десять минуте безразличным хмурым видом они посадили

меня с собой, молчаливую, босую, виноватую. Не знаю, несло ли от меня мочой. Машину трясло, водитель прибавил скорость, и мы прибыли в распоряжение бригады Уэд-Тлелата. Четыре жандарма, хохоча будто от розыгрыша, долго совещались в кабинете. Я сидела на деревянной скамейке у входа и ждала. Потом кто-то крикнул: «Аниса?» («Девушка» на моем внутреннем языке.) Я осмотрелась, желая подобрать краткий разумный ответ, чтобы поскорее вернуться в Оран: металлический стол, неплотно закрытые шкафы, набитые папками, под пыльной копировальной машиной — листы бумаги, неудобное сиденье для заявителей. Единственный звук издавала клавиатура жандарма, записывающего мои показания. В Тлелате было так тихо, словно все укрывалось за гигантским кустом. Наступило, похоже, десять утра. У меня больше не было ни часов, ни мобильника, два насильника отобрали все, мстя за облом. У старшего не хватало зубов, а обгоревшие неизвестно как волосы придавали ему вид каменщика, который изнемог от тяжкого труда. Но мне особенно запомнились пеньки во рту и хохот. Другой аж подпрыгивал от возбуждения. «Женщина? Эта женщина осмеливается тут оскорблять мужчин?» Я задрожала. По-моему,

ты это почувствовала, поскольку съежилась и слилась с моим сердцем. Все мои мысли были только о тебе, твоем, моя крошка, присутствии, о твоих смеющихся глазах, твоей хрупкости. Разве так становятся матерью?

«Вы из Орана? — спросил молодой жандарм, оторвавшись от своего экрана. — Путешествуете?» Он старался найти меня в своей вселенной административных документов и удостоверений, притом что у меня больше ничего не было. Смех, да и только: как в день моего рождения. Являюсь почти голая, в крови. Называю ему имя и фамилию Хадиджи Аз, наш адрес в квартале Мирамар. Как объяснить ему, что это не настоящая моя фамилия? Он мнет в руках зеленую фуражку, придумывая очередной вопрос, но я замечаю, что ему надоело и он поглядывает на часы. «Достаточно: по вашим словам, на вас напали и всё украли. Вы не знаете нападавших, опять же по вашим словам. Они уехали на грузовике, номер которого вы не запомнили». И добавил: «А что вы делали тем утром на трассе, куда вы ехали в одиночку?»

29

Почти 14:00, въезжаем в Релизам

«Это выход из лабиринта, моя Гурия»

Меня нашли в собственном фургоне без сознания, раненого, с окровавленной ногой. Предупредили жандармов, военные из казармы Уарглы подобрали меня и везли в грузовике как барана, со связанными за спиной руками. Я думал, умру, оказавшись в подземной камере какого-то военного подразделения, в наручниках, голодный, потерянный. Меня продержали там несколько часов, потому что перепутали, подумав, что я Эмир или сбежавший бородач. Знаешь, сестра, кто спас мне жизнь? Они. (*Большим пальцем он показал назад. Книги?*) Да, книги, поскольку в фургоне была наша семья, родословная, репутация. Понимаешь? В каплях моей крови отыскали следы уважаемого рода.

Ногу не лечили несколько часов, началась гангрена, я ее едва не потерял. В Батне, куда меня отвезли, чтобы избежать ампутации, врачи сотворили чудо. Семь месяцев я лежал с грузами на

растяжке, чтобы срослись тазобедренные кости. Потом я прошел реабилитацию, а еще было всякое: пролежни, поскольку не двигался, рвота из-за лекарств, хотелось чесаться, отвязать грузы, да умереть, чего уж там, молил Бога и посетителей. В Алжире в больницу не носят цветы, как в кино, а только еду: супы, протертые овощи, чаще всего бананы. Раньше в Алжире они были редкостью, их привозили только летом, когда после каникул к нам возвращались иммигранты. Представляешь? Банан — летний фрукт, произраставший в чемоданах, портах, аэропортах (*он смеется, обнажая торчащие зубы, лицо невинное, но решительное*). И мне приносили много бананов, супы, арбузы, соки, однако постепенно бананы все реже появлялись на прикроватной тумбочке в нашей городской больнице. Нашим людям, сестра, надоедает добродетель и преданность.

Но уж если кто и не давал мне спать и скучать, так это военные. Их командир, из военной разведки, жил в Батне. Когда я только попал в больницу, он не ленился приходить каждый день и интересоваться моим самочувствием. Высокий, очень худой, с желтыми пальцами заядлого курильщика и очень умными глазами, он, казалось, с рождения умел читать и писать. Меня

всегда обескураживала его худоба: как можно быть столь могущественным, таким грозным в жизни, если ты не крупный и не мускулистый? У меня сразу возникала эта мысль, когда он входил в палату с бананами, а после, за беседой, терял ее. Иногда приходил неулыбчивый, в форме, сшитой на заказ, точно поднятый флаг, иногда навещал в гражданской одежде, улыбаясь.

Надо отметить, он блестяще умел распознавать паузы, сомнения, взгляды, ложь, да все! Он постоянно расспрашивал меня о том, как мне удалось избежать смерти, когда убили девятнадцать военных, и моя история обретала прочность, становясь более подробной, точной, насыщенной, словно книга, сказочной, как старинный ковер; сосредоточившись, я извлекал оттуда детали, до той поры существовавшие в моих снах или обидах. Обнаруживал подробности, которые не успел запечатлеть, когда меня чуть не зарезали: черные зубы во рту Эмира Голодного волка, волосы у него в носу, клыки, когда он вопил мне прямо в ухо, число погибших — я мог пересчитать их с закрытыми глазами, цвет одежды бородачей, их форму, оружие, температуру Сахары, которая настораживается при любом чужом шаге по своему огромному телу. Да, полковник Шахид…

(его так звали, но это был псевдоним, потому что все высшие офицеры служб нашей армии имели псевдонимы, поэтому их путают с исполнителями рай).

«Шеб Шахид», — обратился я однажды к полковнику, он замолчал и холодно на меня посмотрел. Мне показалось, что он сейчас заберет свои бананы и больше никогда не придет. Было неосмотрительно произнести его имя в полный голос, моя девочка, даже в шутку. «Что произошло в тот день? Расскажи мне снова!» — потребовал он, куря у окна, откуда он бросил мне два банана, которые я поймал налету; я был прикован к кровати со своим грузом. Он желал знать, как меня остановили, ранили, били, почему меня выбрал злосчастный Эмир Голодный волк, отдавший мне приказ Бога повторять каждую подробность той резни, дабы внушать страх мертвым и живым. Пока я лежал у ног Эмира как в могиле, он повторял своим людям, что «эта религия увековечивается памятью и мечом», а его тяжелый башмак стоял на моей козлиной шее. И мало-помалу в этой больничной палате, хотя их разделяли сотни километров, желание полковника Шахида слушать наталкивалось на его же неизбывное желание поговорить о себе с

Эмиром Голодным волком, и в моей одуревшей от лекарств голове они обнимались как закадычные враги, сжимали друг друга в братских объятиях, а я, Аисса Герди, продавец книг в нескольких поколениях, стонал, не двигаясь, у их ног, ничтожный, крошечный.

Я сообщал полковнику мельчайшие подробности того исключительного дня, каждую интонацию и оттенок за оттенком, а может, сама история постепенно возвращала мою личность и восстанавливала мое разрубленное тело. Пальцы ног потихоньку теплели и шевелились, спина выпрямлялась в продавленной кровати, во рту ощущался вкус фруктов. Я внимательно рассматривал в зеркало свое лицо, губы снова обрели способность улыбаться. В результате этой невероятной истории неудавшегося убийства я потерял только правую ногу и волосы. Остальное мне вернули, как возвращают заключенному его одежду на выходе из тюрьмы после отбывания срока.

Полковник был доброжелателен, внимателен, ободрял меня, все записывал, излагал события в подробностях, делал пометы в своих тетрадях, исправлял неточности, зачеркивал, следил за стилем, уточнял даты и время; и поскольку мне выпало счастье обрести вторую жизнь, более

удачную, чем предыдущая, он представал в моем сознании и как реинкарнация моего отца. Вместе с тем Эмир, видимо, был доволен моей памятью: его ужасные наказы выполнялись: отныне из-за него, благодаря ему, его ножу, его автоматам, его смеху, зубам, волосам в носу и бороде, я уже не мог ничего забыть. Все отпечаталось во мне каленым железом угрозы, и я не мог больше скрывать многочисленные истории этой войны. Полковник все зафиксировал, тщательно оформил свой рапорт для начальства, поблагодарил меня, а потом удалился решительным шагом, высокий, худой как флагшток. И однажды он больше не пришел в больницу, где я уверенно поправлялся, с тех пор как моя история стала столь ясной в моей голове.

Позже я получил от него две картонные коробки бананов, упаковки абрикосового сока, красный пиджак и парфюм. Еще пару раз я видел его в кабинете казармы, потом он исчез, и его перевели в Алжир. Он унес с собой мою историю истребления девятнадцати солдат между Бискрой и Уарглой, а также тайну удачной ликвидации Голодного волка спустя несколько месяцев. А я? Я вернулся домой в смятении, размышляя о дальнейшей жизни.

30

Без моего деда в памяти отца и отца в моей, их обоих, книжный магазин загнулся бы, точно, клянусь тебе! Даже если книги и напоминают людей, которые не умирают, без нас, продавцов, они бы пропали. У них нет ни рук, ни ног, ни рта. Вода способна их уничтожить, мама об этом догадалась, да упокоит Господь ее душу, а еще их уничтожают пыль, забвение и огонь. Когда я вернулся к семейному делу на улице Независимости, наше традиционное дело продавцов книг напоминало дерево, постепенно умирающее в агонии вместе с лимонным садом у дома. Мою историю почти полностью записал полковник Шахид. Но в нашей семье и среди моих знакомых в нашем квартале она не оставила приметных следов. Не моя в том вина, что я начал ее рассказывать. И читать попадавшиеся мне отчеты об убийствах в период гражданской войны. А тогда, доложу я тебе, в течение последующих десяти лет газеты наперебой спорили о точном количестве погибших, расписывая бойни, фальшивые блокпосты, капитуляции или ликвидации террористов, а я сидел на пороге нашего магазина «Эль-Гурия», и

— о, чудо! — все укладывалось во мне, словно я был книгой! Понимаешь? Из-за Эмира, его ружья и мясницкого ножа во мне проснулся талант, а полковник развил этот дивный дар. Эмир поплатился жизнью: и я поспособствовал тому, рассказав все, что мне было известно, и даже более, пока его не схватили и не расстреляли, благодаря тысяче моих наводок, описанию одежды, черт лица, оружия и манеры речи. Я вспомнил номер его ружья, его обувь, форму, что позволило вычислить казарму, откуда было украдено обмундирование, задержать его сообщников, добраться до его логова и застрелить Эмира как кабана.

Смерти, бойни, обезглавливания происходили во всех районах Алжира, докатываясь понемногу и до меня, моих глаз и памяти, она поглощала написанное быстрее, чем я сам, распухала, крепла, словно толстая книга в десять тысяч страниц, подлинное собрание фактов и речей Эмиров. Я был вроде двадцатидвухтомника священных изречений новой эпохи чудовищных пророков. Рассказывал, поглаживая больную ногу за неимением домашнего животного, да простит мне Всевышний такое святотатство. Знаешь Абу Хурайру? Это тот, кто записал хадисы Пророка и кого много веков назад назвали так потому,

что он любил кошек. Сказано, что Абу Хурайра передал слова Пророка о… Но кто он такой, вроде как сирота, принадлежал к какому-то племени в Йемене, провел вместе с Пророком несколько месяцев, но запомнил миллион его изречений. Я вроде него: я не забыл, передавал, излагал подробности, сочинял.

Поначалу все было великолепно, это переполняло меня, как любовь, доставляло удовольствие, как сладчайшее миндальное яство. В кафе «Мархаба» нашего квартала меня слушали серьезно, с почтением. Мы люди уважаемые. В ту пору, сестра, истории о бойнях были правдивы. Назови мне число!

Шесть.

«6 января 1997 года: убийство граждан в поселке Олив в Дуауде (в Типазе). Итог: двадцать три погибших. Среди жертв трое детей и шесть женщин».

Еще число?

Семнадцать.

«17 февраля: в пятидесяти километрах от Алжира в селе Керраш исламистские террористы Антара Зуабри уничтожили тридцать одного человека». В своем заявлении он взял на себя ответственность за резню и уточнил число жертв,

которых было не тридцать один, как сообщалось в прессе, а сорок один человек. Видишь…

Еще число?

Двадцать четыре.

«24 декабря 1994 года: захват заложников рейса „Эйр Франс“ в аэропорту Алжира. Три жертвы: Камель Беркан, инспектор полиции — он был в отпуске, летел как гражданской лицо; Янник Бенье, двадцати восьми лет, повар в посольстве Франции в Алжире; Буй Жанг То, торговый советник посольства Вьетнама». Вот, понимаешь?

Я выказывал неслыханное знание, люди окружали меня, относясь с уважением и серьезностью. Я возвращался к жизни, заново ощущая цвета, вкус чашки чая, небо окрашивалось в оттенки старинной бумаги, звук моего собственного голоса напоминал чтеца Корана, способного своим пением заставить камни плакать. Понимаешь, сестра? Я передавал все, что случилось за десять лет войны: имена и фамилии жертв, места, обстоятельства. Распознавал вооруженные группировки по их преступному почерку, по опасным лесным укрытиям, по поворотам кровавых дорог. Каждый день я, хромая, приходил в кафе и открывал несуществующую книгу, а люди выражали почтение, кивая и замолкая, слушая

единственную в мире книгу в двадцать два тома, хранящуюся в моей голове и моей душе.

Так продолжалось достаточно долго. Я чуть не прославился как Абу Хурайра, но так уж бывает в романах, возникает недоразумение: однажды избрали нового президента республики, часто кричавшего и бьющего кулаком по столу, он решил, что все надо забыть, стереть, что всем надо двигаться вперед, убийцам и убитым. Его избрали 15 апреля 1999 года. Следом был День знаний, и новый президент повторил, что нам ничего не известно и что надо обо всем забыть.

31

Все началось в «Мархаба». Я понял это по лицам, по насмешливым выражениям, по росту числу тех, кто перестал приходить и отправлялся в кафе по соседству. С 2005 года меня уже слушали меньше, иногда кое-кто пожимал плечами и бесцеремонно прерывали дурацкими вопросами. «Откуда вы это знаете?» — спрашивал один. «А может, убивали переодетые военные?» — шептал другой. Под конец кто-то, передразнивая, добавил: «Все это байки и слухи, чтобы развязать войну, происки французов и евреев». Начали поднимать руку и перебивать, потом уже невежливо и неуважительно, и от моей ауры не осталось ничего, кроме мятых бумаг.

Таким образом, знание затерялось в шуме отодвигаемых стульев и насмешек, моя уверенность растворилась, а потом засомневались в моих цифрах и моей честности. Всякий раз, как я появлялся в кафе, радио включали громче, и я понял, что это было проявлением не сомнения, а раздражения, желания уйти и послушать что-то другое. Моим цифрам предпочли длинные проповеди нашего нового имама и его описание

гурий в раю. Настоящий Абу Хурайра, собравший всевозможные хадисы, победил меня еще тысячу лет назад. Моей истории предпочли телевизор, кино, призыв к молитве или исполнителя рай, вот так, сестра.

Дьявол в тысяче деталей, говорил порой мой отец. Жителям Батны не нужна была больше моя воображаемая книга, моя память, мой талант, открывшийся после несчастного случая. Они ожидали другую удивительную насыщенную историю, но про женщин, секс, Мекку или евреев. Может быть, Абу Хурайра понял именно это много веков назад: рассказывать надо то, что люди желают услышать! «А вы могли бы вспомнить о войне с Францией? А хадисы Пророка?» — спрашивали меня, затем и это им надоедало, и они отходили от моего стола. Разве мне по силам одолеть нового имама нашей местной мечети, хотя он даже не знал, как звали имама, обезглавленного при жизни моего отца? Могли я замолчать? Ничего не писать, шевеля языком? Не собирать мысли, как книга? Что, встать со стула и просто уйти? И я отвечал: «А как же погибшие, убитые дети, разрезанные шеи? Изнасилованные, а потом казненные женщины? Засады? Бомбы? Рэкет? А списки тех, кого надо убить на воротах

мечети? А взрывы? Крики среди ночи? А? И что мне делать с цифрами?»

Как-то раз владелец кафе отвел меня в сторону и объяснил, что раздражен и обеспокоен: ведь мы же известные люди, семья Герди, понимаешь, сестра. Он чесал лысую голову, вспоминал моего отца, смягчая несправедливость настоящего времени, и сказал, что в его кафе не хотят приходить из-за моих историй. «Вы продаете книги, а не истории!» — твердил он, радуясь удачному объяснению. Тогда мне пришлось уйти, мне, внуку эль-Хаджа Герди Сенусси! Пришлось укрыться в своем доме, где моя нога оставалась единственным доказательством произошедшего и единственной собеседницей. Я возмущался, негодовал, сопротивлялся, едва не рыдал. Боялся? Пожалуй. Эмир еще не исчез из моей головы, со своими ноздрями и зловонным дыханием, он все повторял: «Иди и расскажи всем, что видел!» А полковник Шахид? Что он подумает о моем предательстве? И молодой солдат-дитя, мечтавший о норвежских рыбах посреди алжирской Сахары? Как и мать, я решил больше не есть и отправиться к отцу, брату и Сэндибелл.

Когда меня вызвали к новому полковнику из военной разведки Батны, я осознал, что ветер

слишком быстро перелистывает страницы моей книги, что придется рассеять слова, поменять тему бесед и стать как все. Пришлось поверить, что десять лет бойни были ужасом, затем сном, слухами, потом опавшими листьями цератонии в какой-то деревне. Увы, сестра, моя уникальная история, страницы моей потрясающей, грандиозной книги памяти оказались ненужными! Невероятно, правда? Я, один из Герди, вынужден был замолчать и издавать кулинарные книги.

32

Новый полковник не принял меня в час, назначенный им по телефону тягучим голосом. Он продержал меня в обшарпанной серой приемной, украшенной старомодными отколотыми изразцами; я с волнением листал старые журналы и газеты, которые здесь уже никто не читал. Молодой офицер, который тем утром открыл мне дверь всем известной Белой виллы в Батне, ничего не произнес, даже не поинтересовался, кто я такой. Он не утруждал себя формулами вежливости, не задался вопросом о цели моего присутствия на входе в здание, наводившего страх на многих, особенно невиновных. Молодой сотрудник в спортивной обуви и с золотой цепочкой был в курсе, и я понимал, что он в курсе, и мы молча поднялись по лестнице.

Напитков мне не предложили, в отличие от заведенного правила в бытность полковника Шахида. Так я там и торчал, моя укороченная мерзкая нога елозила, дергалась, желая, чтобы я ушел как можно скорее и как можно дальше. Другая не двигалась. Правым глазом я оглядывал комнату с неизменными потемневшими от пыли

часами на серо-бежевой крашеной стене, как во всех алжирских общественных заведениях. На некоторое время меня отвлек рисунок на кафельной плитке — изображение Белой виллы, территориального центра военной разведки, поскольку заняться было нечем. Левый глаз, скрытый под веком, с тех пор как меня чуть не зарезали, вглядывался в будущее, которое в нашей стране являет собой прошлое. Кто теперь станет читать мою книгу? Как ее написать мне? Как сотворить шедевр памяти точности, способный поразить даже моего покойного отца? Что сделал бы Абу Хурайра на моем месте, если бы вспыльчивый халиф предложил ему замолчать и убрать подальше пятьсот тысяч хадисов? Так я и стоял, раздираемый надвое, как разрубленный вдоль, затем дверь открылась, и импозантный полковник в сером костюме пригласил меня войти. Он продолжал говорить по телефону, кивал, издавал долгие «ммм!», смотрел на папки, раскрытые на письменном столе, глядел в окно, на пепельницу, экран, красивые золотые часы, но только не на меня, хотя я сидел прямо напротив на низком стуле.

В какой-то момент он указал на меня пальцем, и только я приготовился открыть рот и

объясниться, как он грозно зыркнул большими глазами и улыбнулся своему собеседнику на другом конце провода. Так продолжалось несколько минут, потом он резко положил трубку и обратился ко мне, прервав мои бараньи мечтания: «Вы тот самый книготорговец, рассказывающий ерунду в кафе на улице Независимости?» Его голос звучал устало, и я понял, что моего ответа и не ожидалось, тогда я закрыл рот и сел прямее. «Вы сын уважаемого человека, из известной семьи, господин Аисса Герди. Я не располагаю временем, но должен с вами поговорить. Я тоже почтенный человек, известный своей прямотой. И вот что я вам скажу: отныне вы прекращаете разговоры!» И посланный им приказ проник в мою голову, пробрался глубже, попал прямиком мне в сердце. Он прицелился в мою историю. Мишенью стали ее корни, его приказ напомнил слова Эмира Голодного волка, убитого несколько лет назад, в том числе благодаря моим точным подробностям. Полковник хотел вырвать мой дар, выдернуть его, раздавить своим башмаком, набросить на него чадру, засунуть оружие в рот или даже лишить меня рта! Мне он стал понятен, как ювелир сразу узнает бандита с большой дороги, еще до того, как тот что-то успеет сказать.

Его глазки требовали, чтобы сдался я, не убийцы. Потому что закон о примирении сулил им по всей стране распростертые объятия, молоко и финики, если они сложат оружие и поведают, как их наняли исключительно в качестве безобидных поваров, как теперь уже мертвые Эмиры взяли их в заложники в горной местности и лесах. «Ну, понятно тебе?» Я кивнул. А что я мог? Ветер переменился, однако полковник явно не удовлетворился моим бараньим молчанием, поскольку видел, как я на него смотрю. «Видишь ли, мой маленький книготорговец, мы служим делу мира, а то, что ты рассказываешь в кафе своего квартала, не способствует миру, к которому стремится президент республики. Твои слова подогревают умы, подталкивая их к мести, и вообще, это не всегда правдиво. Какие у тебя доказательства? А? Никаких». Мои руки слегка дрожали, а атрофированная нога подергивалась. Это его задело. Глазки смотрели еще агрессивнее. Он стоял совсем близко ко мне, чтобы подчеркнуть мою ничтожность, я ощутил его дыхание. Зловонное, спертое и тяжелое, как после жирной еды. Он будто бы вывернул челюсти и проглотил все трупы недавней войны, останки, которые еще валялись на улицах и дорогах, будто стер

оставшиеся следы преступлений последнего десятилетия. Знаешь, так у нас поступают мелкие торговцы гашишем, когда попадаются: они глотают товар. Полковник и его коллеги решили все проглотить и не оставить ни единого доказательства, ни одной цифры, никакой возможности поведать эту историю нашим потомкам.

«У тебя есть доказательства того, что ты говоришь об этих так называемых бойнях? Нет. Сотрясаешь воздух словами, враньем и опасными для стабильности страны байками. Как в твоих книжках. Кстати, хорошо бы их все поочередно проверить, как считаешь? Глянуть, что ты издаешь и продаешь в своем магазине? Кулинарные книги и книги о Пророке, как утверждают. Это славно, но не более того. Ты способен снова стать добрым гражданином, уважаемым человеком в Батне». Потом он насмешливо добавил кое-что к составленному протоколу: «Мне сказали, что ногу ты повредил в аварии на мотоцикле. Лечишься? Можешь получить крупную страховку. Я позабочусь об этом. По доброте душевной» — и показал подбородком на один из стационарных телефонов. Было понятно, что ему все известно. Я уставился на его наручные золотые часы, и его большая рука указала мне на дверь кабинета. В

ту ночь нога ужасно разболелась. Она мучила меня, как гнилой зуб, и мне пришлось мысленно сражаться с ее версией произошедшего. На рассвете она согласилась с моими аргументами.

Я больше не рассказывал свою историю, наполненную точными цифрами и сводками того, что происходило с 1990-го по 2000-й, ни в кафе, ни на улице, ни на похоронах и свадьбах, ни на празднике обрезания, ни во время бодрствования в Рамадан, ни в книжном магазине. Возможно, если бы все начать пораньше и встать на сторону отца, а не матери, выбрать чернила, а не воду, я стал бы великим писателем. В Алжире моя «книга», записанная полковником Шахидом, скорее всего, исчезла, да, видимо, и сам полковник вместе с ней. Запрещается преподавать, вспоминать, рисовать, снимать кино и говорить о войне 1990-х. Ничего и никак.

Поэтому я снова поехал по дороге с картонными коробками раздавать книги. Лучше так, чем быть арестованным. Ты знаешь, что по закону тому, кто открывал рот в этот период, грозило от трех до пяти лет тюрьмы? Я осознал, книги-то круто мне отомстили! Проклятие отца меня преследует… Никаких доказательств. А после, пока я молил Всевышнего простить мне в тот день Ид

аль-Адха, а дорога твердила, что не надо больше разговаривать с людьми, я увидел тебя, сестра, на обочине! Увидел тебя и остановился, меня вела рука отца, он взял меня за нее, и вот ты здесь. (*Его голос дрожит: взволнованный, неповторимый, почти с рыданием и интонациями омраченного детства.*) Понимаешь, сестра? Не надо мне ни жены, ни любовницы, у меня в мыслях нет тебя похищать или насиловать. Я лишь прошу тебя поехать со мной в Батну, снять свой платок и показать эту отметину. Понимаешь? Это чрезвычайно важно для меня и всех тех, у кого сегодня нет никого, кроме меня, кто произнес бы имена и фамилии, от кого остались только пожелтевшие газетные вырезки как напоминание о них. Ты спустилась с неба в день жертвоприношения не для того, чтобы тебя зарезали, а чтобы свидетельствовать. Поедем со мной: у нас в Батне ты ни в чем не будешь нуждаться, клянусь могилой отца. Я стану твоим голосом, а ты — моим доказательством. По рукам? Назови последнее число.

(*Подавленная, чуть не плача, я произнесла: «Тысяча».*)

«Вчера на конференции в алжирской резиденции Дженан эль-Митхак премьер-министр заявил, что во время резни в Рамке и Хад-Шекале

(Релизан) в 1998 году погибли тысяча человек». Вырезаны целиком три деревни! Официально власти озвучили цифру в сто пятьдесят погибших.

(*Он повернулся ко мне и долго на меня смотрел.*)

Третья часть. Нож

1

20 июня, 16:30, Хад-Шекала

Выхожу из такси. Солнце пронзает меня, как нож; воздух дрожит, словно я двигаюсь во сне, но я еще не понимаю каком.

«Выходим? Просыпайся, Хамед», — слышится паникующий мужской голос. Ему отвечает другой: «Нет еще, спи!» Два мрачных пассажира, проводившие меня взглядом, дремлют на заднем сиденье желтой машины, каждый наполовину погружен в свое бормотание среди безответных гор. Они, вероятно, предпочитают думать, что я еду к родственникам. В течение всей поездки моего даже скромного присутствия достаточно, чтобы вызвать у них вопросы. Законы их мира под угрозой. Здесь женщина не ходит в одиночку, не отрывает взгляд от земли, когда идет по улице, не разговаривает даже с теми, кто ее сопровождает, не ездит без мужчины-опекуна и не носит обтягивающие брюки, что облегают бедра подобно второй коже. Оба пассажира еще раз осуждающе на меня смотрят и отводят взгляды.

Такси удаляется. Абсолютная тишина, слы-

шишь? Словно деревня, прилепившаяся к вершине холма, пуста. Я не представляла, что она такая маленькая и незаметная под необъятным небом, подступившим к ней со всех сторон. Видимо, селение делится на две части. Единственная дорога пересекает его пополам, тянется как пуповина, идет вдоль холма, узкая и подозрительная: все маленькие окна в домах, выходящие на подножие, закрыты. Я стою внизу, спиной к растрескавшемуся руслу — вади, которое опоясывает деревню и отделяет ее от горы, широкое гигантское безликое полотнище, доказательство древности места.

Я там. В центре моей истории. В моей деревне.

Чувствуешь пыль, моя Гурия, снизошедшая из рая правоверных? Похоже на руины. У полей везде задубелая почва, следствие неистовства лета. Я толком не помню эти края. Разве что храню один отпечаток. Единственный, что остался в памяти, связан с зимой: мои замерзшие руки в день посещения скотного рынка, с отцом, с серой водой, покинувшей речку, которую видишь здесь. Это русло реки прямо внизу, слева от большой дороги на Тиарет. Теперь она напоминает столетнего старика, вся в трещинах, высохшая и мертвая в это время года. Словно змеиная кожа.

Точно: огромная распотрошенная, раздавленная желто-коричневая змея, с оставшимися в раскаленной глине следами прохожих, поспешно ее пересекавших. Следы ботинок, башмаков, колес.

По какой же дороге пойти? Если уж я забралась сюда, так далеко, упорствовала в безумии, то только ради того, чтобы ты увидела своими глазами, что во мне, мою деревню, всю правду о стертой войне. Выжившие после массовых убийств, какие происходили в районе Уарсениса, по-прежнему там и живут, храня в себе жуткое прошлое этих мест. Вот их дома. Двадцать один год назад преследуемые племена спустились ночью по тропинкам, теряя все по пути: скарб, детей, части тела, руки, кошек, уши, скотину и воспоминания. Некоторым уцелевшим из дюжины племен некуда было идти, кроме этого уголка, Хад-Шекалы, того, что «внизу», как говорила моя старшая сестра Таймуша. Обычно мы ходили в деревню, чтобы продать скотину и скудный урожай. Но в тот раз ведомые паникой выжившие укрылись там, чтобы спастись от резни. Сколько их выжило в ту ночь? Никто так и не узнал. Я долго выспрашивала у Хадиджи, но и она сомневалась в окончательной цифре. Это все равно что считать звезды, даже погасшие.

Что осталось под беспамятным солнцем от одной-единственной давней ночи? Тишина. Оглядываю пейзаж: ниже, напротив обитаемого холма и с другой стороны дороги, что ведет в Тиарет, самый крупный город в округе, расположенный в двухстах километрах на юг, электрические столбы пересекают русло высохшего вади. Наша ферма — в этом направлении. Гора расправила тяжелое каменное платье, в песке и трещинах. Полагаю, это глина. Она захватнически расстилается и трескается от жары. Словно шуршит как скомканная бумага.

Я медленно и нерешительно поднимаюсь через деревню. Начало пятого. Осознаю, что хочу услышать и дать услышать тебе, но ничего не ведаю о такой тишине и как ее одолеть. В Оране все подругому: привыкаешь к постоянному шуму моря. Здесь тишина вынуждает прислушиваться, и начинаешь воображать разные звуки. Забираюсь вверх по крутой дороге. Вроде какой-то ребенок кричит. Какая-то собака громко лает, охраняя территорию. Разносится ветром потрескивание электричества. Какой-то свист, но я не уверена.

Как бы то ни было, мы в Хад-Шекале, водитель такси, проворчав, подтвердил. Все уцелевшие, их семьи и воспоминания, должны быть там. Они

поведают тебе кучу подробностей. Покажут следы той ночи, расскажут жуткие истории, и, возможно, их воспоминания о датах и ранах точнее, чем у меня. Не забывай запоминать каждое слово, это важно. Каждое слово прикасается к моему шраму, вот тут. Каждое слово — вопрос жизни и смерти сегодня, как и вчера. Мы приехали издалека, только чтобы услышать эти слова. Даже если я не помню всех подробностей («Ты — книга!» — настаивает Хадиджа, но, по-моему, я лишь блокнот), все, о чем я тебе говорила в последние дни, правда. Перерезанное горло, история «улыбки», неудачные хирургические операции по восстановлению голосовых связок, мои два имени: Биа, а затем потом Об. Местные должны были знать моего отца и нашу семью, дорогу к нашей ферме. Никого нет здесь, ведь сейчас Ид аль-Адха, не бойся. Настал час предпоследней дневной молитвы, мужчины насытились, дворы вымыты, кровь засохла, Всевышний удалился. Что делать? Постучать в первую попавшуюся дверь?

Вдали на дороге, идущей вверх, на меня уставились дети.

Мочевой пузырь дает о себе знать, хорошо было бы облегчиться под кустом. В этой стране для женщин нет общественных туалетов. Постучу

в чью-нибудь дверь. Назову им фамилию. Репетирую, но пока между нами: «Вам известна семья Аджама?» В тишине шепчу как воришка. Поднимаю руку, чтобы помахать детям. В ответ они сдержанно поплевывают.

«Раз, два, три. Алло? Алло? Басмала».

Раздается чей-то неуверенный голос, издали, на вершине холма, из селения доносятся некие звуки. Слышишь, голубая сардинка? Любопытная ребятня подходит ко мне. Рассматривают мои красные сандалии, брюки и кепку. И часть канюли, которую промокший от пота платок уже не скрывает полностью.

Мама Хадиджа, наверное, будет звонить сегодня вечером, а у меня больше нет телефона. Если она, закрывающая меня, как тень пальмы, узнает, что я здесь, то потеряет голос. Вспоминая ее измученные руки, не могу и подумать, что она не услышит, как я шепчу ей про оранские пустяки, и у меня колет сердце. Она не способна представить меня на этой дороге с засохшей кровью, в деревне, связанной для нее с Эмирами и головорезами. Хад-Шекала. Что это значит на моем внутреннем языке? «Хад» — это «предел». «Шекала» — не знаю. Звучит как «ерунда», «болтовня».

Мне нужно подняться к правде по дороге, ползущей вверх. Для начала поменять время года. Увидеть в июньском лете зиму, так в моей версии произошедшего. В этой мрачной деревне мне пять лет, кричащий хор окружает меня и вырывает из бессознательного состояния. С трудом открываю глаза, ледяной холод меня парализует, мягкое, тошнотворное ощущение неустойчивости. Чьи-то руки подхватывают меня, передают кому-то еще, голова тяжелая, из горла хлещет кровь, я различаю силуэты и тревожные тени. В мозгу вертится одна и та же картина. Сестра закрывает ладонями лицо, головорез тащит ее за ноги, сконфуженно бормоча какие-то слова своему подельнику, у которого нет лица. Совсем не так, как в кино, моя Гурия, потому что, когда ужас сильнее голоса, кричать на самом деле не получается. Зажмуриваешься, притворяешься мертвой, и внимание убийцы переключается на твою сестру. Становишься частью ножа.

На этом пути должны быть кровь и останки принесенных в жертву животных. Но нет ничего такого. То ли жители Хад-Шекалы слишком бедны для заклания скота, то ли так проголодались, что начали есть уже в полдень? Может, надо бы повернуться спиной к деревне, перейти засохший

вади, вернуться по этой дороге, пятясь к вершине холма напротив. Там наша ферма. Но моя душа пылает, мне хочется одновременно вернуться на то место и убежать. Думаю о непогребенной наверху сестре, о родителях. Думаю о них, но ничего не чувствую. Такое случается, когда мертвец навещает мертвых.

Осмелевшие дети кричат мне: «Эль-Гуруб? Эд-Дамар?» Они толпятся, повторяя вопрос. Намекают на алжирские телеканалы (телевизор, моя Гурия, это такой ящик, в котором спрятана жизнь); может, они решили, что я приехала снимать их историю?

Ну что, стучусь в ту зеленую дверь? Там должны помнить мою фамилию, дату появления разреза, священную ночь. Тысяча погибших не шутка. Своим зверством та ночь уравняла всех в возрасте, отождествила выживших перед лицом небытия. В Оране имам клялся, что в раю нам всем будет тридцать три года. Я слышала, как он обещал это каждую пятницу, пока я сидела со стаканчиком на террасе своего дома. Видимо, тут тоже властвует этот необъяснимый закон, одинаковый возраст навсегда и для всех. Когда я воспроизвожу события, старики, женщины, дети, собаки, кошки, коровы, птицы умерли и

родились в Хад-Шекале в один день. Им навечно будет тридцать три года.

Слышишь крики, любопытная детвора врассыпную подходит ко мне. Впереди девочка, у нее отважный взгляд. Ее любопытные глаза пытаются определить меня в своем мире.

2

Наткнулась на какой-то предмет

Он пропитан черной и красной жидкостью, прилипшей к пальцам моей ноги. На мгновение я попробовала от него отстраниться, однако невольно глаз снова на нем остановился: крупная покорная готова, безвинная, с большими закрытыми веками и длинными ресницами. При ясном летнем свете предмет порождает неясное ощущение. Словно мертвое животное погрузилось в настоящую ночь. Это отрубленная ослиная голова. Как будто ее бросили у входа в деревню, там, где главная местная дорога переходит в заасфальтированную, такую, как все остальные в стране. Словно эта голова скатилась с вершины холма прямо ко мне, будто упала с невидимого алтаря. Поднимаю глаза: дети наблюдают за мной, слегка обескураженные, что я не ответила на их вопросы.

И в эту минуту, моя Гурия, я погружаюсь в другой сон, сон наяву. Убеждаю себя, что это дурное знамение обозначило мой предел. А может, это она? Может, моя сестра направляет против меня

свое последнее жуткое оружие? Вдруг за моей спиной раздается детский голосок: «Ты ведь журналистка?», и ты вздрагиваешь во мне. Я журналистка? Ее друзья стоят поодаль, следят за девочкой, отправленной на разведку. Это из-за брюк и при чески? На мне нет ни никаба, ни женской одежды. Передо мной — малышка с темными растрепанными волосами и нарочито вызывающим взглядом. Она выскочила из-за красной кирпичной стены. Ее взгляд пронзает меня: «Это по поводу того, что мы отказываемся есть мясо на праздник?»

3

Вначале, моя Гурия, прибыв на место, я поверила в победу. Вообще-то, можно было уехать сразу, увидев такую картину: пострадавшую деревню, где жизнь достигла предела спутанности. Деревья, изуродованный холм, невнятная дорога, засуха, разливающийся пыльно-желтый вечерний свет. Здесь заканчивались золотые поля, мимо которых мы долго ехали на машине, с осликами, я показывала тебе их через окно. Помнишь, в такси громко читали Коран? Чтец стонал, суетился, словно заталкивал тысячетонный камень в потусторонний мир. Нужно было изгнать дьявольское присутствие женщины без сопровождения, едущей в машине с мужчинами. Так мы ехали от Амми Муссы до этой остановки, «Хада» на внешнем языке. Этой извилистой дороги, начавшейся на рассвете в Оране, могло ведь хватить в качестве доказательства? Но ты изнеженный ребенок. Уже несколько недель ты лежишь там, куда только слегка доносится шум мира, и ты хочешь проверить. Я тебя понимаю.

Мы могли бы вернуться по первому знаку сестры. Но темноволосая девочка настаивала: «Ты

от Эд-Дамара? От Эль-Гуруба? И камер нет?» Она взяла меня за руку и потащила на порог первого дома, наверное ее семьи. Меня лихорадило, я устала, боялась потерять сознание и грохнуться наземь. Ослиная голова с венцом раздробленных костей липла к глазам и ногам. «Скажи „Басмала“, произнеси имя Господа!» — посоветовало дитя, она догадалась о моей тревоге, ее ладонь сжала мою. Тихонько подвела меня к порогу своего дома, и я села в тень, а моя душа ушла в пятки.

Я обнаруживаю, что ты способна быть убийцей. У твоей жизни свои законы, своя золотая райская валюта, свои собственные запросы. Ты можешь явиться досрочно в поле увядших цветов и корней, в мир, который лишь искаженное отражение твоего рая. У меня начинается бред, мне ужасно хочется пить. Ребенок протягивает кувшин, я пью без раздумий. «Скажи „Басмала“», — повторяет она. Из-за двери до меня доносится женский голос, приводящий в смятение. Девочка пожимает плечами. На ней летнее белое платьице с золотыми и зелеными бабочками, частично стершимися от долгого ношения, вьетнамки и красный бант в волосах. Сколько ей? Восемь, девять? Меня забавляет ее игривость, спрятанная за серьезностью, я сравниваю с собой в том же возрасте. Благодарю

ее, вода вернула мне силу духа. Дверь в доме по-прежнему закрыта, но слышно, как женщина спорит с кем-то недовольным. «С утра ждем решения», — объясняет девочка с важным видом взрослого. Ее друзья-мальчишки подходят ближе. «Женщины ждут с утра, никто не осмеливается ни есть, ни готовить еду. Решать будут мой отец и мой дядя после проповеди имама».

Она подбородком указывает на небольшое окно в недостроенном кирпичном доме. До меня доносится звон посуды, представляю затворническую жизнь женщин в том доме. «Ты от какого канала?» Теперь меня окружили шесть-семь ребят. Сама над собой потешаюсь. Хотела тебе показать, что сделала с нами война, ее следы, а нахожу отрубленную ослиную голову и детей, принимающих меня за потерявшуюся журналистку! Чувствую себя по-дурацки со своим безумным проектом собрать вместе всех жителей этого затерянного места, чтобы поговорить с тобой, хотя тебя не видно в моем животе. Идея для фильма или же сна.

Я измучена и зла на судьбу и свою глупость. Хотелось бы пройтись по округе, постучать в двери и спросить у людей, что они пережили, чтобы они вслух рассказали об этом. Ведь резня и

убийство тысячи человек не забываются? Не сомневаюсь, здесь моя «улыбка» не простой шрам, который ношу только я, это знак, он должен читаться издалека, как название племени. Может быть, их удастся найти всех в мечети. А потом мы сразу уедем. Да, так лучше, на ферму смотреть не пойдем, там ничего не осталось, времена года все стерли, лучше заглянем в мечеть, чтобы застать всех одновременно, уцелевших и их потомков.

Меня пошатывает, голова мутная, стучусь в дверь дома. Рядом со мной девочка затаила дыхание и приняла торжественный вид. Твой лунный лик, моя Гурия, на долю секунды вздумал накрыть ее лицо, словно маской, скользнуть на него, будто желая пощупать прочность земного мира. Девочка вопросительно на меня смотрит, потом произносит своим голоском: «Мима, это телевидение. Она приехала за нашей историей». И снова стучит в дверь. «Мима, открой. Это по поводу мяса. Это женщина».

4

Ночь, 20 июня, в сарае

Несчастный безумец связал нас здесь, потому что не знал, что делать с двумя непрошеными гостьями в его доме. Он все твердил, что не надо было ему ходить в деревню, а я не должна была копаться в его вещах. Что сам шейх это запретил. «Это секрет! Это секрет! Так брат сказал». На этот раз я тебя прошу не расстраиваться. Спи. Но ты не умрешь, моя Гурия, поскольку, по сути, и не жила. Ты ничего не потеряешь, кроме моей крови, она вытечет через канюлю или между бедер. В густой темноте вижу, как он чешет себе живот, словно блохастый, бьет себя по лицу. Пытается выпутаться из бреда, заполонившего его. Огромная голова, глаза печально опущены долу, будто ему стыдно.

Он пастух. Твердит это, словно сам себя убеждает. На нем старый спортивный костюм, видавшие виды ботинки и черная кепка. Вспоминаю таких же, как он, несчастных пастухов-одиночек, издали наблюдавших за нами с сестрой, будто следят за орлами. Смотрю на этого высокого худого боро-

датого мужчину с изможденным, вострым точно нож лицом и большими темными глазами с лихорадочным блеском в них. Его лицо отмечено каким-то проклятием. У него в руках нож. Снова.

Спи, сосчитай до тысячи, потом тысячу раз по тысяче. Сквозь дырявую крышу сарая ночь напоминает волосы, замотанные в яркий платок. Спи, моя девочка. Я пыталась выпутаться, но пастух умеет связать баранов. Мастерски. Тремя узлами на спине, а шея примотана к столбу, словно у меня есть рога.

5

20 июня, 17:00

После трех ударов внимательно наблюдающей упрямой девочки нам открыла пожилая женщина и недоверчиво осмотрела меня. Она бросила взгляд на дорогу и убедилась, что я одна. Из-за ее спины с любопытством выглядывали две другие женщины в платьях. Первая — маленькая, невзрачная. Вторая в хиджабе, вся в черном, взгляд жесткий, неотступный. Старая, морщинистая, худая, неловко покрыла голову, так прячут волосы при виде незнакомца. Давнишние татуировки меж бровей и на подбородке скрываются в сморщенной коже. Два рисунка напоминают иностранные буквы. За ней виднеется длинный коридор, выложенный черной и белой плиткой, освещенный узким лучом, проникающим со двора.

«Нам нечего сказать. Мы ждем мужчин, им решать», — роняет она властным голосом. Ждет моей реакции. Взгляд ее древний, точно гора, и никак к ней не подъехать. «Мима, это по поводу ослов. Она покажет нас по телевизору», — по-

вторяет девочка рядом со мной, теперь нежным голосом, чтобы ее переубедить, но все усилия тщетны.

Та, что мать двух других женщин, или свекровь, или тетя, стойко мне сопротивляется. С любопытством и подозрением время от времени косится на меня: на обтягивающие брюки, лицо, окаймленное густой шевелюрой, и, наконец, на канюлю. Ее пронизывающий, пристальный взгляд рыщет в овраге моей шеи. Я стою, неподвижная, как мумия, выбитая из колеи палящим солнцем и тенью отрезанной головы осла. Она прищуривается, словно меня узнает, но делает вид, что обозналась. Впрочем, по закону, она не может отказать мне в гостеприимстве. «Еще водички, бедняжка?» Две молодые женщины, подчиняясь ей, сохраняют молчание. Она поворачивается к первой и кивает ей подбородком. Та поспешно идет за стаканом воды. Вторая прислушивается, не двигаясь, будто готова поговорить со мной.

«Мужчинам решать, нам сказать тебе нечего. Когда они решат, приходи. Будем рады. Мы еще ничего не ставили в печь, ничего не готовили, пищу не принимали. Все в холодильнике. Слава Всевышнему!» Старуха продолжает с гордым ви-

дом. «Я просто не понимаю. Мои кости много чего испытали, но я ничего не почувствовала. То и другое мясо пахнет одинаково». Затем она замолкает, не зная, что добавить, и размышляя, не сболтнула ли чего лишнего. О чем она говорит, мой бескрылый ангелочек? Это место должно ответить на мои вопросы, а не подбрасывать новые. И вот я стою перед беззубой старухой, рассуждающей о запахе мяса, которая в нерешительности пялится на мою «улыбку» и тысячу наложенных швов. «Если им скажут „можно“, тогда приходи, моя девочка, гостьей будешь, — повторяет она. — Ты местная? Из семьи в Амми Муссе? На телевидении работаешь?» Я мотаю головой. «Пойди к мужчинам, если на телевидении работаешь, они там, наверху, у имама. Тебя проводит Рабха, моя внучка». Женщина за ее спиной, одетая в черное, возражает: «Дай ей войти, тетушка».

Внезапно до меня доносится треск громкоговорителя, словно кто-то кинул горсть щебня в лобовое стекло. «Можно мне в туалет?» — спрашиваю у старшей. Только этого не хватало нашему разговору: еще что-то, вторгающееся между паузами и откашливаниями. Мой утиный писк. Глаза старухи лезут на лоб и останавливаются на моей «улыбке». Она огорошена: «Ты местная?»

Остальные женщины наклоняются ближе, заинтригованные этой дуэлью реплик, напичканной загадками. Старшая угасает передо мной как свеча при свете дня. «Из какой ты семьи?» — ее голос дрожит. Зачем я ей ответила? Или это ты сказала? Мне кажется, ты украла мой внешний язык. Я использовала свою родную фамилию на разных удостоверениях, в анкетах, на улице, но никогда не проговаривала ее под лучами такого солнца. «Аджама».

Когда я выговорила фамилию голосом умирающей, выдыхая воздух, проходящий через канюлю, старуха захлопнула дверь перед моим носом. Было слышно, как она отчитывает других женщин и велит им быстро закрыть все окна. Я оказалась снаружи с пустым стаканом в руке, с роем вопросов. Из тумана меня вытащила чья-то рука, которую я нащупала: «Иди сюда, — предложила большеглазая девочка. — Можешь посидеть в кафе вон там. Это кафе „Мархаба“, единственное у нас».

6

Несколькими часами ранее

Вероятно, было около двух часов дня, когда Аисса остановился в Релизане. «Схожу помолюсь, потом загляну в туалет и принесу нам что-нибудь поесть». Он еще раз это взволнованно повторил, словно требовал подтверждений. Я кивнула. Он вышел из фургона, оставив меня с сотнями книг, переполняющими коробки. Когда он ушел, моя Гурия с прозрачной кожей, мы выскользнули. С тремя тысячами динаров и бутылкой воды. Нам было смешно и страшно оттого, что так тихо сбежали. Решили поискать на железнодорожном вокзале Релизана, где бы нам спрятаться. В праздник он в основном пустует, все кассы закрыты. Бывшая там семья, рассерженный отец, мать, с головы до ног вся в черном, и двое детей, наряженные точно на свадьбу, посмотрели на меня, но потом заскучали. Я была обычной бродяжкой в мужских сандалиях.

Пройдясь по просторному залу, усеянному пустыми упаковками и мусором, я подумала, что Аисса, наверное, вернулся и уже кинулся на по-

иск. Тогда мы обе схитрили, ты закрыла руками свой ротик, пока каллиграфически обозначенный лишь в сурах Корана, а я беспокоилась, как бы побыстрее добраться до переулка. Мы спрятались между рядами автобусов, пустых, как склепы. Кровавое пиршество, семейные посиделки и набивание живота еще не закончились. Мы ждали, готовые нырнуть под любую машину, чтобы не попасться на глаза Аиссе. Признаюсь, мне было неловко перед ним, но нужно было продолжить. Нам надлежало прибыть в Хад-Шекалу и показать тебе, что моя история подлинная, а твоя участь гурии в раю лучше, чем жить и страдать.

Аисса видел во мне особый знак и непререкаемое доказательство. Я упрекала себя в том, что лишила его победы, на которую он рассчитывал с конца гражданской войны. Я видела, как он искал меня на углу улицы, около вокзала Релизана, кричал среди белого дня «Об! Об! Где ты?». И это разрывало мне сердце. Я вспоминала два разных глаза, теперь они плакали оба. «Об! Об. Пожалуйста!» — жалобно умолял растерянный голос; он метался повсюду, крутясь на укороченной ноге, не сходя с места на большой площади напротив входа в здание. Держал в руках пакет с едой и напитками и размахивал парой женских санда-

лий. «Ради бога, вернись, ты мое единственное доказательство!» У вокзала он действительно напоминал несчастного обреченного безумца. Я слышала, как он рыдал и голосил, словно его лишили ноги, репутации или чуда. «Об? Об?» — продолжал он вопить, а мы, пригнувшись, тем временем быстро пробирались в тени больших автобусов на другой конец улицы.

Нелегальные такси, припаркованные вдали от полицейских, заманивали потенциальных клиентов. Никто не садился, и возбужденные водители ругались как на перемене в школьном дворе. «Амми Мусса? Амми Мусса?» — орал худой задыхающийся зазывала. Я подошла, не подымая на него глаз, открыла дверцу и села на заднее сиденье. Там уже расположились двое мужчин. Водитель, удивленный наглостью женщины, севшей рядом с мужчинами, подошел и потребовал, чтобы я пересела вперед. Спустя несколько минут мы отправились под голос чтеца Корана. Мы гнали по петляющей дороге между Релизаном и Амми Муссой в ритме аятов, водитель то и дело осуждающе вздыхал, показывая, что возмущен моей одеждой. Постоянно твердил: «Храни нас Господь!», посматривая на пассажиров в зеркало заднего вида, ища у них одобрения. Меня это не

волновало, я смотрела на скрывшиеся дома, на широкое бескрайнее поле с осликами на них, со сжатыми колосьями под головокружительным небом. С чего мне прятаться под паранджой?

Честно говоря, я была счастлива, даже горда собой, тем, что почти закончила путешествие. Ты хотела увидеть моими глазами, почувствовать моими руками, ты хотела сопоставить мою историю с местами, где я раньше жила, и мы были на верном пути.

7

Ночь 20 июня, в сарае

Приехав в Хад-Шекалу, я с бешено бьющимся сердцем заявила тебе, что наконец ты сможешь увидеть всех наших умерших и побеседовать с ними. Хотя меня мучила жажда и болели ступни израненных ног, я не переставала твердить: вот теперь она осознает мою правоту. Я надеялась в тот час, при ярком слепящем свете, что права. Собиралась представить тебя тысяче других тезок по имени Об, полумертвых, мне подобных, моих сестер, родственниц, уцелевших, битых или изнасилованных в этом месте двадцать один год назад. Они объяснят тебе, явившейся из Эдема, что не стоит рождаться на свет.

Когда я вышла из такси, то едва не закричала от радости, что оказалась абсолютно права. В ослепительном свете священного дня предстала нищая деревня с недостроенными, высохшими, грязными домишками, сложенными из того, что нанес вади до того, как пересохнуть. Лучшей иллюстрации к моей истории и не придумать. Оцинкованные листы крыш, два сломанных

стула, отслужившая параболическая антенна, подозрительно закрытые окна. Запустение, тишина и траур, освещенные летним солнцем. Я поверила в неоспоримое доказательство, в окончание нашей истории, ее счастливый конец, потому что ты собралась умереть. И это совсем не ошибка, а приемлемый итог для нас обеих. Прогуляемся по Хад-Шекале и вернемся в Оран. Одна из нас отправится обратно в необозримый рай Аллаха, будет там, с золотыми гребнями и прозрачной кожей, ждать правоверных и купаться в вине обнаженной. Вторая, полумертвая женщина, возвратится в свой мир, свой квартал в Оране, в свою парикмахерскую. Я в Хад-Шекале, почти в Мертвом краю, и все подтверждает, что я была права, когда повторяла, что тебе жить не стоит.

Видишь, моя Гурия, моя голубая рыбка, моя сардинка, ты находишься там, где все началось, связанная вместе со мной по рукам и ногам в этом заброшенном сарае, где звездной глухой ночью обессиленный отец пересчитывал своих баранов, попав в ловушку, оказавшись между военными и душегубами. Только ты, я, горы и тени предметов и воспоминаний: пара пастушьих сапог, кормушка для исчезнувших животных, стога сена и большие серые чаны.

Я не знала, как ужасно быть правой, моя Гурия.

8

20 июня, 17:30

«Их полно везде. А больше всего там наверху около мечети шейха. Рядом с его мясной лавкой. Эта лавка шейха называется „Эль-Халяль“. У нас кому-то шейх нравится, а кому-то нет». Девочка в платьице с зелеными и золотыми бабочками указала на вершину холма, по-прежнему скрытую за убогими домишками, которые вот-вот обрушатся друг на друга. Крыши из оцинкованных листов, придавленных большими камнями или старыми покрышками, чтобы не сдуло ветром зимой. Она показывает ручкой отрубленные ослиные головы, разбросанные по дороге. Теперь я замечаю их повсюду. Одни валяются в помойках, другие — под электрическими столбами, отброшенные от порогов домов. Следы крови ржавеют на пыльной земле.

Рабха (на внутреннем языке, моя Гурия, это означает «победительница») свистнула другим детям, худым и неугомонным. Они окружили меня как пчелиную матку. В тишине раковины вокруг деревни раздались крики. «Эль-Шуруб?

Эд-Дамар? Для какого канала? Тетенька, скажи». Самый старший из них, полноватый мальчишка, подался вперед и встал перед Рабхой, уступившей ему инициативу. «Всего их девятнадцать, увидите, если вы меня покажете по телевизору рядом с ними!» Мы приехали из Орана в поисках следов, но в этой неразговорчивой законопаченной деревне не было ни мужчин, ни женщин, а только босоногая детвора и головы с большими веками, раскиданные на моем пути, словно предзнаменования. «Мы еще ничего не ели. Никакого мяса после утренней молитвы», — сообщил толстый мальчик. Остальные с видом взрослых подтвердили его слова. «А наша семья живет там», — он показал на недостроенный домик из кирпичей. У чахлого куста стоял розовый мотоцикл, фасад второго этажа выходил на обрыв. «Мы думаем, что это халяль, есть можно. А другие говорят, что нельзя». Он повернулся ко мне спиной и указал на ряд домов справа от дороги. «С той стороны думают, что это харам. Они громко кричали сегодня утром во время молитвы вместе с имамом. Они отказываются есть. Ждем, что решит шейх». И он замолчал.

Вот тогда и следовало возвращаться, моя девочка. Я потерялась там, где хотела себя найти.

В моей голове постоянно звучал твой голос: «Ну и где же это? А твоя сестра? И тот головорез? А ферма, где ловят звезды в стакан воды? Где они все?» Если бы к моей истории и той, что связана с Мертвым краем, отнеслись со всем уважением, там не оказалось бы веселящихся детей, они не родились бы. Как можно было целоваться, сигналить по пути свадебного кортежа, исполнять музыку, плясать, трахаться и делать детей в этом изуродованном ущелье, где двадцать один год назад наспех похоронили в один день тысячу мертвецов? Можно ли по праву надеяться услышать свое имя из уст ребенка?

Я приехала сюда, чтобы ты увидела эту деревню, я словно выставила напоказ свою обнаженную кожу. И чтобы ты услышала стоны, ощутила шарящие руки, существование, которого нет. Под наполовину упавшим столбом — выдранное бетонное основание. Желтый пес спит в тени, поджидая, когда все разрушится из-за нехватки воды. Вдали виднеется трансформаторная будка с таинственной цифрой три ноля один, нарисованной желтой краской на розово-голубой стене, будто в насмешку над одноцветным окружением. Она дрожала, подобно умирающей осе. В тени сидел старик, казалось, он опять вспоминал

что-то смешное. Вместе с Рабхой мы его рассматривали. Затем он коснулся четок и зашевелил губами. Кто он? «Да так, Амми Энназ. Ничего не помнит, не надо его слушать и по телевизору показывать», — объяснил мотылек в платье с зелеными и золотыми рисунками, и голос девочки потерялся в гвалте сопровождающих меня детей. Они довели меня до определенного места. «Кафе там».

Надо было раньше сообразить, что моя идея безумна. По одному только косому лучу света следовало бы догадаться, что тогда в той деревне повсюду присутствовало какое-то неуловимое притворство. Местные жители должны были ежечасно повторять наизусть имена погибших, без устали свидетельствовать, их нужно было расспрашивать, осматривать, изучать как подлинную тайну истории Алжира. Содержать их как служащих памяти, чтобы они не замолкали. И что же я увидела? Смеющихся детей. Плаксивые ослиные головы. Разве эти люди не те, кто уцелел из двенадцати племен Уарсениса, зарезанных, убитых, растерзанных вместе со скотиной 31 декабря 1999 года? Разве не надлежало здесь воздвигнуть памятники, выбить их имена на всех камнях, стволах деревьев, кустарниках, если тут нет улиц

и площадей, чтобы переименовать в их честь? «Семья Аджама жила за кафе. Выше. Зайдешь в кафе?» Рабха шепнула что-то своим дружкам, и они захохотали. Дети напоминали блудливых стариков, пристающих к девушке, потерявшейся на дороге. «Это кафе для мужчин, — предупредил толстяк, величественно добавив: — Но ты ведь журналистка, можешь войти», — и обернулся к своему войску. Я направилась к бараку, обитому металлическими листами. Перед ним стояла деревянная скамейка, наверняка предназначенная для долгих оживленных посиделок. Я, прихрамывая, дошла до него, внутри у меня все окаменело.

9

«Это заговор Улед Кади. Они не любят шейха». Возмущенный голос вывел меня из оцепенения. Два юноши почти оскорбляли друг друга, страсти накалялись. «Это заговор. Хотят прикрыть его торговлю. И закрыть мясную лавку. Я вчера там отоварился и поел мяса, а Господь уж на небесах разберется». Где я? «Харам, нехорошо. Пророк утверждал: скотина, но не самка, она должна есть траву, и на ней нельзя ездить, точно говорю». Оба мужчины замолчали при моем появлении и уставились на меня. Их взгляды задержались на моих бедрах, по брюкам можно было все понять о моем теле. Губа обиженно приподнялась, я уловила нервный посыл, затем смущение и долгое сомнение. Кто она? Подбежали дети и старательно объяснили: «Она приехала, чтобы снять про нашу историю с мясом: халяль оно или харам». Два юноши у входа пытались разобраться в путаных детских словах. Один из них велел ребятам замолчать. «Журналистка?» И взглянул на мои мужские сандалии.

Терпеть уже не было сил, и я произнесла своим невероятным голосом: «Мне надо в туалет». По-

том повторила чуть громче. Я крикнула эту фразу на моем языке рыбы, выброшенной из воды, и он увидел канюлю на шее. «Туалет?» Его внезапно покоробило, словно от стыда. Второй, с будто обсыпанным мелом лицом и бородой, которую он поглаживал движениями дрессировщика, в сером камисе, возмутился: «Нельзя, тут кафе для мужчин. Семейного зала нет». В отчаянии я помотала головой, мне не хватало воздуха, мочевой пузырь грозил уничтожить остатки моего достоинства: «Пожалуйста, я из семьи Аджама, я путешествую». Невысокий бородач взвешивал этот аргумент в бескрайней вселенной своего Пророка, соотнося с собственными размышлениями, слухами, ночными сальными фантазиями, но так и не принял решения. «Это его кафе, не мое», — ответил он. Тогда, моя Гурия, не выдержав, я осмелилась на невозможное. Принялась расстегивать джинсы, присматривая угол стены. «Аллах Снисходительный!» Храни нас Господь! «Иди! Там, слева, прямо за прилавком», — рявкнул бородатый, отвернувшись.

10

Дети ждали меня снаружи, я попросила воды, но за нее отказались брать деньги. Пластиковая теплая бутылка. Еще попросила кофе; молодой человек, видимо хозяин, жестом предложил мне сесть на улице. «Это кафе для мужчин», — повторил он, глядя в пол. Я села на скамейку. Чувствовала себя подозрительно свободно, облегчившись физически.

Вдалеке раздалось долгое потрескивание, потом «Басмала» и молитва о Пророке, произнесенная чьим-то красивым, сердечным, волнующим голосом. Я не улавливала глухих, чужих моему уху слов. «Тогда нет, братья мои, я…» Казалось, эти разрозненные слова не касаются темы разговора, начало которого я пропустила. Удивительно чувственный голос произносил суру Корана и разливался как родная теплая кровь. «Не будем следовать фитне. Фитна — хуже убийства, предупреждал наш Пророк, да пребудут мир и благословения Аллаха с ним!» Приветственный гул толпы разнесся далеким эхом. Я представила понурые головы и опущенные покорные руки. Затем голос затянул долгий рассказ, украшенный

жалобными сурами Корана. Пока я старалась найти смысл в свете того летнего дня, пламенный голос резко оборвался под длинные потрескивания. Громкоговоритель умолк. До меня долетали только короткие обрывки: «Аллах говорил, что жертвоприношение должно…», «Позор тем, кто…». Невнятное бурчание и свист положили конец этой загадке.

Два свидетеля моей участи бродячей женщины, стоявшие на пороге кафе, на время завороженные громкоговорителем, продолжили беседу, где перемежались неясные аргументы. «Те, кто не согласен, пусть сюда не приходят. Мы за халяль. Будем есть то, что ел Пророк, да пребудут мир и благословения Аллаха с ним!» Так считал невысокий бородач с толстыми щеками, тюбетейкой на голове и глазами, просветленными от окончательного решения. Такой тип людей, моя девочка, из того места, где рядом с Меккой водрузили истину в виде черного камня. «Съедим, и все. Грех падет на тех, кто затеял эту неразбериху, а не на нас. Что прикажешь мне делать? В помойку все выкинуть? Представляешь, во что мне это обошлось? А дети мои? Что я им скажу?» — возражал тот, кого я считала хозяином кафе. Последовавшее молчание обозначило несогла-

сие и нежелание продолжать спор, чтобы он не перерос в ссору.

Я поднялась и дала понять приставучим детям, что хочу поговорить с шейхом, чей голос вызвал во мне растущее искушение. Рабха, прилепившаяся ко мне, как смола к дереву, не спускала с меня глаз. Она объяснила, куда идти: «Я тебя отведу, а ты покажешь меня по телевизору!» Молодые люди из кафе с удивлением и любопытством обернулись в мою сторону, но комментариев не последовало, они и так были счастливы отделаться от меня — воплощения позора. «Шейх из мечети? Ты его снимешь?» — спрашивала Рабха, самоуверенно рассматривая мою канюлю. Я кивнула. Она шла впереди, а ее приятели — за мной.

И в ту минуту старый Энназ, по-прежнему сидевший в тени трансформаторной будки, обслуживавшей Хад-Шекалу, расхохотался. Я почти содрогнулась от его хриплого, резкого смеха, жестокой насмешки.

11

«Не ходи туда наверх, моя девочка! — предупредил меня старик Энназ. — Они здесь все сумасшедшие, и все врут, с чужими фамилиями, они обокрали мертвых, украли их свидетельства о рождении, клянусь!» — заклинал он, размахивая руками и стуча по своей голове. Его глаза сверкали. Я увидела, как он направился ко мне, ковыляя по крутой дороге под гогот детей, и ткнул в меня узловатым пальцем. «Ты журналистка? Покажешь его по телевизору? Что собираешься показывать? Ослов, жрущих ослов?» — он прыснул от смеха. Ребята вопили: «Энназ по телику! Энназ по телику!» Слова путались, разлетались в этом спектакле теней и огня.

Хитрый старик продолжал: «Увидишь, моя девочка, ослы съели ослов вместо баранов в день Ид аль-Адха. Никто здесь не откликается на свое настоящее имя, несчастная чужестранка! Они все врут, они украли имена у мертвецов, все врут, моя девочка! Давай, расскажи об этом по телевизору. Мы тут съели наших мертвецов!» Опустив голову, я снова принялась карабкаться по единственной дороге. Я сердилась, злилась, ме-

ня словно голой привели обратно к матери после постыдного бегства. Чувствовала себя странным образом униженной. А потом увидела ее. Тень. Женщину в черном, полностью закрытую паранджой, шедшую ко мне. «Сестра моя, сестра моя, вернись, — говорила она. — Я все тебе расскажу. Пойдем к нам в дом. Тетя согласна».

12

«Меня зовут Хамра. Можешь вспомнить ради меня?»

Эту женщину в черной парандже я видела недавно за дверью первого дома, когда старуха с татуировкой дала мне попить. Женщина в паранджа с настойчивым взглядом. И вот мы в гостиной в ярких цветах и золоте, украшенной как для праздничной церемонии. Меня торжественно туда провели, и три женщины ждали, что я оценю ткани и мебель. Я оценила. Красная ткань, позолота, большая картина со сверкающим именем Аллаха посередине. Рядом с кушеткой — пластмассовый горшок с цветами, большой ковер, лежащий на полу шерстяным животом. На меня глядят пристально. Особенно тревожно смотрит старуха, словно делая усилие над собой. Она нарочито вздыхает. Две другие сидят не шелохнувшись, следят за моей позой и тем, на что я смотрю прежде всего. В обстановке алжирского дома есть определенный протокол, моя девочка, явившаяся из рая, самого большого гарема вселенной.

«Меня зовут Хамра. Это я хотела с тобой пого-

ворить». Смирившаяся старая женщина ерзает, волнуясь. Рабха, маленькая девочка, золотистый мотылек, которая сюда меня привела, сидит рядом со мной на той же скамейке. Ее большие ясные глаза улыбаются. Она восклицает: «А я однажды ездила на море!» Я заговорщицки ей подмигиваю. Дневная жара еще не спала, в окно на фоне неба видны ветви крепкого оливкового дерева.

«Что тут поделаешь, моя девочка? Так Господь повелел. Мы в Его власти, — бубнит самая старшая, оправдывая изменившееся отношение ко мне. — Так уж Господь решил», — добавляет она, ее голос рожден воспоминанием, которое она приберегла только для себя. Того же, что постепенно проявляется в глазах женщины, захотевшей поговорить со мной, как только она увидела меня на пороге их дома. «Меня назвали Хамра, потому что у меня рыжие волосы. Вот уже двадцать лет, как я живу у тети, но стоит поторопиться. Через пару часов вернутся мужчины. Они примут решение. В общем, я все тебе расскажу, сестра. А ты уж решай, говорить об этом по телевизору или нет».

Хамра пододвигает ко мне тарелку с домашней выпечкой, прерывая наше веселое перемигива-

ние с золотисто-зеленым мотыльком. «Забвение — и божественная милость, и человеческая несправедливость. Видимо, тебе нужно тоже смириться, сестра. Так будет лучше и для тебя, и твоих детей». На улице, за закрытыми окнами, мир словно погас. Ничего не слышно. Кажется, даже детская свита разбежалась. Три женщины разглядывают меня, словно ждут какой-то ответ. Прожорливая тишина поглотила мои слова.

13

«Прежде всего должна тебе сказать, сестра, что тетя Фатиха мне как мать. Даже больше. Она не вскормила меня, но дала мне все остальное. В этом доме я ни в чем не нуждаюсь: ни в хлебе, ни в защите, ни в достоинстве. Я здесь как в раю. Потому что пришла из ада. Он за дверью. Отметь это для телевидения. И я готова сказать это перед камерой: здесь рай; я никогда не выхожу на улицу и ни с кем не говорю. Не общаюсь ни с женщинами, ни с мужчинами. Таково условие моего дяди, если я хотела остаться в Хад-Шекале. И моей тети. И их сына, отца Рабхи. Тетя, вот она, и Господь тоже мне свидетель (старая женщина, сидящая напротив меня, опускает глаза долу в знак того, что выражает свое согласие со сказанным всей душой и телом). Я тебе это рассказываю, сестра, чтобы ты передала по телевизору.

Мы тут страдаем: у меня ничего не осталось, кроме дочки, которую ты скоро увидишь, семьи и оливкового дерева во дворе. В нашей стране женщины вроде меня не понимают, как распорядиться своей проклятой жизнью. Мы вкусили жизнь, познали смерть, забвение, паранджу, мол-

чание, но ничего не подходит, чтобы завершить нашу историю. Господь свидетель, я пыталась. И что мне делать? Я просила милостыню на пороге мечети, на рынках, продавала хлеб на обочине дороги около Релизана, рыдала в учреждениях, чтобы получить жалкие гроши. Однако ничего не изменилось, сестра: я по-прежнему в своем статусе: я террористка, Ирхабия. Они произносят это слово с презрением, корчат рожи и гонят меня как собаку. Именно поэтому при входе в мечеть я прячу лицо под паранджой, похожей на саван. Я боюсь, что меня узнают и вызовут полицию.

Когда несколько лет назад меня выпустили из тюрьмы, я месяцами скиталась по улицам, вот так, сестра. Просила милостыню в Амми Муссе, в Рамке, в Релизане, в Джидуйе, повсюду. Пока моя тетя и ее муж не приютили меня и не предложили мне кров. Она похожа на мою мать, Халти Фатиху. А он, Амми, — на отца, но он все время твердит, чтобы я никуда не выходила. И никогда не показывалась. Мне надо избегать взглядов, солнца и недовольства. Хад-Шекала слишком мала, чтобы понять. Здесь, сестра, люди хотят забыть, а не помнить. В сущности, моя жизнь не изменилась: раньше я жила у моджахедов в пещере, и теперь я в пещере, но вместе с дочкой и ем досыта. Не-

довольство разжигается дьяволом, но я в это не верю. Здесь я в раю. Я согласилась. Уж лучше, чем в холоде на улице под взглядами мужиков. И для меня лучше, и для дочки. Пей кофе, сестра, моя история короткая, мужчины вернутся, как только решат вопрос о мясе с имамом. Мы ничего не готовили, и мы не можем пригласить тебя за стол, пока не принято решение».

К нам присоединилась девушка. Тонкая талия, стройная как кипарис, такая же гордая, рыжие волосы уложены в пучок, нежный взгляд. Я заметила ее смущение, в ней, видимо, что-то разбилось, подобно тому, как после позора остается его тень. Она поставила передо мной чашку кофе и обняла мать за плечо, как маленькая пятилетняя девочка. Ей лет двадцать, может, чуть больше. Моего возраста. Безгласное зеркальное отражение, моя Гурия, молчаливее моего внутреннего языка, ни слова с тех пор, как мы оказались в этой бесшумной деревне. Она скользнула по мне взглядом, погруженная в себя, в яму, известную только ей, в русло ее собственного вади. Чуть позже она принесла тарелку с арбузом, разрезанным на мелкие кусочки, и тоже поставила передо мной.

Хамра продолжила: «Меня зовут Хамра. Запомнила? Ешь, ты наша гостья. Это с нашего поля.

Мясом угостить не можем. Пока нет решения». Маленький золотисто-зеленый мотылек меня разглядывает. Девочка надеется дождаться окончания нашей беседы и взять меня за руку. Или тебя с моей помощью.

14

«Было трудно: я не знала, что делать с моим телом, лицом и рыжими волосами. На несколько месяцев придумала себе другое имя: чтобы просить милостыню; назвалась Ганией, на шее висела табличка с аятами из Корана, а на руках лежала дочка. Я бродила по деревням и дуарам Уэд-Риу, недалеко отсюда, ты, наверное, проезжала мимо. Я стонала, как остальные нищенки на вокзалах, и твердила аяты Корана ради еды. Иногда убирала в кафе и забегаловках по дороге в Алжир; продавала всякую мелочь на рынках: конфеты, расчески, браслеты для девочек; но с каждым восходом солнца меня настигала моя тень: меня узнавали или выдавали. Я была террористкой, Ирхабия. Сначала произносили шепотом, потом показывали пальцем и выгоняли. Я не могла возразить, если какая-нибудь семья отказывалась заплатить за мытье полов и вытирание пыли, притом что я работала несколько дней. А что тут сказать? Кому пожаловаться? Достаточно звонка в полицию или запроса досье обо мне, и станет известно, что я приговаривалась к тюремному заключению как террористка

и участница в преступном заговоре против погибших военных.

Хочу тебе сказать, сестра, что у мужчин по-другому. Когда они спустились с гор после закона о примирении, их встретили финиками, молоком и пособиями; но таких вдов, как я, оставили жить в кромешной тьме, нас не вывели на свет божий. Женщины-террористки по-прежнему умирают с голода в горах, прячутся в пещерах и под паранджой. Мы — позор той войны. Террористы-мужчины лишили нас девственности, чести, молодости, а когда вышли из лесов, то отобрали наше занятие и возможность прощения. Они превратились в „поваров“. Ты же видела, какими они стали: чистенькими, улыбчивыми, лощеными; они могут разгуливать по улицам, спорить о том, можно ли есть осла или барана. А мы, женщины? Мы пожизненные, вечные террористки. Они не желают ни закопать нас, ни достать из-под земли.

Кто доверит мне присматривать за детьми за деньги, а, сестра? Кто пустит меня в свой дом для уборки? Кто наймет меня на фабрику игрушек в Релизане? Моя жизнь стала невыносимой, я желала смерти, после того как избежала ее у моджахедов. Однако Господь закрывает одну дверь,

чтобы открыть еще десять. И однажды, хотя я сгорала от стыда, я решила постучаться в дверь этого дома в Хад-Шекале. Тетя узнала меня и впустила; потом она плакала много дней, пытаясь связать прошлое и настоящее. Она восстановила для себя мое имя. Меня зовут Хамра. Дядя колебался, но, будучи человеком старой закалки, дал мне защиту. Мне нельзя показываться на люди, и здесь, в Хад-Шекале, все женщины называют меня тенью.

Почему государство платит мужчинам-террористам и не хочет нас признать? Вот уже много лет я жду ответа, сестра. Если я выступлю перед камерами, может, дядя выгонит нас с дочерью, а может, ничего не скажет, но я хочу, чтобы мне объяснили, кто я в такой ситуации. Я больше ни в чем не уверена, у меня есть только оливковое дерево, имя и дочкины глаза, в которые я тихо погружаюсь. Остальное исчезло в пепле. Могу же я рассказать об этом на телевидении, чтобы хоть что-то сдвинулось с мертвой точки? Если ты журналистка и собираешься меня снимать, я надену никаб, пусть видны будут только мои глаза, но расскажу все. Договорились?»

«Договорились», — соглашается непонятно кто. Пожилая особа прислушивается. Время от

времени она похрустывает костяшками пальцев, почти как моя мама Хадиджа. Я по-прежнему пребываю во сне и в нем проникаю в сон кого-то другого, а мои следы стирают пальмовой веткой.

«Когда обнародовали закон о забвении, все радовались, кроме таких женщин, как я. Нас просто задвинули. Ты это четко скажи по телевизору: мы не получили ничего. Не можем работать, получать пенсию, выходить замуж, разводиться, где-то жить, путешествовать — у нас нет документов. Видишь мою дочку? Она не знает, кто она, поскольку не знает, кто я, не понимает, правдивая моя история или нет. Когда она шагает по песку, то не оставляет следов. В школе ее спросили о документах и об отце, ей пришлось вернуться в слезах. Ее существование могут засвидетельствовать только я и моя тетя. Храни ее Господь. У нее нет фамилии, только имя. У меня, террористки, тень — это мое прошлое, а ее тень — это я, ее мать. Наверное, мне надо было умереть и таким образом дать ей жизнь, а не навлечь позор, однако пути Господни неисповедимы. Я, террористка, которой нет прощения, прошу лишь об одном: либо все забыть, либо вспомнить все. Кромешная ночь либо яркое солнце. Хочу, чтобы о нас забыли раз и навсегда либо восстановили в памяти

все целиком. Чтобы сказали обо всем при свете божьего дня, во всеуслышание, перед камерами, в громкоговоритель мечети самого шейха. Раз и навсегда. Потому что в законе о забвении нас забыли; да, я террористка, но расскажу тебе, как ею стала, а ты все записывай. И если вернешься завтра, сними меня. Не уверена, что представится другой случай. Так что хотя бы возьми мою историю с собой в Алжир».

15

«Перед нашим домом в Айн-Тареке росло оливковое дерево. По ночам оно сверкало, клянусь, сестра, листья светились. Айн-Тарек отсюда в нескольких километрах. Я была чуть моложе моей дочери, храни ее Господь и да продлит ее жизнь остатком моих дней. Оливу я помню. Можешь поехать и снять ее, она свидетель. Ее посадил наш сосед Милуд, когда мы были маленькими, мы вместе с ним ее поливали и давали ей имена, радовавшие наши души. У жителей нашей деревни были кошки, собаки, бараны, а у нас — олива.

У Милуда были черные красивые миндалевидные глаза, как у индийского киноактера. Он был темноволосым, а когда смеялся, все вокруг дрожало и обновлялось. С пяти лет, после школы, мы всегда останавливались у этого дерева. Когда это случилось, мне почти исполнилось восемнадцать. Милуд вырос вместе с оливой, но я видела его потом только издалека, Бог — свидетель моей добродетели. Я боялась отца, упокой Господь его душу, а с тех пор, как кровь потекла у меня между ног и огонь моих рыжих волос стал притягивать

мужчин, мать следила за мной, как за молоком на плите. Мне не стыдно об этом сказать, ведь вот уже двадцать лет я молчу и прячу волосы. Мама караулила, но Милуд не подходил ко мне, только улыбался издали, оставлял леденцы и коробки шоколадных конфет около нашей двери. Он покупал цветные ленты и раздавал школьницам, чтобы те мне их приносили, поскольку выходить мне запрещалось. Я единственная дочь, и отец боялся всего, даже прикосновений солнца к моей коже. Впрочем, отец, мать и все в Айн-Тареке понимали, что дело идет к свадьбе.

У Милуда было два трактора, он сдавал их в аренду во время полевых работ, его дом стоял в двух переулках от нас: он жил с матерью и двумя младшими братьями, они тоже мне улыбались издали. Милуд смотрел на меня, словно на луну. Иногда я кивала ему из окна, случалось, показывала волосы, а бывало, наблюдала за ним издалека, как за утренней зарей; так проходит время для девушки, будто слишком медленно текущая река. Однако все знали, что эта история не перечит законам Всевышнего, имаму, Корану и моим родителям. Мы собирались пожениться. Олива росла и внушала нам надежду. Олива — дерево особое, вечнозеленое, листьев не

сбрасывает. Устойчиво к холоду и жаре, всегда зеленое. Тогда я в нее поверила, а сегодня она сможет свидетельствовать перед камерами.

Мы не знали ничего о том, что происходило вокруг, и ничего о войне. В Айн-Тареке, как и везде, смотрели телевизор. Все происходило в нем: убивали кого-то, кто-то убивал, другие рассказывали. Но вне телевизора небо не менялось, у нас в Айн-Тареке все было по-прежнему.

Когда они появились, мы их не заметили. В первый раз они пришли после полудня в пятницу. Нас с мамой удивил грубый голос, раздавшийся из громкоговорителя. Обычно оттуда проповедовал имам Хадж Лахдар, старый шейх, женивший и хоронивший под прекрасные божественные аяты, но в ту пятницу все пошло не так. Помню, настала осень, начало учебного года, мимо нашего дома в школу шли маленькие девочки. Красивые, с цветастыми бантами в волосах и розовыми фартучками, их шаги эхом отзывались в моем животе, словно я была их мамой, Господь мне свидетель, сестра. Дело было во вторую пятницу после начала учебного года. Школа находилась через две улицы за оливой, а кафе для мужчин слева от оливы через семь улиц, а дорога к Амми Муссе — через десять улиц справа

от оливы. Олива как пуповина дочери в моем животе. Она указывала, где небо и земля, улицы и переулки, ночь, день, провожала незнакомцев, оказавшихся в Айн-Тареке. Сама у нее спросишь. Вопившие люди с гор поведали о разгневанном Боге, мужчинах, законах и чести. Мы поняли, чего они хотят: чтобы женщины больше не ступали по улицам, разве что следуя за мужчиной, который ее сопровождает.

Потом террористы возвращались каждый день. Мы быстро поняли, что это головорезы, вышедшие из телевизора и спустившиеся к нам. Они установили множество правил: женщины на улице не показываются; через неделю они закрыли школу, еще через неделю мэрию, затем все остальное. Все жители молчали. Горы Уарсениса стояли слишком близко, и у них имелись уши, распознававшие даже разговоры по душам. Милуд часами охранял наш дом, поскольку мужчины боялись за нас — женщин, девственниц, девушек. Как чувствовали. Отец почти не спал, слонялся туда-сюда по двору. В глазах матери читался ужас. Дьявол не давал нам ни заснуть, ни окончательно проснуться. Так мы и болтались между небом и землей, меж временами года как тревожные тени, все стало серым. Кроме оливы.

В перерыве между работой по дому и сном я наблюдала за оливой и ее серебристыми листочками. Милуд привязывал к веткам тряпочки, платки, рисовал на стволе и выдергивал у ствола сорняки. Он прислонялся к забору и часами курил. Всматривался в мое окно, мои глаза, в рыжие волосы, воображал меня, я же появлялась на пару минут. Раньше такая игра казалась смешной, но теперь, в окружении террористов, его лицо выражало совсем другое: он тоже боялся. Оба его брата исчезли, ходили слухи, что они присоединились к моджахедам. Я не понимала почему. Видимо, из-за того, что вокруг нас горы над головой, тишина и громкоговорители мечети, по ночам передававшие гневные проповеди. Террористы спускались к нам каждую пятницу, беседовали в мечети, ели, а потом уходили. Вначале они насыщались как гости, потом как мужья, затем как государство, а после стали отбирать продукты. Наши семьи кормили их по очереди. Но я видела, что Милуд этого не одобряет. В его взгляде таились тысячи слов; он ничего не говорил, устало приветствовал меня, курил, размышлял, и так от рассвета до заката. Два его трактора работали редко, поскольку феллахи работали мало.

Все знали, что в один прекрасный день люди

с гор попросят кое-что другое. Никто об этом не говорил, даже мы, женщины, но все знали. И вот как-то раз Милуд решился заговорить. Он пошел к жандармам в Амми Муссу и все рассказал. А люди с гор об этом узнали, потому что у нас горы слушают внимательнее свах и старух.

Меня зовут Хамра, запиши все как следует, мой рассказ, как я стала террористкой, которой не заплатили и которую не простили.

В следующую пятницу в полдень я открыла окно. Обычно в этот час, пока мужчины молились, Милуд прислонялся к оливе. Каждый день он приходил туда и объяснялся жестами. Мы часто смеялись, беседовали без слов, только шевеля губами; о чем знали все у нас, но это считалось „халяльной“ историей. В тот день я распахнула окно. Милуд стоял там, около оливы, как и в прошлые годы.

Он не улыбался, сестра, глаза были закрыты, лицо скривилось. Покрыт чем-то красным, как цвет моих волос. Ему перерезали горло и повесили на оливе.

Пометь это, сестра, в тот день я, Хамра, дочь Уледа Тарека из Айн-Тарека, выходила замуж. Милуд был в неизвестной мне одежде. Наверное, террористы переодели его в свадебный костюм.

По белой рубашке текла кровь, язык высунут, словно он дразнил маленьких школьниц, кожа посерела. Олива оставалась зеленой. Люди с гор зарезали его не до конца, а потом вздернули.

В тот же вечер я превратилась в террористку. Меня сопроводили, будто свадебным кортежем, до моей новой обители. Мне совсем недавно исполнилось восемнадцать. Процессия была немногочисленной, только вооруженные мужчины, никто радостно не улюлюкал. Впервые я увидела связанного отца на коленях, он плакал. Мать каталась по земле, кричала, ее били ногами, она рвала на себе волосы, теряя разум.

Не плачь, тетя, не плачь, это было давно. Никто не должен плакать, ведь я террористка.

Итак, нас увели. Шесть девственниц. Шесть юных дев, от четырнадцати до восемнадцати. Я выглядела привлекательнее всех, с копной волос, ниспадающих до бедер и обжигающих глаза мужчин, моей смуглой кожей и репутацией счастливой женщины. Нам надели на голову мешок и отправили свататься в горы. Мать проклинала Бога, да простит ее Господь, отец молча рыдал, стоя на коленях и со связанными за спиной руками. Спустя два года я узнала, что он умер не от пули в сердце, не от ножа, не от потери

крови, не от чего. Когда меня увели, он просто упал и умер. Мать лишилась рассудка и умерла несколькими месяцами позже, выкрикивая мое настоящее имя и швыряя камнями в горы, но они ей так и не ответили.

Меня зовут Хамра, теперь ты знаешь».

Я кивнула в знак согласия.

Девочка сидит рядом со мной и держит меня за руку.

«Не счесть, сколько часов мы ехали. Мотало из стороны в сторону, слева направо, вверх-вниз. В какой-то момент мы оказались на самой горе, с нас сняли мешки, и мы зарыдали, все шесть девственниц из Айн-Тарека. Мы причитали, а будущие мужья хохотали и били нас. Потом дорога кончилась, и дальше мы часами шли пешком. Вокруг ни души — ни людей, ни животных. Дорога безлюдная, словно путь на казнь. Было пасмурно, но вдруг прояснилось, и мы очутились наверху, на какой-то поляне. В скалах виднелись углубления, прикрытые оцинкованным железом и брезентом. Люди из леса жили прямо на земле, там же ставили примусы. Всякого добра хватало, посуды, кухонной утвари, но все было грязным. Земля повсюду, даже во рту во время еды. На

запачканной одежде. Так мы прожили два года. Об этом тоже можешь сказать.

В первый день мы только стояли со связанными руками в ожидании дальнейшего. Две крупные женщины-великанши подошли и объяснили правила нашей новой жизни. „Здесь все по закону Всевышнего! — заорали они. — Сегодня вечером вы вымоетесь, наденете белые платья, накраситесь и наконец станете женщинами, супругами“. Они были одеты, как мужчины, в камуфляжную форму и носили оружие. Самая молодая из нас осмелилась им угрожать. „Придут наши мужчины и вам покажут!“ — крикнула она сквозь слезы. Тогда две охранницы вытащили ее на середину поляны и привязали к стволу дерева на глазах мужчин, сперва проявивших любопытство, затем решивших устроить развлечение. Они хлестали ее до тех пор, пока все тело не залила кровь, а изо рта уже не могли раздаться ни слова, ни стоны. Только кровь. Она больше не сказала ни слова, а нас колотило, и на следующий день умерла.

Пять девственниц дрожали от холода. Их всех затолкали в пещеру и велели подготовиться к вечеру. Три пещеры предназначались для разных нужд: в первой хранились продукты, во второй — оружие, в третьей рожали женщины.

Там на матрасах, сваленных прямо на землю, лежали девушки и плакали младенцы. Меня встретила какая-то старуха. У нее был странный, печальный, отрешенный вид, словно она уже шагнула в мир иной. Когда я задала ей вопрос, она ответила: „Девочка моя, что я могу поделать? Посмотри на этих девушек, они все беременные и будут рожать здесь. А я им помогаю во имя Всевышнего. Господь призвал меня помогать этим бедняжкам“. При виде лежащих женщин я зарыдала: такие молоденькие! Некоторым тринадцать-четырнадцать лет. „Мамочка, что они со мной тут сделают?“ — твердила я, обнимая утешавшую меня старуху. „Что ты хочешь, моя девочка? Такова наша судьба. Они наверняка тебя выдадут замуж. Ты такая красивая! Такие длинные, мягкие, блестящие волосы!“ Я от нее отстранилась. „Ая смогу отсюда сбежать?“ Она понурилась: „Если можно было бы отсюда сбежать, эти девочки давно бы это сделали“. Мы обе замолчали. Ветер качал деревья, небо темнело к ночи. Беги сто лет, все равно не добежишь до конца их огромных теней.

В сумерках пришли мужчины, наглые, разозленные. Их было много. Я увидела их ружья, наручники; кинжалы на поясе и тяжеленные

армейские ботинки. Они обитали в отдельных хижинах, а женщины были распределены на две группы: с одной стороны девственницы, с другой — женщины с огромными животами или с новорожденными. „Войско Аллаха должно быть многочисленным, требуется много солдат“, — объяснили охранницы. Еще уточнили, что мы обязаны нравиться мужчинам, воюющим во славу Всевышнего, готовить еду и рожать. Мы не должны были повышать голос, вот так, сестра. Никогда не кричать, не плакать, не болтать. В тот вечер я в последний раз вспомнила о себе и своем имени. Меня зовут Хамра, но я его выплакала.

Иногда, сестра, забвение — милость Аллаха.

В последующие дни нам дали новые имена, более современные, как у красоток на телевидении. Охранницы принесли нам белые платья, косметику, духи, заставили вымыться. Поздним вечером во время молитвы Иши мы надушились, и нас выстроили на поляне. Наступила ночь, большие деревья смотрели на нас точно джинны, был день нашей свадьбы, я ждала его с пяти лет. Но понимала: вспомню оливу, Милуда, мать или отца — сойду с ума; и решила забыть их.

И я сказала воспоминаниям о моей прошлой жизни: „Уходите. Вон из моей головы, меня боль-

ше не зовут Хамра“. И они исчезли.

Эмир группы увидел мои волосы и указал на меня пальцем. Нас поженили насильно. Все вокруг пахло готовкой, изысканными блюдами, даже пирожные принесли. Помню, что женщины пели, убаюкивая младенцев.

Два года меня называли Гурией. Моему супругу, командиру группы, было больше пятидесяти. Других четырех девственниц тоже выдали замуж. Достаточно было произнести: „Выдается замуж такая-то“. Затем каждая из нас отправлялась в свою хижину. На следующий день мужчины спускались в деревни у подножия горы, убивали и резали, возвращались с деньгами, едой, одеждой и духами.

Мне дали другое имя, это уже была не я. То же самое произошло с другими девственницами. Так мы прожили два года, сестра. Я забеременела, живот начал пухнуть, стал огромным, словно собирался меня поглотить! И в один прекрасный день я родила. Мальчика. Я кричала, плакала, думала об отце, не хотела этого бедного ребенка. Он открыл глаза, посмотрел на меня, а я отвернулась к небу, не желая его кормить. Он пахнул своим отцом, командиром, воплощением закона Всевышнего.

Одна из девственниц не выжила, потому что плюнула в воина Аллаха. Вечером, сестра, нас вывели из хижин вместе со старейшими женщинами и показали девушку из нашей деревни, перед тем как ее зарезать. По приказу Эмира, моего мужа, ее голову повернули на запад, а он ночью, чтобы заснуть, вдыхал запах моих длинных рыжих волос.

И вот однажды военные пришли зачищать окрестности, и мой супруг был убит. Когда я узнала о его смерти, то вздохнула с облегчением, сестра, но сдержалась, поскольку никогда нельзя было показывать свою радость. Муж умер, но через неделю меня снова выдали замуж. По закону гор. Там наверху небо внимало высоким деревьям, но не нам. Мы готовили, мылись, красились и ждали возвращения мужчин. Бежать? Невозможно: охранницы и сторожа смотрели в оба. И куда? Я сразу забеременела, а куда пойдешь с животом, который больше тебя? И, затаившись в серых зарослях, мы выжидали. Глядели на небо, стирали белье, подметали. Ничего нельзя было поделать. Даже Господь не забирался так высоко в горы. Мы молчали, нам дозволялось только тихо шептать, и, сменив имена, мы забыли о том, что такое язык, крики, звуки.

Мы проживали один и тот же повторяющийся день, перемещаясь между тремя пещерами, хижинами и деревьями. Куда деться, сестра? Как понять, где верх, где низ, где право и лево? Мы ощущали себя потерянными, окруженными, мы должны были молчать. Девственницам перерезали горло просто за крик, поверь мне, сестра. Вместо них появлялись другие. Им давали имена убитых. Их одежду. Их духи. Никто не понимал, кто была предыдущая, а кто теперь смотрелся в зеркало. Конечно, Всевышний даровал нам забвение. И с каждым днем я исчезала все больше. Как я могла вернуться мысленно к Милуду и его свадебному костюму, отцу с опущенным взглядом, к рыдающей матери и даже небу, которое было глухо? Как? Да, Господь даровал забвение в качестве милости, вот так, сестра.

Там не было ничего. Кроме костра, духов, готовки, моего младенца с бегающими глазками, который вскоре умер. Как и мой второй муж. В одну из пятниц он не вернулся обратно. Меня оставили в покое, поскольку я была в положении. Мужчины решили дождаться родов, а уж потом предлагать меня третьему воину Бога. Я потеряла свое имя, и все происходило точно во сне, сестра. Мой живот надулся, отяжелел, я стала грузной.

Часто сидела под гигантскими деревьями, не двигаясь.

Это меня и спасло.

Потому что, именно ничего не делая, я обнаружила, что уже несколько месяцев нам давали какие-то таблетки. Я увидела своими глазами, как их измельчают и добавляют в воду охранницы; тогда до меня дошло, почему я все забыла. Всевышний открыл мне глаза, посмотрел на меня и решил, что мне нужно все вспомнить. Я прекратила есть и пить. Меня все время рвало, я пеняла на свой живот, мужчины перешептывались с охранницами за моей спиной: моя жизнь, сестра, была поставлена на карту, в любой момент меня могли прирезать. Там жизнь напоминала паутинку. Полагаю, они решили держать меня поодаль: я постарела, ходила с большим животом, и меня повсюду выворачивало. И Господь даровал мне посланника.

Сперва он выглядел неказистым: грязный невысокий мужчина с темными волосами, со связанными за спиной руками. Он никогда не жаловался, когда его били и угрожали оторвать клещами пальцы. „Сделай, и мы тебя отпустим!“ — твердили они, тот молчал, а они снова его били. Вечером кормили его, он ел, порой поглядывая

на меня. Его послал сам Всевышний.

Он прочитал это по моим взглядам. Позже стал делать мне знаки, как Милуд, улыбался одними глазами, как Милуд, и тот снова возникал в моем сознании, потому что я больше не глотала почти ничего вместе с их голубыми таблетками. И пленник знал это. А я понимала, что ему все известно. Мы смотрели друг на друга: я — со своим животом, он — со своими тайными мыслями. Они зрели в его голове, как мое чрево. Я знала все это. Он тоже знал. Во мне отражались мои близкие, Айн-Тарек, моя судьба и свадьба, разбившаяся на тысячу фрагментов. Причем они разлетелись по разным сторонам: Милуд — в одной, олива — в другой, а в последней — процессия шести девственниц, два супруга и сын, которого я отказалась кормить.

Все постепенно восстанавливалось. Одно за другим. Посланник Господа оказался военным взрывотехником. Он умел собирать бомбы, поэтому люди гор его выкрали. Хотели, чтобы он делал подрывные устройства для них. Сначала тот сопротивлялся, отказывался, потом, увидев меня, передумал. Пока рос мой живот, он мастерил бомбу. Когда вечером Эмир и его подчиненные возвращались, они окружали его, хвалили, кормили, беседовали с ним, он делал

вид, что поддерживает разговор. Бомба округлялась вместе с моим животом.

И однажды это случилось. Летом, после Рамадана. К полудню он закончил работу. Эмир нашей группы его поздравил, погладил по затылку и выстрелил в упор. Я видела, как его голова взорвалась, испачкав кровью ствол дерева. Дым от тела поднялся к небу, как от непотушенного костра.

Хотя мне было известно, что будет, не могла как-то помочь другим. Я все поняла, еще когда обменивалась с ним взглядами, знаками, улыбками. Он все объяснил мне, не раскрывая рта. Деревянный ящик размером со свадебный сундук с бутылочками и разноцветными проволочками. Как букетики цветов, которые кладут на капот машины новобрачных. Взрыв наметили на следующий день, террористы только и говорили об этом и выглядели довольными, обнажая в улыбке черные и желтые зубы. Но я-то знала. Наступила ночь, мне нужно было найти то, что спасет меня: мужские сапоги. Они валялись в пещере с продуктами. Охранницы почти не обращали на меня внимания, ставшую старой и непривлекательной. Я украла сапоги и притворилась спящей.

Наступила ночь, а потом бабахнуло.

Раздался адский грохот. Будто наступил конец

света. Грохот, вырывающий сердце из груди и заталкивающий его в рот. Взрыв убил почти всех. Мой Милуц запрограммировал бомбу взорваться во время их ужина.

А потом, сестра, я сбежала. В ночь, в лес, в свое сознание, прихватив только имя Хамра, которое никогда не забуду. И когда я об этом думала, дорога расстилалась прямо передо мной в направлении ветра. Даже ночью. Я бежала в сапогах, с огромным животом. На девятом месяце беременности. Бежала, бежала, но в какое-то мгновенье почувствовала, что во мне что-то разверзлось: воды отошли. Я села на корточки под узловатым деревом. Там и родила, сестра, прислонившись к стволу. Одна-одинешенька, темной ночью, непонятно где, с криками и чем-то в ладонях. Они все погибли? Кто-нибудь выжил? Понятно, что, если они меня поймают, зарежут. Я нашла рядом с собой камень и перерезала пуповину новорожденному».

16

«Забвение — это милость. И наша сила. Даже Господу это не дано, сестра. О, не возмущайся. Я люблю Всевышнего, подчиняюсь его закону, но мы ведь женщины? Запомни мое имя, ведь выжила, вспоминая его. В лесу, черном как могила, я вопила, плакала и восстала в крови. Потом забвение. Благодаря Господу, Его милости, может, Его величию или чему-то другому. Но это случилось.

Я очутилась на дороге, той самой, откуда ты приехала. Она идет издалека, проходит через Амми Муссу, Айн-Тарек, через это место, мою голову. Еще до рассвета я оказалась на обочине дороги, в крови; в тот час машин не было, пришлось ждать. Чувствовала, что забыла что-то. Щупала руками живот, не понимая, что именно ищу. К моему ужасу, это не давало мне покоя, но вспомнить не удавалось… Топталась на месте, глядела на горы, которые ты видишь за окном, сестра, переминалась с ноги на ногу, слезы подступали к горлу, хотелось кинуть в них камнями, все напрасно. Я забыла что-то важное. Прошагала сто метров в одну сторону, вернулась. Что это? Кровь между ног? Жжение в животе? Я разозли-

лась на Господа, подняла глаза к высокому небу, чтобы проклясть Его, но ночные небеса были прекрасны, словно роскошная ткань, сверкающая в витрине большого города. Я потерялась в нем. Драгоценности, короны, золотые цветы и клаксоны, как на свадьбе. Однако что-то оттягивало мне руку, тянуло за порванное платье. Мне хотелось войти в магазин на небесах, взглянуть на витрину, я говорила сама с собой, будто сумасшедшая, смеялась и оплакивала свою судьбу, потому что меня не пригласили. Так я лежала лицом вверх на обочине дороги, выбирая приданое, ожидая машины свадебного кортежа. Я боролась с дурными воспоминаниями, а звездное небо радостно меня приветствовало улюлюканьем, а потом появился кортеж. Земля задрожала под моей спиной. А еще, сестра, я увидела фары. Они приехали за мной, отец плакал от радости, стоя на коленях, счастливая мама танцевала под стройный хор женщин. Кортеж остановился, дверца открылась, и новобрачную увезли.

Мужчины трясли меня, звали, словно я была на дне колодца. „Откуда ты пришла? Откуда ты пришла? Кто там?“ — повторяли они. А я отвечала: „Из отцовского дома, папа плачет от радости…“ И тогда этой изумительной брачной ночью какой-

то человек, стоявший передо мной с зажженным фонариком, крикнул: „Полковник Милуд, она в крови, родила, сейчас умрет“. Я заорала».

17

«Все увидели мою только что родившуюся девочку. Она лежала под оливой. Когда она посмотрела на мое лицо своими прекрасными глазами, я вспомнила о себе. Не представляю, как она выжила. Наверное, Господь смилостивился. Ее не загрызли волки, она не умерла от голода и жажды. Осталась лежать под кустом, где я спрятала ее, отправившись искать помощи. Прости, Господи, я не могла бежать по лесу в крови и с ней на руках. Господь даровал мне забвение, сестра, оно нас и выручило. Забвение как простыня на моем животе, как милость, как небо.

Нас привели в казарму, и там началась наша вторая жизнь. Мне объяснили, что не надо возвращаться в Айн-Тарек, потому что люди гор могут вернуться и отомстить. „Твой отец умер после твоего отъезда, а спустя некоторое время мать последовала за ним“, — сообщил офицер армии, посоветовавший мне следовать необходимым процедурам. Так меня и назвали террористкой, и я в нее превратилась, вот так, сестра. Я показала им вражеское расположение в зарослях, но солдаты попали в засаду, и меня

обвинили в пособничестве. Я отсидела три года в тюрьме, сестра, с дочкой на руках, а когда меня освободили, навеки стала террористкой. Не могла ни работать, ни побираться, ни где-либо жить, ни постоянно скитаться. Меня приютил муж тети, которую ты видишь, он смыл позор с моей дочери. Он нас обеих кормит, защищает, и, слава Господу, он наш заступник.

Меня зовут Хамра, и, признаюсь, я иногда сомневаюсь, что это мое имя. Недостаточно одного лица, если прожил несколько жизней и пережил несколько смертей. Сестра, я желаю, чтобы ты добилась прав для нас, изнасилованных, забеременевших без мужа, обвиненных, похищенных женщин-террористок, пропавших девственниц… Сегодня я горжусь лишь одним — моей дочерью. Помогаю ей готовиться к замужеству и надеюсь, что она будет счастлива и у нее будет много детей. Хочу присутствовать на празднике и танцевать без слез. Расскажи мою историю, порасспрашивай оливу, камни, дорогу и возвращайся, чтобы меня снять. Хочу дожить до свадьбы моей дочери, годами я собираю ей приданое; у нее будет длинный кортеж и тысяча певиц, все, чтобы она была счастлива. Иногда под нашими окнами проходят красивые юноши.

Иди!»

18

Я плакала.

Хамру тоже зарезали в ее галлюцинациях. Она тоже потеряла голос. И ей перерезали голосовые связки, она стала шептать. Ты слышала ее, моя Гурия? Она тоже выпала из старинного лживого рая. Ее несчастный голос в пространстве мыслей слился с моим. Нам всем приходится кричать, чтобы нас услышали! Я плакала и злилась на собственные слезы!

Дети скакали рядом со мной, а я торопилась, поскольку на этот раз, моя красавица, хотела с этим покончить. Надо добраться до вершины, покончить с моими поисками правды для тебя, убежать прочь из этой деревни. И тогда мы ушли, ведь, согласно Пророку, моя красота своей улыбкой могла освещать мир. Только ты, будучи внутри меня, напоминала мне о цели, застрявшей у меня во рту, как давно приевшийся вопрос, на который следовало найти ответ.

Я поднялась к краешку неба на вершине холма. Вдали слышались возмущенные, недовольные крики. Дома вблизи показались мне солиднее

и богаче. Стало понятно, что звуки исходят из внушительного здания с непропорционально большим куполом, выкрашенным желтой краской, имитирующей золотой цвет и загробный мир. Строение опасно стояло на краю холма. С аркадами, портиками, облицованными фаянсом, в обоих этажах проделаны овальные окна, как соты в улье. Мечеть фараонского масштаба нависала над деревней, точно требуя сложить к ее каменным ногам еду и всяческие подношения. Над широкой мраморной лестницей, у входа висела табличка. Снизу стены опоясывала уродливая серая плитка. Я остановилась и застыла. Потом поняла, что она мне напоминает: архитектор воспроизвел иерусалимскую мечеть, на внешнем языке называемую Аль-Акса.

На самом верху, в этом ничтожном мире, огромный купол закрывал полнеба так, что дома неподалеку казались булыжниками у ног раздутого божества. Толпа кричащих людей в одеждах тысячи оттенков белого окружила высокого худого мужчину в чистой, как облако, джеллабе. В одной руке он держал громкоговоритель, другую поднял, призывая к спокойствию. «Успокойтесь, братья мои, это фитна, а фитна хуже убийства, сказал Господь». Толпа злилась на того, кто не вы-

глядел как имам, он стоял на нижних ступеньках широкой белоснежной лестницы, поднимавшейся к губастому зеву мечети Циклопа. Взглянув еще выше, я заметила недостроенный минарет внутри каркаса лесов. «Опасайтесь дьявола и его наветов. Я никогда не продавал ослиное мясо кому бы то ни было, Бог свидетель! — твердил шейх, свободной рукой указывая на купол. — Вы меня знаете, я уже много лет ваш имам, и если Всевышний наделил меня состоянием и деньгами, то лишь затем, чтобы я делился с самыми нуждающимися из нас. Здесь только вы, Господь и Пророк, наблюдающие за нами и нас направляющие. Я буду есть то, что едите вы, и буду кормить своего сына лишь тем, что могут благословить Господь и его Пророк».

В его глубоком негромком голосе будто смешивались истина, красота и упрек, он шел из самой глубины его благородного обаяния. Я стояла далеко и могла только вообразить его лицо. Судя по тому, что было заложено в том голосе, он должен напоминать широкоплечего ангела-хранителя с крыльями, бородой, поседевшего от премудростей, с телосложением, прописанным в канонах и хадисах о рае. «Братья по вере, это дьявол вам нашептывает в уши. Расходитесь

по домам. Перечислите имена Господа и ешьте то, что вы принесли ему в жертву», — повторял имам, но красивые интонации его голосовых связок терялись в непокорном металлическом звуке неисправного громкоговорителя, который, как я понимала по его движениям, приходилось время от времени встряхивать.

Люди, стоявшие ко мне спиной, отхлынули. Кто-то еще недовольно крикнул, но быстро замолк. Вернувшись к своим обязанностям, имам затянул молитву, обычно знаменующую окончание больших молитв, и тут Рабха крикнула.

Эта оплошность объяснялась ее юным возрастом и рвением. «Она журналистка, она здесь ради нашей истории!» Ее звонкий голосок раздался между двумя аятами. Не успела толпа успокоиться, как мечеть склонилась, смотря во все свои сорок глаз. Имам, преодолевая расстояние, встал на цыпочки. «Она тут!» — продолжила девочка в платье с зелеными и золотыми бабочками. Клянусь, даже купол с фальшивой позолотой задвигался как лысина под солнцем. Меня узнали.

19

После имам сказал, что меня спас Аллах, но говорил он о себе. Имамы так обозначают себя, выбирая одно из девяноста девяти имен Аллаха, моя Гурия с очаровательными глазами. Думаю, в тот день, который длился тысячу лет, подобно священной ночи, нас с тобой спасла моя отвага.

Когда любопытная, удивленная, не скрывающая раздражения толпа повернулась ко мне, я ни минуты не стала раздумывать. Повезло, что они все собрались. Чтобы ты узнала правду, лучше не придумать! А как иначе? Звать их к тебе по очереди и рассказывать про ночь 31 декабря 1999 года, лишившую меня сестры, любви и летнего жара в крови? А тут по иронии судьбы у мечети с сорока глазами сотня мужчин в белых одеждах, выясняющих серьезный вопрос о мясе: халяль или харам. Я могла вырвать из рук шейха громкоговоритель, которым он размахивал, и потребовать, чтобы все услышали мои свидетельства, узнали меня, подтвердили события той ночи, погасившей во мне день. Я понимала, что другого случая больше не представится. В этой малолюдной деревне все мужчины собрались в одном месте.

Все женщины слушали за стенами, всем детям было тридцать три года, как местным жителям, как правоверным, которым воздалась вечность в раю. Наконец-то мое дыхание умирающей, мою канюлю, мой цыплячий писк кто-то услышит.

После их истории с подозрительным жертвенным мясом на единственной дороге остались отвратительные головы, которые, словно стайка детворы, катились за мной вверх по склону, следуя своим противоестественным законам.

20

Когда толпа ко мне повернулась, я подошла с поднятой головой и без платка на моей чудовищной «улыбке».

Большая канюля, водруженная над тысячью моих фраз, такая идиотская диадема, была предметом гордости там, где оживало воспоминание обо мне самой. Я подбежала к имаму, с удивлением прервавшему проповедь, и не успел он открыть рот и взять слово, как я схватила его громкоговоритель и повернулась к толпе, сомкнувшейся вокруг меня, словно вода. Но в неразберихе я вдруг потеряла равновесие, тысячи рук потащили меня вниз по лестнице; возмущенные, негодующие голоса в суматохе белых одежд. «Я — Биа, дочь Халеда Аджама…» Я кричала, прижав губы к рупору. И в этой деревне, привыкшей к полной тишине, раздалось долгое шипение. Оно продолжалось, сопровождалось, разумеется, словами, но и еще то ли чем-то непристойным для их слуха, то ли давним жутким воспоминанием. Оно их четвертовало, резало на куски.

Мужчины из первых рядов бросились на меня и попытались отнять у меня громкоговоритель.

До меня донеслось: «Женщине не пристало тут говорить. Слышишь? Женщина из добропорядочной семьи сидит дома!» «За тобой мужчина не следит?» — пролаял еще один голос в толпе, а чья-то рука тащила меня ко входу в гигантскую мечеть. «Кто послал тебя за фитной, кто послал тебя посеять раздор?» До меня доходил голос имама, уже не таивший чудес, однако по-прежнему прекрасный, удрученный кощунством людей. «Замолчи! Женщина не должна повышать голос в присутствии мужчин!» — вопили другие. Те, кто собрался тут по поводу вкуса подозрительного мяса, опасались звуков женского голоса в тени мечети; дело заключалось не только в голосе, у меня ведь его не было! Я же пришла к ним, к себе, чтобы ты услышала этих несчастных придурков с оскорбленным видом. «Замолчи!» — кричали они. Но ведь я немая уже двадцать один год, разве нет? В стране, где ты упрямо хочешь дышать, жить и считать дни, женщина не имеет права молиться вслух. Во время траура ее рыданий не должно быть слышно, как и звука ее каблуков по мостовой, она не может ни петь, ни проповедовать в мечети. Потому что, моя древняя луна, в нашем голосе — приглушенный крик восторга и быстро забываемый вопль при родах. Два мгно-

вения, когда обнаженные мужчины в нас или на нас. Наш прекрасный голос всегда возносится, сопровождаемый стыдом мужчин.

И тогда они бросились на меня, чтобы отобрать то, что я и так потеряла там двадцать один год назад, на глазах у всех, за ближайшей горой с восточной стороны.

«Тебя Господь спас», — повторял мне потом шейх с узким лицом. Мы укрылись в небольшом помещении, где имамы готовятся к проповеди или выслушивают затруднительные вопросы кающихся, связанные с сексуальной жизнью или правом наследства. Множество книг в позолоченных переплетах из искусственной кожи, стоящие ровным строем, как в армии, поглощали тусклый дневной свет. «Это все Господь и Его Пророк. Этим беднягам заморочили голову ослиными головами». Прекрасный голос вырвался из несоответствующего ему тела.

21

Я разглядывала этого бородатого высокого худого человека с изможденным лицом и большими внимательными карими глазами. На нем по-прежнему была длинная белая джеллаба, надетая во время распалившей всех проповеди. Дверь была открыта, двое мужчин почтительно стояли на пороге. Может, они боялись, что толпа с улицы ворвется и затопчет? «Конечно, дочь моя! Ты вела себя опасно, толпа непредсказуема, сестра. Они могли тебя убить, боже упаси». Его сердечные интонации оторвали мой взгляд от окна, за которым просматривались признаки жизни деревни, слышались приглушенные голоса. Он пристально на меня посмотрел, еле сдерживая волнение: «Ты ведь не журналистка?» Я молчала, ощущая себя в кошмарном сне. Оставшиеся в памяти отдельные крики и мерзкие руки, толкавшие меня к зеву мечети, огромная деревянная дверь, украшенная медными арабесками. Мне было страшно, но эта искусно отделанная дверь, подобная тяжелым драгоценным бусам на женской груди, показалась мне неприличной в этом убогом месте. «Они почувствовали себя оскорбленными, понимаешь,

сестра?»

Его прекрасный голос смущал меня. Когда я закрывала глаза, передо мной всплывали тысячи лиц киноактеров, мужчин на белом коне, представлялись шепот и известные объяснения, все оправдывающие. Однако, как только я глядела на шейха, чудо пропадало. На его лице с длинной ночной бородой лежала печать проклятия. Того, что обрушивается, если углубиться туда, куда нельзя, в собственную кровь. Противоречие между нежным голосом и резкими чертами было неприятным. А может, шейх на этом играл, моя Гурия? Я тонула в его глазах, а он меня даже подбадривал взглядом. Потом до меня дошло, в чем заключалась фальшь: в окраске его острой как бритва бороды. Она была непостижимого, невероятного, абсолютно черного цвета, несмотря на его возраст и круги под глазами. Судя по всему, шейху было примерно пятьдесят лет. А этот цвет — номер один палитры красок в моей парикмахерской! Глубокий черный, без оттенков. Видимо, он регулярно красит бороду, чтобы добиться такого идеального цвета. Контраст с белизной одежды завораживал сродни двусмысленности или страху. «Сегодняшняя история с ослиным мясом, сестра, пробуждает в них стыд и гнев.

Видишь ли, они бедные и гордые. Сегодня утром обнаружили эти головы, и большинство из них не хочет теперь есть мясо, купленное вчера в моей мясной лавке». Я в растерянности не сводила с него глаз, а он, в свою очередь, рассматривал мою «улыбку», как редкий экспонат. Что-то блеснуло в его взгляде, словно я привела его к некоему умозаключению. «Ты же могла погибнуть, сестра. Хочешь воды? А поесть? Моя жена может тебе что-нибудь приготовить. Ты — гостья Господа в Его обители». Затем он перевел взгляд на мои джинсы и всклокоченные волосы и слегка отодвинулся, обозначая дистанцию между нами.

Шейх поразмышлял над каким-то вопросом, потом пришел в себя, явно раздраженный. На улице шум стихал, и заваруха, которую я чуть не спровоцировала, сменилась тишиной, встретившей меня час назад. В доме Господа ты, запретный плод, беглянка из Эдема, плавала между моей плотью и позолоченными книгами. На какое-то мгновенье я вспомнила об Аиссе, о его ревности к Абу Хурайре, соратнику Пророка, передавшему тысячи его изречений, хотя он и общался с Пророком лишь несколько месяцев. «Мужчина не может уединяться с незнакомой женщиной, если она ему не дочь, не сестра и не мать». Шейх

кивнул подбородком своим прислужникам, стоявшим на пороге. «Отдохни немного, потом решим, когда тебе уехать. Сейчас нельзя, они слишком возбуждены. Они славные люди, но эта история, безденежье, стыд, дьявол, зависть — все это их мучает. Деревня-то небогатая». Однако тут сверкали позолотой объемные сборники хадисов. Эти блестящие вены бежали по книжным полкам вверх до купола, вились плющом по обложкам несчетных экземпляров Корана, сложенных в тесном пространстве. Золотые ручьи текли по красным шторам, теряясь в охряной шерсти ковра, и, отражаясь, сверкали в люстрах на потолке.

«Я вернусь», — промолвил приветливый голос, запрятанный в худом теле и фальшивой бороде. Шейх поспешно встал и ушел, оставив меня в одиночестве. За окном вдалеке еще гудела толпа. В шуме выделялся приметный голос шейха, полагаю, он снова стоял на верху лестницы. Раздалось шушуканье, перемежаемое паузами, потом снова зашумели. Из-за чего в деревне, где я родилась и умерла, ко мне отнеслись хуже, чем к приближению смерти? Из-за штанов? Волос? Из-за попытки заговорить перед мужчинами? Они испугались, что их историю расскажут и разнесут по всему свету? Или они ненавидели мою фамилию?

День угасал, грозя захлопнуться надо мной. Даже в мечтах я никогда не уезжала так далеко в небезопасное незнакомое место. Внезапно накатилась жуткая усталость. То ли на меня подействовали мягкий кроваво-черный ковер и приглушенный свет, то ли я осознала полную тщетность моего здесь присутствия, но я легла и постаралась уснуть. Тело призывало обо всем забыть, даже тебя во мне.

Имам с крашеной бородой пришел спустя полчаса и принес молоко, финики и хиджаб в прозрачной упаковке. Я поняла, он не позволит мне уйти отсюда. «Тут дом Аллаха, никто тебя не потревожит. Но не выходи из мечети. Завтра Господь укажет тебе путь, и ты вернешься к себе. Из какого ты города? Из Алжира?» Я помотала головой. Потом мой умирающий голос произнес: «Из Орана», и он наклонился надо мной, чтобы уловить мое жалкое дыхание. Его взгляд остановился на моем неприкрытом горле. Он разволновался? Нет. Скорее заинтересовался, но сдержанно. Нечасто кто-то настолько приближался к моему разрезу и не отшатывался. Шейх стоял поодаль, как дрессировщик хищников. Еще раз извинился. «Сейчас приду», — сказал он, внезапно осененный идеей. Может, моя Гурия, лежащая

в изумрудном шатре в раю Аллаха, уже тогда мне надо было понять знаки происходящего? А я по-прежнему была травмирована видом гудящей толпы и ощущением распинающих меня рук. Может, стоило разгадать, что подсказывали мне внутренний язык и вся эта позолота? Конечно. Но я — женщина с ободранной кожей, мой ангел, и слова вылетают наружу, а я не обращаю на них внимания. Видишь ли, моя еле пришитая голова болтается на теле, остатке моей жизни. Стоя на роскошных ступенях, я попыталась повторить свою историю жителям родной деревни. Чтобы в этом пыльном судилище они выступили за меня и против тебя.

Признаюсь.

Я ведь отчетливо крикнула своим вечным шепотом: «Я дочь Аджама! Я дочь Аджама!» Но раздался лишь шепот. Видимо, никто не услышал и никто не вспомнил ни о нас, ни о моей сестре, ни о моей матери, ни об отце. В тысячерукой толпе тысячу погибших 31 декабря 1999 года затоптали, на них наступили, их оттаскали за волосы, отбросили. А может, жалкие выжившие не желали, чтобы погибшие снова заговорили через разрез моего горла. Благодаря истории с ослами они прежде всего смогли сыграть в прятки со

своими призраками.

22

Пакет, из которого высовывался хиджаб, лежал между ним и мной. «Говоришь, ты дочь Аджама?» — переспросил имам. Я кивнула. «Знаешь, дочь моя, фамилии здесь ничего не значат. Все их меняют почти каждое утро». Казалось, он выбирает из океана слов те, что годились для меня. «Говоришь, ты отсюда, из Хад-Шекалы?» Я опять кивнула, удивившись его предыдущей фразе. В углу комнаты в корзинке с белыми и голубыми пеленками шумно сопел младенец. В ту минуту я почувствовала, как ты двигаешься, подобно материку на глубине, всплываешь к канюле, высовываешь голову и склоняешься над колыбелькой.

Незадолго до того мой мудрый голос, который слышишь только ты, напоминая закон Господа, произнес на своем внутреннем языке: «Мужчина не может уединяться с посторонней женщиной, иначе третьим станет шайтан». Чувствуя мое смущение, имам-нож нашел решение, чтобы вызвать мое доверие. После ночной молитвы он вернулся в комнату, держа в одной руке блюдо с требухой, приготовленной, по его словам, его

женой, а в другой — колыбельку с младенцем. С сыном! «Его зовут Измаил. Как нашего общего мусульманского предка». Ребенок спал. Я еле сдержалась, чтобы к нему не притронуться, не склониться над ним. Чтобы различить твои возможные черты? Именно так.

«Ты должна знать, сестра, что здесь фамилии не важны». Мое недоверие никуда не исчезло, и я прокручивала в голове гипотезы для объяснения этой загадки. «В Хад-Шекале, сестра, в отличие от всей остальной страны можно выбрать какое угодно имя. Так ты утверждаешь, что тут у тебя родные?» Я подтвердила, не отводя настойчивого, сурового взгляда женщины, выросшей без мужской власти. Шейх пожал плечами и жестом, принятым у его собратьев и обозначающим мудрость, погладил бороду. «Здесь, в Хад-Шекале, люди твердят, что они все из одной семьи. Мы все сошли с гор. Многие погибли. Так ведь?» Он насмешливо наблюдал за тем, как я изображаю сильную женщину, и решил не приукрашивать. Я сочла эту прямоту тревожной, но странным образом необходимой. «Учти, сестра, местные жители не любят вспоминать прошлое. И тут являешься ты… в своем наряде, с неприкрытыми волосами, и это оскорбляет их достоинство. Затем

ты решаешь взять слово, хотя они боятся фитны после истории с ослами. Некоторые даже хотели напасть на дом Господа, сестра, и на меня, имама деревни!» Его интонация поднялась до проповеди и достигла горестных вершин, которых он желал слышать божественными, жалостные ноты невольно меня тронули. Дьявольский голос! «Что ты хотела заявить им, сестра?»

Шейх явно ждал ответа, хотя осознавал абсурдность своего вопроса. Канюля притягивала его сильнее, чем мои золотисто-зеленые глаза; так происходило со всеми мужчинами, однако он был отчаянный борец. Он держался поодаль, предпочитая не подходить слишком близко с вопросами в лоб. А я сопротивлялась его вкрадчивым словам. Меня завораживал голос, сулящий успокоение, окончательное восстановление.

Шейх расчетливо молчал, похлопывал по красноватому ковру, откашливался и снова произносил десяток слов, где скрывались тысячи. Чего он хотел? Как я могла догадаться, моя Гурия? «Здесь нет настоящих фамилий, только несчастные судьбы. Ты же это прекрасно поняла? Кто-то меня не принимает, сестра, потому что я чужак. Я пришел из Тиарета, когда умерли мои родные. Ты ведь не журналистка? — Он явно волновался,

но я одобрительно скривилась. — Я один остался. Мой отец-торговец, видимо, умер от тоски, а брат исчез. Я пришел, гол и бос, с книгой Всевышнего в душе и желанием оживить глас Его Пророка, да даруется Ему спасение в этой измученной деревне. О, да! Они здесь настрадались. Больше не различают добро и зло, халяль и харам. Ведомы дьяволом, он смущает их своим голосом. Знаешь ли ты, сестра, что предыдущего имама они однажды прогнали и побили камнями во время Рамадана?»

Я с любопытством вскинула бровь, а он весело продолжил: «Он вычислил, что точное указание на восток по направлению к священной Мекке отличалось на несколько градусов по сравнению с тем, которое установили бывшие имамы. И на свою беду, придумал настелить ковры в мечети по линиям, чтобы правильнее расположить ряды правоверных на общей молитве, обозначилась фитна. Половина верующих молились немного севернее, половина — южнее. Кончилось все кровопролитием, камнями и угрозами, вот так, сестра. Бедные люди, постоянно стыдятся».

Он опустил взгляд, чтобы я дольше томилась от неразгаданной тайны. Его скрытные, словно у мертвеца, глаза меня изучали. Порой он

гладил рукой лобик спящего младенца, будто проверяя, что тот жив. Пакет с черной тканью служил границей между нами. «Да, сестра, они стыдятся. Но Господь постепенно их лечит. Я сын скотовода, но учился в мечети нашей деревни около Тиарета. Я из Уэд-Лилли. Потом в нашем краю выдалась фитна. Моего брата арестовали и, как утверждали некоторые, бросили в тюрьму. Кто-то говорил, что он до сих пор живет в горах и отказывается сдаваться. Я пришел сюда, когда у нас в Тиарете отняли все. Скотоводы знают меня, я покупал у них скот, продавал, пока не открыл собственную мясную лавку и не начал разводить стада баранов высоко в горах. Но люди завистливы, сестра. Некоторые жители деревни завидуют и наговаривают на меня. Именно так родилась история с ослиными головами. Меня обвиняют в продаже ослиного мяса! Раньше просто слухи ходили, но в этом году на улицах и около мечети нашли ослиные головы! Что им об этом известно, сестра? Они лгут, как братья Юсуфа, благослови его Господь. Слепцы. Я с Божьей помощью продал мяса себе в ущерб. Раздал самым нуждающимся, и они же теперь на меня клевещут».

В его истории есть преувеличения, так голубь бьется о потолок в закрытой комнате, хлопая

крыльями. «Не вся деревня! — поправляется шейх. — На земле Аллаха остались еще чистые души, добрые люди, верные Пророку. Но зависть рождает фитну. Тебя тоже, сестра, могут забросать камнями, поскольку ярость и стыд ослепляют. Кто-то еще сидит у двери мечети».

Первый его выстрел: разлить чернила страха.

Ему удалось.

Искушение было велико, но я плохо представляла, как в ужасе побегу вниз к дороге и остановлю такси — тут дай бог одно в месяц проезжает. Тогда я осознала, в какую захлопнувшуюся ловушку попала. И не могла ни крикнуть, ни позвонить маме по телефону, ни кого-либо предупредить. Наверное, я тоже окончу свои дни подобно обезглавленному ослу. Я рассматривала потолок маленькой комнатки с позолоченными арабесками и оконцем из «Тысячи и одной ночи». Шейх пояснил: «Я выстроил эту мечеть, сестра, на собственные деньги и некоторые пожертвования». Я размышляла об огромном позолоченном чреве, где мы находились, куполе, раздутом, как беременная женщина, чья плоть разукрашена десятью тысячами татуировок. Мечеть выглядела грубой на фоне убогой деревни. Ее роскошь создавала впечатление, будто она привлекла все

приношения и все деньги на свете, сожрав их во время богатого пиршества. «Я постепенно платил и строил ее, — продолжил шейх, поглядывая на дитя краем глаза. — Но теперь мне не хватает денег, чтобы закончить минарет. И они думают, что я продаю им ослиное мясо, чтобы заграбастать их жалкие гроши!» Его голос, который казался сильнее, чем его тело, ослабел, погрузившись в бесконечную печаль преданного Бога.

Я невероятно устала, моя Гурия. Что и усыпило мою бдительность, я заблудилась. Его голос увлек меня в лабиринт. «Видишь ли, сестра, когда ты отобрала у меня громкоговоритель, в этот день Ид аль-Адха тебя Господь послал с небес. Наверняка то была его воля, его знак. Они могли меня убить, прирезать, но Бог предпочел чудо, а не преступление». Он посмотрел на меня с интересом, как на подношение. У меня очередной раз не получалось осознать, что считаюсь жертвоприношением, чудом или крылатой овечкой. Это Господь издевался надо мной или моя сестра оборачивала против меня историю моей жизни? Или она наблюдала за мной, спрятавшись там, в горах?

«Не подумай дурного, сестра, но ты останешься тут на ночь. Ты можешь поесть, поспасть и

вымыться. А завтра на рассвете мы обязательно найдем тебе такси, пока не проснулись жители. Тебе надо вернуться домой, здесь ничего не найдешь. Твою фамилию носят десятки людей, это ничего не значит. Поверь, имена и фамилии ничего не значат. Не зацикливайся на этом». Рукой он погладил упаковку с хиджабом. И я поняла. Ответила его другому голосу, расчетливому, спрятанному в его внешнем голосе, и снова повторила своим неописуемым шепотом: «Я дочь Ахмеда Аджама». Мне хотелось, чтобы он согласился. Чтобы признал, что я пришла ради другой истории, из-за дурацкого происшествия с ослиным мясом, лишившего остатков разума жителей деревни, где нет загробной жизни. Полагаю, он знал это с самого начала.

И нож замолк. А затем врезался в свои мысли, как режут кончиком лезвия дерево или землю. Шейх сомневался, вылезать ли ему из старых ножен, изготовленных в его ремесле из сур и проповедей. Надо было раньше сообразить. Я хотела дать ему отпор в его доме, вместо того чтобы раскрыть глаза. И пока день закатывался за горы, его голос коснулся моего шрама, и шейх решил поискать другое слабое место. «Видишь ли, сестра, тут они от этого страдают и не желают,

чтобы кто-то другой об этом же говорил за них. Зачем возвращаться в прошлое? Ради того, чтобы погрузиться в отчаяние и открыть двери дьяволу? Пророк советовал сплотить ряды в общих молитвах, чтобы не дать шайтану проскользнуть в какую-нибудь щель между пальцами ног двух людей, между их плечами. Видишь, сестра, если прийти сюда и вскрыть раны, лучше не будет, только свою разберединшь. Начнешь войну и раздор. Здесь все ошибаются и все правы. Бог всем простил, не надо слушаться Проклятого и приходить ворошить могилы».

Лезвие ножа отскакивало от канюли, не обращая внимания на мою боль. Оно усилило нажим, чтобы вырезать там некое послание. «Здесь все либо невиновны, либо виновны. Я потерял брата в лесах, вот так, сестра. Решает Господь. Тебе нужно знать эту историю? Здесь мы все равны перед лицом смерти, перед Всевышним и Его Пророком. Мы все закрывали глаза». Нож замахнулся в темноте.

Мне казалось, я победила, но в то мгновенье острие дотронулось до чего-то внутри меня, моя Гурия. Лезвие сделало насечку на моем черном камне. Я выдержала мрачный взгляд шейха.

Захотелось встать, убежать, спуститься в де-

ревню, постучаться в двери. Но эта мечта лишь гасила зарождающийся страх, я начинала подозревать об истинном смысле его речей. А может, это ты, в темноте моей крови, раскусила его паузы? Я не сомневалась, что, несмотря на двусмысленные слова шейха об именах и фамилиях, в этих краях должен был остаться след от нашей семьи. «Здесь трудно добиться правды, люди стыдятся, и знаешь почему, сестра? Они стыдятся, потому что ничего не знают! Им неведомо, откуда они, кто они, кто чей сын и кто кому мать. Это проклятая деревня. Ты же знаешь, сестра, двадцать лет назад из-за фитны и дьявола погибли десятки и десятки людей».

Нож подбирался к моему горлу, и я отдавалась его точеному блеску, словно чтению аята. Имам понимал, что и для него опасен этот поединок. «Кто из них не убивал? Кто не погиб? У всех, сестра, кровь на руках и в теле. Люди стыдятся, поскольку думают, что не имеют права на жизнь, и, разумеется, это верно. Те, кто пережил близких, того не заслужили. Дар божий, которого они не достойны. Так ведь?» Нож сильнее надавил на мою вену. «Они могли быть сообщниками убийц. Или сбежали, бросив близких. Некоторые украли дни своей жизни у собственных погибших род-

ных, разве не так? Видишь ли, сестра, им стыдно, и бесполезно им об этом напоминать. Бог нам судья, поэтому мы надеемся на Страшный суд и ждем его, молясь. Ты должна знать, настоящая ты Аджама или та, кто выдает себя за девочку из этой семьи. Произошла трагедия, сестра, кто-то спрятался, кто-то убежал, кто-то солгал, и сегодня никто не смеет обвинить их в том, что им стыдно. Лучше расплатиться в этом низменном мире и прийти непорочным в другой. Их послушать, они будут талдычить, что никто недостоин жить, и будут правы. Все, что им осталось, — деревня и забвение. Забвение — милость Божия. Его великая жалость по отношению к нам, Его созданиям».

23

Ночь 20 июня, в сарае

Безбрежная ночь. В ней даже теряются высокие горы. Поэтому путается время этой истории. Несколько часов назад я была в огромной мечети во власти ножа и его закона. А теперь связана в сарае без крыши в густой ночи. Худой тревожный человек меня там запер. Он ходил туда-сюда по разрушенной ферме, пока не решился. Потом спустился бегом. Деревня прямо книзу по темной тропинке. Он пошел туда, чтобы нас выдать? Решить там нашу судьбу? Через четверть часа окажется у излучины засохшего вади. Он отправился предупредить брата, теперь я знаю, дорогая. «Я умею резать лучше, чем он! Разве нет? Я папин любимчик!» — кричал он, удаляясь в ночи.

Девочка моя, какую тайну отношений между двумя братьями и зависти мы раскрыли, придя сюда, в Мертвый край?

24

20 июня, 20:00

У имама получилось найти яремную вену, и он поспешил сделать там первый надрез. Прежде всего закровоточила моя фамилия. «Когда они бежали от резни, сестра, — ты должна знать эту историю, если ты на самом деле Аджама, — их охватил страх. В последующие дни с гор в деревню спустились сотни людей. Каждый опасался за свою жизнь, искал убежище или еду, но к этому добавилось кое-что еще. В душах скрыта корысть, сестра. Некоторые бедняки из других краев смешались с настоящими выжившими. Имеем ли мы право судить? Они тоже могли поклясться, что были на грани смерти или выжили в резне, непонятно кем устроенной. И тогда, сестра, вмешался сладкоголосый шайтан. Те, кто живет в горах Уарсениса, там же рождаются и умирают. Никто, кроме них самих, не знает, что они появились на свет, они не записаны в учетную книгу мэрии, у них нет свидетельства о рождении, или они его намеренно потеряли.

На следующий день после резни многие хотели

есть, мерзли, надеялись раздобыть денег. Они пришли в эту деревню в ожидании помощи от государства и кинокамеры, чтобы поведать о своих лишениях. В Хад-Шекале самые старые, те, кто хотел вспомнить тот январский день 2000 года, рассказывают, что там много чего раздавали. Крупу, деньги, одежду, кров, полная неразбериха, какая предполагается в день Страшного суда, когда ангел всех призовет. В этот беспорядок оказались вовлечены все жители, как после воскрешения. Выжившие и фиктивные жертвы, те, кто потерял близких, и те, кто присвоил себе фамилии погибших, чтобы получить помощь. Тут все было туманно и так и остается по сию пору.

Видишь ли, сестра, именно поэтому местным жителям стыдно. Многие уже двадцать лет живут с фамилиями, украденными у мертвых. Некоторые действительно умерли, кто-то об этом не помнит. Понимаешь? Им стыдно, но это не их вина. Они просто выжили, и Господь уготовил им иную судьбу. Но иногда в деревне возникает волнение из-за пустяков, это все происки шайтана. Стыд всплывает наружу, им не хочется и самим об этом говорить, и чтобы кто-то рассказывал об этом их детям, сообщая единственную историю, о которой они хотят забыть. То ли дело война

против Франции. Хад-Шекала в той войне не отличилась. Бог свидетель, сестра: все убивали, все погибли, и мы все что-нибудь у кого-нибудь украли в то время. Никто не знает, кто на самом деле убивал. Даже я не уверен, настоящая ли у меня фамилия. И я взял себе имя слуги Аллаха, я — шейх Забир…»

И сверкающий нож затих. День угас, младенец спал глубоким сном, тем же, что видела ты, моя серебряная луна. После разговора нож ожидал, что моя «улыбка» ему ответит, он признавал ее божественную уникальность. Я была в бешенстве: его волшебный голос не давал мне в чем-либо его упрекнуть. Лежащий между нами хиджаб в упаковке ждал. Означал договор, который позволил бы уехать утром живой и невредимой.

Ожидая, пока я отвечу, он на время замолчал.

Я всегда испытывала глубокое отвращение к таким мужчинам. Имам, подобно его собратьям, украл у меня все: тело, секс, живот. Право хохотать обнаженной над пляжем, как чайка. По его мнению, даже значение моей «улыбки» оборачивалось против меня в виде виноватой усмешки. Он подталкивал меня к могиле с уверенностью, что я так же виновна, как тот, кто попытался меня зарезать двадцать один год назад. Имам прекрас-

но выстроил систему аргументов. Его заточенный нож был обращен на меня, женщину-бродяжку. Подобные мужчины мне противны, как те, что воруют у слепых и жрут человечину. Благодаря тебе во мне было противоположное тому, что у того человека в животе. Я несла жизнь, а он ждал тебя на выходе, чтобы предложить тебе вернуться во тьму утробы или надеть паранджу. Он мог убить меня, разрезать на куски, закопать, и его доводы блестели металлом его ножа. Он охотился на мою жизнь, потому что в некотором роде я и была жизненной правдой, которая преследует его с упреками. Он понимал, у меня были только разрез и смелость, и слышал мой внутренний язык, восстающий против его рассуждений. Мне не требовалось кричать. Ведь внутренний язык, моя Гурия, умеет лучше разговаривать с врагом, чем язык внешний, с его ограниченным количеством слов.

25

«…Я зарезал свое первое жертвенное животное в 1412 году по Хиджре. В понедельник, как в день рождения нашего Пророка, сестра, месяц зуль-хиджа. Отец ледяным тоном призвал это сделать. Обычно я помогал ему, держал ножи, воздушный насос, чтобы надуть животное и чтобы потом легче было его резать, ведро с водой, чтобы вымыть окровавленные руки, или большой жертвенный нож. Он особенный, как некоторые суры Аллаха в его Книге. Отец использовал его исключительно для жертвоприношения, а потом клал в кожаные ножны. Мы с братом Ахмедом держали его по очереди, в зависимости от того, кто, по мнению отца, больше заслужил.

Я четко вижу, заря только занимается в небе после молитвы, а он, запыхавшийся, в закатанных штанах, наклоняется над животным. Он любил работать в одиночку. Отец был человеком старой закалки, в своей жизни часто упорно трудился; казалось, он постоянно вглядывался куда-то вдаль, в свое прошлое, во времена Франции, которой он оказывал сопротивление. Он почти не замечал нас, сыновей, и мою сестру. Он был

божий человек: вставал до рассвета, ложился после заката. Мы разводили скот и держали мясную лавку в Узд-Лилли; скотину привозили из окрестностей Тиарета, кормили ее вкусной травой, чтобы мясо получалось нежным. Отец всему научил нас: никаких остатков жертвенного животного не выбрасывать, использовать все, пока не останутся только кости. Даже кости можно было потом продать. Отец был верующим, читал Коран, но не успел выучиться и стать имамом. Оставшись сиротой, он очень рано вынужден был зарабатывать себе на жизнь, подобно Пророку. Сражался с каждым зарезанным животным и выходил победителем. Отца можно было бросить в костер или в яму со львами: он бы не погиб, потому что не цеплялся за жизнь.

Он женился на матери, когда та была еще ребенком, вот так, сестра. В Сунне Аллаха предписывается защищать женщину, удалить ее от искушений, словно розу, оберегать ее от ее самой и чужих взглядов, дабы славила она имя отца своего и мужа. По совету Пророка мать боялась отца. Она обращалась к нему только ночью и в темноте, замолкала, когда он возвращался домой. Мы жили рядом с мясной лавкой, почти за прилавком, среди освежеванных туш. Повсюду пахло

мясом, жиром и крюками. Даже сейчас, ожидая часа, когда Господь примет меня, если сочтет нужным, для меня в раю текут длинные реки, пахнущие плотью и кровью. Не бойся, сестра, я рассказываю тебе о своих воспоминаниях… Чего тебе бояться? Теперь нечего. Нет больше ни победителей, ни побежденных. В нашу проклятую эпоху жертвенное животное встает, мусульманин опускает руки и все идут спать по домам. Мы сбились с пути праведного, он проходит через горы, жертвенник, благой сон, навеянный ангелом, возвышение и жертвоприношение Ибрахима, да благословит его Аллах.

Мы, сестра, довольствовались благами, дарованными нам Господом. Отец прекрасно знал Коран, мог процитировать любую суру, а мы с Ахмедом его слушали, повиновались и уважали. Однажды он отправился исполнить свой долг в Мекку, но вернулся разочарованным, поскольку там больше не приносили в жертву животных; их заменили купюрами, набором цифр и чеками. Представляешь, сестра? Они не осознают, что в заклании главное — кровь, она скрепляет договор со Всевышним и придает истинную ценность вере. Можно сказать, чего хочешь в жизни, но, когда говорит кровь, произносятся истинные слова.

Я держал нож, когда был лучшим учеником, самым послушным сыном, усерднее всех занимался домашним хозяйством, расторопнее прочих обслуживал покупателей в лавке. Иногда таким оказывался Ахмед, но мы друг другу не завидовали. Мы были настоящими близнецами. Господь распорядился, чтобы мы были отражением друг друга, чтобы душа одного хранила душу другого. Мы были одинаковыми, сестра, похожи как две капли воды, две половинки зернышка, как Хасан и Хусейн — любимые внуки Пророка, да благословит его Господь. Нас путали в школе и в нашей деревне Уэд-Лилли. Мы носили одни и те же свитера, одну и ту же обувь, одни и те же куртки, и в классе нас сажали порознь, чтобы различать. Случалось, что Ахмед назывался моим именем, а я — его и мы менялись вещами. Только родители могли нас различить.

Отец любил водить нас в мечеть на Магриб-намаз. Там он научил нас Корану. Брат оставался работать в мясной лавке по нечетным дням, а я — по четным. Нам преподавали Книгу по очереди. И заодно маме, да примет Господь ее в райские кущи. Она играла с нами и с закрытыми глазами указывала на кого-то из нас пальцем, и никогда не ошибалась! Различала по запаху? По звуку

голоса? Интуитивно? Мать — загадка. Пророк сказал, что рай находится под ногами матерей, а мама часто ходила босиком. Она была набожной, когда отец собирал нас на молитву, он шел впереди, мы с Ахмедом за ним, а мать — за нами, за сыновьями. И вот настал час, сестра, у отца не возникло никаких сомнений: в день Ид аль-Адха в 1412 году по нашему календарю на меня была возложена честь зарезать жертвенное животное.

Это произошло рано утром после молитвы. Обычно мы резали скотину через день, чтобы потом продать, но это был день Господа. В Уэд-Лилли, сестра, жители, и мы в том числе, не были зажиточными, не все ели мясо. Кстати, Пророк родился в бедности и умер в бедности. Но тот понедельник, как сейчас помню, был днем озарения. Отец дал знак, и я наклонился к животному. Оно было связано, хотя активно шевелилось. Замечательный баран с кривыми рогами, словно ему было лет сто. Прекрасно помню, сестра! Жертва бросила на меня яростный взгляд, мне показалось, она то ли злится на меня, то ли оскорбляет, но это, как всегда, нашептывал джинн Иблис. На самом деле жертвы торопятся быть дарованными Богу. Однако дьявол настойчив и упрям, сестра, вот увидишь, он никак не

оставляет нас в покое.

Отец отошел, оставив меня один на один с животным, которое подскочило, пытаясь убежать. Имело право, сестра, но его обязанностью было умереть во имя Аллаха и осветить путь своей кровью. Понимаешь? От него пахло мочой и страхом. Такова жизнь: дается Богом и к Богу возвращается; тогда я взял большой нож и стал нащупывать яремную вену. В то утро я как следует вымылся, совершил полное омовение. Повернул голову барана к Мекке и произнес имя Господа перед тем, как одним ударом рассечь горло.

Баран заблеял и посмотрел на восток. Думаю, тогда он уже увидел то, что скрывается в наших душах на той земле.

Первую жертву я зарезал дома, под лимонным деревом, в понедельник. Отец ничего не сказал, не поздравил меня, и я ему за это благодарен. Таким выдался первый урок: любое жертвоприношение несовершенно, поэтому надо его повторить тысячу раз, чтобы добиться идеального жеста отца нашего Ибрахима, да благословит его Аллах. О, да, я об этом мечтал! Да простит мне Господь мою гордыню. Хотел добиться безупречного взмаха, наибольшей святости, самого безукоризненного, которое осветило бы мир и

придало бы ему истинную ценность: который никто совершал ни до Ибрахима, ни после, кроме нашего пророка Мухаммеда и, вероятно, его почтенных соратников.

Ничего не бойся в этой деревне, сестра. Завтра ты вернешься домой в Оран.

Я хотел, чтобы ты поняла, что все истории способны истекать кровью, как жертвенные животные, стонать, как бараны, или о них забывают, как о происках шайтана. В историях нет добра. В них скрывается ложь, измышления или попытки сбить нас с пути Аллаха. Есть лишь одна история и один путь, но шайтан проникает в щели, в шрамы, подобный твоему, в брешь между плечами верующих во время общих молитв. В тот день, 17 зуль-хиджа 1412 года, ему удалось найти просвет между моим братом Ахмедом и мной. Ему удалось влезть в наши уши и оставить трещины на гладком зеркальном отражении нас друг в друге. Когда моя жертва перед смертью встрепенулась, разбрызгивая по земле кровь и пытаясь вдохнуть воздух в этом мире, хотя для нее он предназначался только уже в мире загробном, Ахмед затаил дыхание. Не поспешил мне на помощь. Оставил меня одного, и кровь животного брызнула на меня, на мою одежду и руки. Я повернулся к брату

и увидел, как его лицо, которое было и моим, мрачнеет и отделяется от меня.

Он пальцем не пошевелил, чтобы мне помочь, поддержать. Он был поражен, в ярости и сурово смотрел на меня.

И вдруг отец дал ему пощечину. Он понял, что его закон был нарушен.

Что произошло в душе брата? Думаю, он позавидовал. Отец решил, что я должен совершить жертвоприношение раньше Ахмеда. В тот день зеркало потускнело. Понимаешь, сестра? Я помню и точную дату, и шайтана. Он кружил над нами, как зловещий филин, взгромоздился на ветку лимонного дерева у нас во дворе, где забивали скот, и воспользовался завистью, чтобы встать между нами, да испепелит и проклянет его Господь.

Брат Ахмед не пошевелился, чтобы помочь мне. С тех пор мы стали чужими. Мы научились молчать, когда оставались вдвоем, носить разную одежду, стали ходить в гости к разным друзьям, даже играли в разных футбольных командах нашего квартала на следующий день после пятничной молитвы. Ахмед был набожным подростком, он мог молиться ночь напролет или соревноваться, кто лучше знает Коран. Кто

быстрее выучит его целиком? Кто получит право зарезать следующих жертв? Кто будет сидеть рядом с отцом? И кто в один прекрасный день сможет направлять молитву? У брата Ахмеда был сильный голос, а у меня красивый. У него — крепкие руки, у меня — заботливые. Он умел молчать, я — убеждать. Даже отец с трудом мог нас рассудить, выбирая лучшего. Мать изо всех сил старалась помирить, не понимая, как мы дошли до того, что отказываемся есть из одной тарелки, носить одинаковую одежду и читать Коран с одними и теми же интонациями.

О да, сестра, эта история изменила наши жизни. С нами были Господь, Его Пророк, мечеть, общая молитва, мясная лавка и дары Аллаха. Этим следовало бы и удовлетвориться, но шайтан — словно оса или шепот. В то время, сестра, мы молились, совершали полное омовение, объединялись на случай, если понадобится взять в руки оружие и сражаться с нечестивыми военными, поскольку наш дядя призвал к джихаду с высоты минарета Уэд-Лилли. И вот как-то в 1992 году мы собрали свои вещи, скудный скарб, и решили уйти к моджахедам, присоединившись к тысячам братьев из Исламского фронта спасения.

И тогда наши пути разошлись.

Мать, унаследовавшая от Хавы, прародительницы нашей в те времена, когда Бог создал мир, ее слабость, рыдала, умоляла, отказывалась нас отпускать. Кто решил, шайтан ли, Господь ли, но я остался дома, Ахмед ушел в горы. После нескольких лет войны мы узнавали о нем по слухам, из газет или от предателей. Голос Аллаха сливался с голосом Иблиса в людских устах. Короче, я остался дома в Уэд-Лилли, чтобы охранять нашу мясную лавку и дом от превратностей судьбы. Шайтан несколько раз возвращался: один раз в зимнюю ночь под видом грабителя, которого мне удалось связать в нашей лавке. В другой раз под видом жандарма, отказавшегося платить, и я выкинул его на улицу и никакого мяса не дал. Потом шайтан вернулся под видом врача, объявившего, что мама скоро умрет. Затем проник в тело отца, который умер и отправился к Всевышнему. Шайтан постоянно возвращался, а я постоянно его прогонял, принося жертвы Господу, но однажды его нож оказался проворнее моего.

В деревне нас побаивались из-за моего брата. То ли Иблис подверг его искушению, то ли Аллах испытывал, но он стал командиром моджахедов. Ему приписывали участие в тысяче операций, тысячу убийств во время резни. Может, Ахмед

прирезал самого шайтана? Не могу, сестра, ни поручиться, ни опровергнуть.

И однажды нож Иблиса ударил быстрее.

Дома меня арестовала целая группа жандармов, и на этот раз, сестра, рыдания матери не помогли, и меня увели. Пока мы шли к какой-то казарме Алжира, где меня заперли в камере вместе с прочими окровавленными и дрожащими божьими людьми, я читал аяты. Читал их два раза в день, даже когда мне вырывали ногти и били. Мне пообещали не оставить ни одного сантиметра живой кожи, если я не выдам, где прячутся „остальные“. Понимаешь, сестра, я ведь сразу не понял! Меня приняли за брата Ахмеда, чьи фотографии были развешаны повсюду: в комиссариатах, казармах, напечатаны в газетах. Кто-то меня выдал, меня пытали, сестра, пока я не сознался, что меня зовут Ахмед. Тогда меня и еще двух других, тоже с бородой и вырванными ногтями и волосами, привезли в Релизан. Мы дрожали, а я по-прежнему читал из Книги Аллаха. Моим товарищам по несчастью нравился мой голос и утешение, которое он им давал по дороге в фургонах или в камерах. Мы просидели в тюрьме год, вот так, сестра. Я научился разговаривать с заключенными, успокаивать их своим голосом,

когда они кричали во сне, когда они умирали, помогать им своим голосом, дарованным Аллахом такому немощному телом и душой, как я. Понимаешь, сестра?

К тому времени, как нас освободили, мама скончалась, и я не мог больше оставаться в Уэд-Лилли, поскольку шайтан Иблис мог принять любую личину, их у него не счесть. Тогда я поселился в Хад-Шекале и, слава Господу, наверстал упущенное: я имам, мясник, в прошлом я Ахмед, головорез, в настоящем — шейх Забир. Теперь понимаешь? Фамилии и имена не значат ничего перед лицом Бога или смерти. Шайтан способен пробраться через брешь, разрез или дыру в горле. Поэтому, сестра, возвращайся домой. Я сам не знаю, кто я. Порой брат приходит ко мне во сне. Он так и не спустился с гор, с тех пор как правительство предложило этим „братьям“ стать поварами. Он так и не сложил оружие, и, когда мы встречаемся во сне, непонятно, кто на самом деле есть кто.

Возвращайся к себе и подумай о дне, когда окажешься перед Господом и что ты расскажешь Ему о себе».

26

Когда его ребенок захныкал и проснулся, нож категорично заявил: «Завтра, сестра, ты покинешь деревню. Здесь не любят прошлое и тех, кто тревожит захоронения. На некоторое время они займутся историей с ослиным мясом, а потом и ее забудут. Вот так. Господь создал человека и нарек его именем забвения Инсан».

Почти наступила ночь, мой ангел. Я дрожала от ярости. Живот как каменный. Он меня и зарезал. Другое лицо, другого возраста, другие руки, другого происхождения, но это был он — такие же жесты, терпение и поспешность, а запах скрыт тысячами духов.

И я уже знала: пусть мне никогда так мастерски, подобно ему, не произнести тысячу слов, встречу тебя долгой речью. Пока он рассказывал свою историю, я решила, мой ангел, даже и не признаваясь себе, никогда не походить на нож, на этого человека, которого проклял он сам.

Он встал и уточнил: «После молитвы Иша можешь вымыться в комнате для омовений. Но ты должна надеть хиджаб, поскольку это дом Господа и женщина не может войти туда непри-

крытой». Он протянул мне пакет. Подождал, пока я открою упаковку и водружу этот гроб на голову, и тогда ушел, держа в руках колыбельку с барахтающимся сыном.

27

Около половины десятого вечера из внутренностей поддельного Иерусалима раздалась запись голоса муэдзина. Я слышала, как правоверные торопливо сходились, приветствовали друг друга под звуки голоса имама. «Сплотите ряды, не дайте шайтану влезть в щель между вашими плечами». Затем голос окреп для молитвы, звонкий, жалобный, печальный, влюбленный, чувственный, словно в этом мужчине похоронили женщину. Он прочел аяты о зле, шайтане по имени Иблис, Ибрахиме, его сыне, жертвоприношении и исключительном праве Господа вершить суд. Прихожане эхом повторяли слова о спасении, склонялись, разгибались, потом вставали, раскланиваясь направо и налево, перед тем как выйти из помещения в тишине. Я долго мылась, потом прошлась по мечети в одиночестве, в брюках, с распущенными волосами, босиком, с открытой душой.

28

Я находилась в брюхе. Внутри большой каменной рыбы. Одинокая женщина без обуви, свободная в перемещениях. Походила по огромным коврам, дотронулась до микрофона, подвешенного на стойке в нише у имама, потом подошла к шкафчикам, где прихожане оставляли обувь, обнаружила красивые белые кроссовки. Кто их забыл? В шкафу стояли позолоченные книги, и я погладила блестящие издания Корана. Разве я имела на это право, я, женщина, родившаяся нечестивицей, грешница? Пристально посмотрела на потолок, раздутый, как мой круглый живот, с громадной люстрой, подвешенной в пупке, в середине. Сверкающий островок из круглых и продолговатых хрусталиков грозил пронзить всю землю. Как заботливая мать, я пощупала свой живот, потом, не придумав ничего лучшего, вошла по ступенькам на минбар, деревянную резную трибуну под небольшим куполом. Поднявшись над мягкой пустыней ковров, где обычно располагались ряды верующих, я обратилась к самой себе, к отцу, матери и сестре. Это желание услышать собственный шепот в доме Аллаха воз-

никло само собой. Но в горле еще словно застрял твердый камень. «Вы здесь?» Мой голос шелестел как сухие листья. «Где вы?» Голос разбрасывался подобно горсти песка. «Я тут!» С тех пор как мне перерезали голосовые связки, мой голос никогда не отражался эхом. И тут, моя девочка, я вдруг зарыдала, и тот камень, круглый и черный, выскочил из моей канюли. Это случилось внезапно, как летняя гроза, высвободив во мне поток видений и незнакомых слов. Я так долго добиралась сюда, чтобы меня тут заперли? Почему из тысяч выживших в моей войне именно я должна возвращать жизнь и память? Жертва, задающаяся вопросом, в чем польза ее заклания. Безутешная, я сидела на минбаре. На меня нахлынула волна сострадания к выжившим, ко всем женщинам вроде Хамры, к тебе, к самой себе. Кто вовлек нас в эту игру жизни и смерти?

Затем я встала, мне стало стыдно за ребяческую выходку в том пустом месте. Я обвела взглядом пространство громадной зеленой и золотой мечети, унизанное арабесками. Я пошарила в михрабе, нише, вырезанной в стене по направлению к Мекке, украшенной, как и тысяча книг, сверкающих тысячью оттенков и тысячью мозаик. Мне, да и любой женщине никогда не предоставлялась

такая возможность. Казалось, туда заложили всю возможную арабскую каллиграфию, чтобы выплеснуть в море обязательных знаний, она расцветала, увядала, снова расцветала пышным цветом в неожиданных весенних днях, округлялась, направляла указующий перст и говорила, словно охватывая непостижимую пустоту. Перед тем как погрузиться в мир внутри ниши, я вспомнила отца Аиссы. Представляешь? Вот тогда и приняла решение. Не было иного пути, чем тот, которого я избегала часами и годами.

Мы отправимся туда: пойдем темной ночью по деревне, превозмогая ужас и страх найти сестру и ее останки. Слишком долго тянулась эта игра в прятки. А что может случиться? Ведь нет ничего хуже смерти, через которую я уже прошла? Я прислонила ухо к двери мечети. Через нее не проникало никаких звуков.

Быть так близко к нетронутой правде и не решиться? На этот раз я войду в свои разрезы, вскрою шрам, разорву наложенные швы и погружусь в «улыбку», чтобы узнать, откуда она и что скрывает. Да, ты вернешь мне голос, шептала я. Я книга и хочу добраться до счастливого или хотя бы правдивого конца. На сей раз нырну, как сотни людей, в мою рану и погружусь в саму себя.

Я украла белые кроссовки и толкнула дверь мечети с тысячью узорами. Устремилась вверх по крутой темной дороге, которая выпрямлялась в моем животе.

29

Дорога плохо освещена. Редкие фонари настойчиво делали ночь еще темнее. Ведь в горах ночь освещается тысячью звезд: с ними можно слиться, если лечь на спину и понарошку ловить светила в стакан воды, чем я и занималась с Таймушей, моей сестрой. Я спускалась с вершины холма с опущенной головой, заглушая биение тысячи сердец в своей душе. Сначала страх проявился в виде собаки с окровавленной пастью, пожирающей ослиную голову. Увидев, что я подхожу, она подняла морду в ожидании резкого движения. Пошатываясь, я пошла дальше. Испуг выплескивался из тела и вытекал через канюлю. Вся эта жуть диких собак, подозрительной тишины, черноты, смерти и неподвижности выходила сквозь дыру в моем горле.

Я спустилась к подножию горы. Собака оскаливалась, подражая моей «улыбке». Не бежать, чтобы ее не привлечь, не потеть, чтобы ее не привлечь, не пищать, чтобы ее не привлечь. Я подавляла страх, чтобы очиститься и спасти тебе жизнь, которая еще не началась. Ужас сочился из моего горла, и сквозь него почудилась собака,

потом другая, еще одна, и они спали. Мне показалось, что я увидела, как зажглись какие-то окна, в некоторых домах деревни послышались голоса и шушуканье. Меня терзало, что я не понимала, куда идти. Двадцать один год назад я пришла с противоположной стороны. Тогда пересекла этот вади зимним днем, а теперь его больше не существовало.

Ниже появилась асфальтовая дорога, по которой я ехала из Орана. Глинистая почва потрескивала под подошвами белых кроссовок, украденных из мечети. Прямо напротив — ограда из темных кустов, тростника, давным-давно засохших деревьев. Подножие горы. «Куда идти дальше?» — спрашивала ты. Следовало бы вдоль электрических столбов. Они доходили до нашей фермы, а потом шли по направлению к земле двенадцати истребленных племен. Электрические столбы и навлекли на нас беду: бородачи спустились, чтобы взять электроэнергию, соорудить бомбы и пообщаться со своими «братьями». А на следующий день военные явились, чтобы наказать племена. И я пошла вдоль столбов, оторопевшего каравана в пустоте.

30

Путь долог, моя Гурия. Дорога скручивается во мне, мучает, словно я проглотила змею. Пробираюсь сквозь заросли, иногда спотыкаюсь о камни, чистое небо показывает звезды и сбивает с пути. Иду вдоль столбов. Очередной — через двадцать метров. Отмечаю его в пространстве небесного свода и памяти. Ночь прорезает мир, и он становится бесконечным. Очень хочется, моя девочка, поговорить с сестрой, заставить ее нас рассудить. Если она пожелает, будешь жить, и я тоже. А нет, то не стану ни жить, ни рожать. Вернемся в Оран, расстанемся, и каждая замкнется в своем молчании. Тогда бы я поверила в свое видение.

Посмотри, моя девочка: мы с тобой одни, потому что нам не место в священных книгах небес. У нас нет животного, спускающегося с небосвода, представшего сейчас перед тобой в кружении звезд; чудо нас не спасет, есть только ты и я; мы лезем на темную гору, дабы показать тебе, что все ложь и все правда. Видишь, моя девочка, мне хотелось, чтобы ты рассмотрела моими глазами место, где Бог не спас ни меня, ни моих родных. Я хочу, чтобы ты ощупала Мертвый край, он вон там, на

востоке. Ты увидишь, там даже неба больше не существует. Небо, моя Гурия, — лишь канюля на шее и пропавший голос. Мы поднимемся туда, и я опишу тебе место, где мне отрезали голову. Оно мертво везде, но не во мне.

31

Тогда это и случилось. Столб покачнулся в ночи. Я получила булыжником по голове, ухнул филин. Притом он возмущенно крикнул, обратившись ко мне: «Уходи. Вострашись смерти, вострашись Бога и уходи». Тощий столб скатился по разделяющему нас склону и направился ко мне.

32

До рассвета 21 июня, в сарае

Мертвый край пуст. Меня бросили сюда, посреди моего сна, а руки и ноги связали веревкой. Из туманной ночи выплывают силуэты. Я вижу грязные кроссовки, слышу перешептывание. Прямо рядом с нами туда-сюда ходит какой-то мужчина. Я не осмеливаюсь пошевелиться, хочется закрыть свои глаза, но твои задают тревожный вопрос.

«Я не должен спускаться, я не должен туда ходить, нельзя, он сказал, нельзя», — бубнит сумасшедший бедняга. Мужчина внезапно садится на корточки, я вижу его лицо: узкое, тонкое как нож, большие черные глаза, словно сосредоточенные на чем-то непреодолимом. Видимо, он удивлен, что я здесь, и ждет, пока его не осенит некая мысль. Пытается осторожно прикоснуться к моей канюле. Я мычу и мычу, не отрывая глаз от его спутавшейся шевелюры, гнилых зубов и ногтей, превратившихся в камешки. Длинная седеющая борода скрывает черты лица. Буйный близнец имама Забира. «Зачем? А? Зачем? Чтобы его выдать? Это я должен сделать. Это он тебя

послал? Мой завистливый лживый брат тебя послал?» Он выглядит обиженным до глубины души. Его кроссовки скрипят. Здесь каждый звук оглушает, как вода в ушах тонущего. С ужасом за ним наблюдаю. Я поняла отразившуюся, как зеркале, историю имама Забира и его брата, ставшего призраком. На этот раз во мне сгустилась истинная ночь. Он заворожен моей улыбкой, моим громадным шрамом. Снова его коснулся. «Зачем? — спрашивает он, затем прижимает палец к губам — Тсс! Я сам его выдам раньше, чем он выдаст меня армии». Встает и пускается в рассуждения с самим собой. Путаный диалог, имен не разобрать. «Он всегда повторял, не надо. Они нас убьют». Поворачивается ко мне: «Убьют ведь? Зачем ты сюда пришла? Чтобы выдать нас армии?» Охваченный паникой, шлепает себя по губам: «Тсс! Бог тебя проклянет. Ты не умеешь хранить тайну». И самому себе отвечает, бормоча: «Могу! Богом клянусь, могу! Я сторож брату своему».

Я зажмурилась. Он исчез. Слышу, как причитает вдалеке, потом уходит, повторяя: «Это не он, это я. Я режу. Я слежу за стадами, баранами, краду ослов и режу их. А он? Ничтожество! Вещает в мечети и врет. Меня отец больше любил, не его.

Он убивал, не я!»

Ну вот, мы одни. Ты — во мне, я погружена в ночь, она ждет, когда я заговорю. А может, так правильнее? Убить тебя и умереть вместе с тобой, а не пережить тебя. Пророк Ибрахим должен был принести себя в жертву вместе с сыном. Видимо, это и заставило меня слушать твой голос, который я считала моим, и приехать сюда. Принести себя в жертву вместе с тобой, чтобы ты услышала мой голос. Предложить Богу оставить в покое барана и убить нас обеих, чтобы исполнить мечту. Пастух ушел, а я все рыдаю. Я забыла кое-что, оно не дает мне покоя, как Хамра с рыжими волосами. Кое-что невидимое и важное, точно солнце или душа.

И тогда земля начала двигаться. Вернее, задвигался кусочек ночного неба у нас над головами. Он кружился, как платье в танце. Я оборачиваюсь, извиваюсь и через обрушившуюся крышу сарая обнаруживаю яму: полагаю, ферма не существует больше в прежнем виде. Ее развалины укрепляют мои воспоминания: остались стенка, на удивление сохранившийся сарай, половина дерева, в ночи похожего на скелет, и хоровод звезд, появившихся одновременно. Стараюсь распутать веревку, но пастух знает свое дело, он

связал меня как жертвенное животное. Пробую ползти, получается, но с трудом, поскольку опасаюсь раздавить тот уголок, где ты съежилась в своем убежище из плоти. В меня упала звездочка, на дно стакана с водой в моем чреве. Миллиард крошечных невест со сверкающими кольцами противостоят в небе Мертвому краю внизу.

Оставшись в одиночестве, задавала себе вопросы, поскольку что-то во мне упорствовало и выжидало, созерцая это зрелище.

Что, если я ошиблась?

Что, если, как Хамра, я думала, будто убийца, но это меня убили? Что, если, как полагал Аисса, я единственный знак? Дело идет к развязке, это подсказывал мне мой живот, что это будет: прежний монолог, чувство легкости, ты бы в это поверила? Я чувствую, что склонилась над пропастью и готова родить до срока. И как в невероятной игре на пороге смерти, принялась тебе советовать: «Если придет убийца, зажмурься и не смотри на меня. Если он вернется с ножом, сосчитай до тысячи и спрячься. Если он вернется со своим братом, у кого узкое лицо, не кричи во мне, чтобы он не спустился через горло к моему животу. Не бойся, ты не потеряешь жизнь, которой не было, а я прожила почти половину».

Небо опять двигается, собирается исчезнуть, если я не найду правильных слов, которых оно ожидает. Ферма слишком мала для моих воспоминаний. Я ничего там не чувствую, кроме тела, оно, видимо, просыпается после долгого нежелания жить. Земля затвердела в безразличии; и все, что могло дать ответ, осудить меня, выжившую, или окатить презрением, все это двадцать один год носила в себе я сама. Кое-что медленно проникает в мой разум, хотя я пока полностью этого не осознаю. Этот край не Мертвый. Это я — Мертвый край. Ферма на фотографии, которую я вырезала из газеты, существует исключительно в моей памяти, застывшей 31 декабря 1999 года. На рассвете, в то мгновенье, когда моя старшая сестра остановила на мне свой взгляд.

Звездное небо снова кружится.

Но почему в твоем голосе, моя Гурия, мне слышится чей-то еще? Почему я чувствую, что-то ускользает от меня в развертывании моей необычной истории? Почему мне не хватает какой-то цифры, какого-то эпизода, подробности, а небо их ждет? Похоже, я близка к разгадке. «Чтобы поймать звезду в стакан с водой, надо затаить дыхание, застыть, — говорила Таймуша, забавляясь в очередной раз. — Если не будешь

шевелиться, она упадет в твой стакан». А небо опять кружится в дыре на полуразрушенной крыше. Самая большая звезда приближается и наклоняется над нами. Вот она, мощная, твердая как алмаз, насмешливая. Нужно затаить дыхание. Руки не должны дрожать.

А потом я вдыхаю.

Ночной летний воздух наполняет меня словно в первый раз. Я устремляюсь взглядом в небо, чтобы ухватить его целиком, потом возвращаюсь на землю, изгибаюсь, корчусь, в итоге оказываюсь на другом конце разрушенного сарая и вижу их в обманчивом ночном свете.

Они покоятся там.

Одни уставились на меня, другие все еще с костями и шкурами. Они не похожи на тех, кого разводил отец. На тех, кого пересчитывал под дулом ружья.

Повсюду морды немых чудовищ со звездами в глазах, отрезанные головы ослов.

И тогда я забираюсь в свою канюлю и плачу. Наконец все стало понятным в этом месте, ироничном и жестоком.

И до меня дошло, что же хочет восполнить мой внутренний голос.

33

Сестричка, сестричка! Я искала тебя в себе. Вероятно, всегда с тобой разговаривала. Я больше не помню твои черты, ведь многие годы представляла их в мельчайших подробностях, и они понемногу стерлись. Уж лучше зачеркнуть мои, схватить меня за волосы и окунуть в отражение твоего лица, пока я не начну задыхаться. Мне не нравились объятия, поцелуи в губы, пылкость и танцы из-за того, что я была верна тебе. Осознаю это, а мое тело внезапно расслабляется в последней ночи моей жизни. Решила уступить тебе всю себя, оставив только свое имя на челе. Ведь мой голос мог быть лишь твоим, таким же немым и тихим. Твое присутствие и мое отсутствие породило во мне неизбывный надрывный вопрос: достаточно ли я себя наказала? Как нужно по тысяче раз в день погибать, чтобы достичь высот единственной смерти, твоей, но по моей вине? И постепенно, о, моя зарезанная сестра, эта вина, мой позор проникли повсюду. Теперь, когда ты склонилась надо мной с небес, мне понятно.

Сестричка моя, я лежу тут связанная как жертвенное животное, по прошествии тысячи зим.

В этой колдовской ночи, ведь она последняя, я обнаружила, что очень давно убила время. Убила это спокойное, вечное движение, которое обогащает, отбирает и снова отдает, я сжала тысячу дней в один день своей жизни, бесконечно взывая к нему, а он бесконечно взывал ко мне. Время, о да, время! Это то, что первым делом во мне угасло. Как ты думаешь, как я могу оплатить свой долг выжившей? Бесконечно умирая? Значит, двадцать один год я ошибалась. А сегодня, попав в стакан воды, что в глубине меня, ты говоришь мне об этом.

Я это осознаю, но лето отбирает мою кровь и будоражит ее, и дочке в моем чреве я невольно повторяю те же советы, которыми ты делилась со мной, умирая вместо меня!

Что ты сказала мне, когда я свернулась калачиком, пока тебя убивали? Я верила, что предала тебя, а это была лишь твоя любовь, сестра моя Таймуша, пробудившаяся теперь, когда я вернулась на проклятую ферму. Ты не гурия в моей утробе, это я в твоем чреве отказалась возвращаться в мир и жить в нем. Наконец я осознала недоразумение. Коснулась ее, канюлю, утерянный голос в итоге вернулся. Пока я утешаю дочку внутри меня, которая умрет, не родившись, я слышу тебя,

словно впервые в своем голосе матери-убийцы.

Время воскресило во мне свою историю, мое тело ожило. Я чувствую, что способна стать матерью, умереть, вдохнуть тысячу запахов, любить, ощущать разные температуры кожей, до тех пор всегда холодной.

И я вспомнила: пока головорез раздумывал, склоняясь над нами, ты решила привлечь к себе убийцу в грязных ботинках! Пока он обнажал твое теплое, трепещущее горло, ты посчитала на пальцах и сделала мне знак. Тогда я не поняла ни твою улыбку, ни что прошептали твои губы: последний совет старшей сестры, напутствие на всю жизнь. Губы шевелились, ты пыталась произнести слова: «Стуки-стуки!» Изображала нашу игру в прятки. Ты считала на пальцах передо мной: «Стуки-стуки!» И они вели счет. Тысяча пальцев, тысяча чисел, которых так не хватает моей войне, чтобы воспоминания о ней признали. Тысяча пальцев, тысяча чисел: точное число погибших в ту ночь; время без головы, ее отрезали на счет тридцать три. Ты хотела, чтобы я спряталась, притворилась мертвой!

Поэтому двадцать один год назад я проснулась, считая, хотя моя голова еле держалась на шее после убийства родных.

Здесь в горах, когда испуганный пастух вернется нас убить, потому что мы раскрыли тайну ослов, проданных вместо баранов Аллаха, мы с тобой, моя девочка, досчитаем до тридцати трех.

Двадцать один год тот ребенок, кем я была, неверно понимал и не чувствовал всю твою любовь. Ты предложила мне сыграть в прятки, зажмурить глаза, будто в кустах нашей фермы, и притвориться мертвой, чтобы жить дальше, обманув убийцу, читающего аяты. Я тысячи раз проживала эту сцену с разных сторон, но не отдавала себе отчета в том, что ошибалась. Потому что я убила в себе течение времени.

После часов ходьбы по дороге и дней раздумий о судьбе дочери, когда я связана как жертвенное животное там, где меня почти зарезали вместе с тобой, мне надо наконец это услышать. Поймать тебя, смеющуюся, как звездочку в стакан воды. Чтобы ты посоветовала то же самое дочери в моем чреве, прежде чем пастух или его брат вернутся, чтобы нас зарезать. «Прячься, закрой глаза, притворись мертвой, тогда нож безумного пастуха тебя не коснется!» — твердила я. Спрячься в моем чреве, под твоим и моим именем, под именем всех женщин, одетых в зеленое и красное, в бесконечном окружении век и молитв.

Да-да, сестра!

Тогда я не послушалась!

Сейчас прошу у тебя прощения. Не за то, что не умерла вместе с тобой, а за то, что толком не жила. За то, что не перебирала каждую окружавшую меня вещь как тысячу золотых монет. Небеса, смех, дни, волны, чаек, влюбленных, лошадей, капли дождя, каждый нежный цветок, распустившийся в заботливой ночи. Чашки кофе, безумные имамы, ангелы, застывшие в люстрах, бессонные ночи, тысячи связок моего тайного голоса. Надо было все время перебирать, ведь это и есть вечность. Но я не знала, сестра, прости меня. Я не разгадала, что должна была жить за двоих, чтобы твоя смерть была оправданна.

Связанное веревками головореза или его брата, мое тело пытается выпростаться, словно я собираюсь рожать до срока.

Оно раздираемо пополам, и я чувствую жизнь.

Мне казалось, я полумертвая, а нужно было жить за двоих. Об этом ты кричала во мне изо всех сил голосом будущей дочки. А я не разгадала эти знаки, сестричка. То, что я приняла за твой гнев, было лишь внутренним языком ночи, путем, обязывающим меня отбросить все внешнее и присоединиться к тебе в нашем сумрачном крае.

Сестра моя Таймуша, чей смех наполняет мое сердце счастьем, как жаль, что я расслышала тебя так поздно. Уже тысячу лет мертвецы этой страны призывают нас жить, а не следовать за ними, теперь я поняла это!

Ночь пахнет как копна волос, покрашенная для праздника.

У земли запах тайн. И во мне нет больше Мертвого края.

Облезлые головы обманутых животных всего лишь гости.

Мое сердце колотится так, будто я бегу прятаться, чтобы ты радостно смеялась еще громче.

Во мне уплотняется почва. Мне хотелось бы защитить мою дочь, как ты защитила меня своей смертью, и подарить ей жизнь, как ты мне ее подарила. Но уже не могу.

Я поняла это слишком поздно, и ночь забирает одну за другой звезды на верху сарая. Светает.

Похоже, пастух близко, я слышу топот его сапог. Чувствую, как он возвращается, хотя моя голова лежит на земле, а в моем чреве дочка прислушивается вместе со мной, прижав ухо к моему сердцу, своим очертанием совпадающему с твоим. Кто-то кричит «Об? Об? Об? Где ты?» Меня наверняка зарежут, и я воссоединюсь с

тобой, сестра.

34

...тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, считай со мной, моя Гурия, так про тебя забудут и забудут тебя зарезать, моя девочка! Я считаю громко вслух, чтобы привлечь его внимание к себе, как и поступила моя сестра Таймуша двадцать один год назад. «Об? Об?» — зовет чей-то тревожный, запыхавшийся голос в уходящей ночи. В темноте я различаю его лицо с разными испуганными глазами. Его губы дрожат, а большие руки тянутся ко мне, чтобы освободить меня от веревок. Он проверяет слабое дыхание в моей канюле. «Я нашел тебя, сестра». Аисса. Он склоняется надо мной. «Я пошел за тобой, я с полудня слушал, какое число твое, тысячу твоих мертвецов». Он выглядит уставшим, вокруг него стоят местные жители, в ужасе рассматривая сарай, служивший подпольным местом бойни.

В час рассвета ко мне прислушивается еще только занимающаяся заря. В объятиях Аиссы я продолжаю считать. «Сейчас придут жандармы, их арестовали, и его, и его брата имама. Они продавали ослиное мясо», — поясняет один сельчанин другому. Аисса поднимает меня и шепчет:

«Ты — знак!» Меня подхватывают, передают из рук в руки, и, не оправившись от потрясения, я все-таки встаю на ноги и иду по тропинке к Хад-Шекале, к подножию горы. На этот раз ты во мне, живая и невредимая.

35

Оран, год спустя

Все что угодно может ее у меня отобрать: ветер, море, любая чайка, кружащая над ней, солнце или какая-нибудь завистливая лодка. Даже когда она рядом, я за нее боюсь. Причина в ней: огненные волосы, живость, ускоряющая время. Смотрю на ее ножки, которые дрыгаются в зеленой коляске, ручки, ступни, оставившие следы на песке. Все может у меня ее отобрать, умертвить меня, отнять голос. Теперь я говорю. Я родила в том году и снова болтаю. В ней слились мой внутренний и внешний языки. Конечно, слов мало, пока одно, и то неразборчивое. Впрочем, вон там мой голос, проголодавшийся, счастливый, слюнявый. Хадиджа сидит рядом с нами. Она до сих пор не отошла от моего крайне рискованного побега, однако предпочитает не омрачать мое счастье своим беспокойством. А потом она в восторге, что стала бабушкой.

На пляж Лез-Андалуз я надела белое летнее платье с красными тюльпанами. Море повсюду, особенно если закрыть глаза. Мы приехали

ранним утром, пока там не начали купаться, кататься на водных лыжах и мусорить. Нам нравится, когда оно таинственное, холодное, еще не отошедшее от ночного сна.

Я назвала дочку Кульсум. В честь потрясающей египетской певицы с мощным голосом. Кульсум кричит, и я возрождаюсь с каждым ее криком, возвращающим меня к себе самой. Мой голос там, вне меня и во мне. От моей «улыбки» остался только шрам. Я радуюсь, смеюсь над чайками, не знающими, откуда они прилетели и куда летят. А я знаю. Моя Кульсум родилась в муках, избавивших меня от всех мучений. Возможно, она помнит наши долгие беседы и мой внутренний язык, поскольку мне достаточно взглянуть на нее, и она узнает меня и мои золотисто-зеленые, словно цвета в раю, глаза. Хадидже не всегда нравится смотреть на нее, когда она лежит в прекрасной зеленой коляске, подаренной Аиссой, поскольку это напоминает ей собственную историю, но она обожает брать ее на руки, подбрасывать, ласкать и играть с ней. Мы даже ссоримся: «Ты ее приучишь, а что я потом буду делать, когда придется ее укладывать?» Хадиджа не отвечает, продолжая долгий молчаливый диалог с самой собой.

Кульсум — мой язык, мой голос: она будет акку-

ратно выбирать каждое слово. Играя, случайно, на восходе солнца, в море, с необходимой точностью, как называют какую-то вещь впервые. Каждый ее крик меня будоражит, во мне вздрагивает частичка моей плоти, он пробуждает тысячу забытых запахов. Я окружаю ее внутренним языком, он ее опережает, дает объяснения, успокаивает, защищает. Я проживаю две жизни. Даже три, если добавить жизнь моей сестры Таймуши.

Мы посидим до полудня, и волны будут нас баюкать. Лето. В Оране оно похоже на долгое утро, освещенное раем, спрятанным где-то далеко в небе.

Иногда я вспоминаю. В газетах писали об истории с имамом, арестованным в деревне Хад-Шекала за продажу ослиного мяса. Его брат сошел с ума и отказался спуститься с гор после «примирения», хотя остальные террористы сложили оружие и бросили ножи. Это он раскидал ослиные головы по деревне накануне моего приезда.

Кульсум забавно лепечет, воспевая свою жизнь в раю. Потом плачет, отмахиваясь от чайки. Ее маленькими ручками птицу не достать. Тогда я даю ей себя, пусть ест: выпрастываю грудь, предлагаю ей, она сосет. Устраивается так, чтобы я не могла шевелиться, и заглатывает меня. Ее ротик

будоражит; боль смешивается с признаками жизни; я — ее река, наполненная вином, молоком и медом; ее неутомимый конь; ее несметные плоды; ее изумрудный шатер; ее прозрачная кожа; ее огромные веки; ее рыжие волосы, как будто из вышней обители. Ничто с такой силой не отзывается в моем живом теле.

В такие мгновения Хадиджа прощает мне то путешествие, понимает его тайну. Она даже прощает мне от природы вьющиеся волосы, с которыми я ничего не делаю. Заметно же? Я счастлива, выставляю напоказ застывшую улыбку и наконец-то говорю. Чтобы понять меня, надо близко наклониться к моей доченьке, словно вы делитесь каким-то секретом или ночными тайнами. «Назови число», — продолжает Аисса. Мой друг сидит на пляжном коврике рядом с Хадиджей. «Миллиард миллиардов!» — говорю я. Он смеется своими разными глазами и отвечает: «Тогда придется дождаться темноты, и мы вместе пересчитаем все звезды».

КОНЕЦ

Выходные данные

Камель Дауд

ГУРИИ

Литературно-художественное издание

Издатель *Дарина Якунина*
Генеральный директор *Олег Филиппов*
Ответственный редактор *Юлия Надпорожская*
Литературный редактор *Евгений Веснин*
Художественный редактор *Ольга Явич*
Дизайнер *Елена Подушка*
Корректор *Людмила Виноградова*
Верстка *Елены Падалки*

Подписано в печать 05.05.2026.
Формат издания 84×108 $^{1}/_{32}$. Печать офсетная.
Тираж 2000 экз. Заказ № 146887.

ООО «Поляндрия Ноу Эйдж».
197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 6, лит. А, офис 422.
www.polyandria.ru, e-mail: noage@polyandria.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленны-

ми материалами в типографии SIA «PNB Print» «Янсили»,
Силакрогс, Ропажский район, Латвия, LV-2133.
www.pnbprint.eu

В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» маркируется знаком

